З. Прокопьева



Белая мель



Зоя Прокопьева

Белая мель

Повести

«Современник»
Москва
1976

Прокопьева З. Е.

П80 Белая мель. Повести. Предисл. В. Цыбина. М., «Современник», 1976 г.

302 с. (Новинки «Современника»).

Повести Зои Прокопьевой посвящены жизни рабочих и служащих Урала. Построенные на морально-этической проблематике, они раскрывают характеры в острых, конфликтных ситуациях. Читая их, убеждаешься, что автор живет радостями и тревогами нашего современника, беспокоится о нем.

П $\frac{70302-191}{М106(03)-76}$ 48—76 **Р2**

Зоя Прокопьева обладает самобытным почерком и манерой видения жизни. Главные достоинства ее произведений — это психологизм, умелая передача духовного состояния героев, их переживаний, раздумий, ощущений; это сочный, в меру насыщенный уральским говором, язык, это точная и пластичная «деталировка». Она обстоятельно показывает металлургический завод, где работает Нюра Травушкина («Такая длинная ночь»), и лесную чащобу, Уральские горы, стылые озера и окрестности деревни на Тоболе, прилужья, где проходит горестное детство Лидки в военное лихолетье («Звереныш»).

Быт, природа, завод, деревня — все это писательница знает, любит и умеет изобразить. Причем так, что все это обертывается не просто фоном, на котором происходит действие, а вступает в это действие на полных правах, помогая раскрытию переживаний человеческих, создавая нужную эмоциональную атмосферу: светлую печаль, грустную улыбку, тяжелый или облегченный воздух, порой рыдание или вспышку отчаянья... Все это достоверно. Зоя Прокопьева не любит круто повернутой фабулы. Движение ее повествования в меру напряженно, неспешно.

У Зои Прокопьевой редкое достоинство — писать природу.

«...Нюра вздрогнула и остановилась. Метнулось, упало сердце.

Кричала косуля. Этот утробный рыдающий зов то отдалялся, то взмывал из черного лога и был где-то рядом. И в том густом крике слышался страх за жизнь, за потомство. Какое-то время молчала темная ночь. Потом тоньше, пронзительнее раскалывал тишину крик козленка...» («Такая длинная ночь»)

Это не просто пейзаж, написанный со знанием природы, это еще и символ, предсказание героине ее собственного скорого крика.

Тема зла и добра так или иначе проходит через всю книгу. Вот добрый начальник цеха Пегов в повести «Такая длинная ночь» «везет» на себе бездарного заместителя. Пегов знает, что заместитель его подсиживает, не исключает, что тому, возможно, удастся занять его место, отдает себе отчет и в том, что в проигрыше будут все, даже сам подсиживающий. В заместителях он за чужой спиной, став начальником, окажется на виду у всех и быстро свернет себе шею. И бог с ним, с проигрышем злого человека. Но Пегов-то знает, что от такой замены проиграет производство, проиграют люди, под-

чиненные им обоим. Но... начальник цеха Пегов не способен ничего изменить в этой ситуации.

И все же писательница далека от проповеди всепрощенчества. Ее добрые люди никому ничего не прощают. Они просто не поступают так, как поступили бы с ними. Иначе какие же они добрые? Когда солдат Мохов вытаскивает из трясины совершившего побег Зубакина в повести «Под гитару», он не думает о том, за что осужден Зубакин, он просто спасает человека. Зато преступник Прутиков, гуляющий последние дни на свободе, тянет Зубакина снова в другую «трясину».

Без однообразия и монотонности писательнице удается провести новое исследование в совершенно ином пласте жизни, с иными характерами, хотя место действия, кроме «Звереныша», почти всегда одно — большое сталеплавильное предприятие с окружающими его поселками, озерами и лесами.

Зоя Прокопьева живет на Урале, в Челябинске. Она сама много лет проработала на Челябинском металлургическом заводе — отсюда и хорошее знание жизни.

Сложные судьбы, сложные взаимоотношения между героями, самоотверженный труд ради прекрасного будущего и досадные пакости рядом, долготерпимые горести и быстротечные радости, добро и зло, дороги людские: широкие, как большаки, и, как лесные тропки, прекрасные,— вот чем наполнена книга Зои Прокопьевой. И это жизнь...

Владимир Цыбин

Звереныш

1

Я иду вдоль трамвайной линии, мимо стеклянных витрин магазинов; чего там только нет: бутылки, бутылки и баночки, колбасы такие, колбасы этакие, сыры головками и брусками, хлеб белый, хлеб серый, хлеб черный... Овощи, овощи и фрукты. Я захожу в овощной и покупаю маме черешни. В гастрономе, в отделе самообслуживания беру две банки сока манго — мама делает с этим соком прекрасный коктейль. Я прохожу кассу и, раскрыв портфель, ставлю его на упаковочный столик, втискиваю меж бумаг банки с соком и, повернувшись на крики, вдруг вижу: две продавщицы держат девочку — господи ты боже мой, я вижу Олесю?! Олеся — дочка моей приятельницы, редактора на радио. «Не может быть»,— ахаю я и, сунув портфель дежурной у входа, кидаюсь к толпе.

На Олесю кричат, ее стыдят. Она украла сырок. Ее ведут к директору, грозятся вызвать милицию. Переждав за дверью крики в директорской, я вхожу в кабинет и сторонюсь — продавщицы спешно выходят.

— А-а, Лидия Никитовна, здравствуйте, здравствуйте! Давненько вы у нас не бывали... Прошу вас, садитесь...

Директор магазина, старый знакомый, любезно пододвинул мне стул.

— Как видите, Лидия Никитовна, вот — опять... Каждый день один, а то и два...

— И что же они говорят? — спросила я, глядя на Олесю, которая спокойно стояла перед директором. На ней были серые заграничные джинсы, желтая мохеровая кофточка, на тонком запястье мужские часы с широким ремешком. Лицо бледное, нежное, острое внизу, с большими зеленоватыми глазами. Волосы у Олеси, как и у всех сейчас девочек, под Марину Влади из кинофильма

«Колдунья». Но Олеся девочка интересная не только внешне. Она училась музыке и английскому, много читала, занималась коньками и плаваньем. А дома у нее было все: и пианино, и скрипка, и магнитофон, и черная догиня Инга, и огромный аквариум в отдельной — своей — комнате, и всегда полный холодильник еды. Да, у Олеси было все. У нее было все, кроме отца. От него она получала переводы да редкие посылки, то с ананасами посередь зимы, то с апельсинами... Олеся только что сдала экзамены на круглые пятерки и перешла в восьмой класс...

Директор Иван Васильевич, маленький, полный, с добродушным круглым лицом, с пучками седых волос на висках, искренне развел руками:

— Это черт знает что... Что с ними будет дальше? Чего они хотят? Не понимаю. Н-не по-ни-маю... Одни говорят, что дома им не дают денег на личные расходы, другие говорят, что просто интересно взять — и все, третьи уверяют, что взяли нечаянно... А вот которым действительно нечего есть —отец ли пьет, мать ли, или просто бегут из дома куда глаза глядят,— такие голодают, но не крадут... Ну, вот с этой что прикажете делать? Она молчит. Чья она? Вы только посмотрите на нее — молчит как ни в чем не бывало. Но эта уже взрослая, эта уже обязана осознавать свои поступки. В этом возрасте люди обязаны отвечать за себя. Я устал с ними... Пусть их допрашивают в милиции...

— Иван Васильевич, позвольте мне забрать эту девочку и отвести прямо в милицию. Я думаю, что по дороге она мне все-таки кое-что расскажет. Я, знаете, опять готовлю подобную передачу, и хорошо бы несколько таких случаев снять скрытой камерой, а вам бы выступить...— спешно придумывала я, чтобы увести Олесю.— Как вы на это смотрите?

— Знаете, я как-то не любитель выступать... Давайте, Лидия Никитовна, кого-нибудь из продавцов...

— Полноте, полноте скромничать, Иван Васильевич, кому же как не вам и выступить... Я на днях зайду или позвоню. Это же великолепная идея — снять скрытой камерой!.. Я уж вас немного поэксплуатирую, хорошо?

— Ну, как же вам откажешь... Ну, никак...— засмеялся он.

— Спасибо, Иван Васильевич!

Я встала и крепко пожала руку директору лучшего магазина в нашем городе.

— Что ж, девочка, тебе придется идти со мной,— холодно сказала я Олесе.

Олеся, спокойно разглядывая покупателей, шла впереди, я за ней.

— ...А говорили — в милицию сдадут,— протянула тетка из очереди за колбасой.— И никакого стыда...

— Я бы свою на месте убила за такое,— сказала другая.

— А вот мой никогда себе такое не позволит,— уверенно заявила третья.— У моего все, все есть, и деньги даю...

— Это что же, мать ведет, что ли, ее?

— Вот тебе и интеллигенция...

Я молча взяла портфель, а Олеся, не оборачиваясь, замедлила шаг, поджидая меня.

— Меня посадят? — тихо спросила она, когда мы вышли из магазина.

— Не знаю,— ответила я.

— Со мной Инга. Она вон сидит... Если меня посадят, вы, пожалуйста, отведите ее домой,— голос Олеси пресекся при виде собаки.

Инга обрадовалась, стала рваться навстречу. Олеся присела к барьеру из труб и стала развязывать поводок. Собака, преданно поскуливая, норовила лизнуть хозяйку в лицо. Олеся выпрямилась, а Инга прижалась к ее ноге, чего-то ожидая, заглядывая ей в глаза.

— Ингоша, я ничего не принесла тебе, извини,— сказала Олеся и вынула из кармана брюк шоколадку, развернула обертку, отдала шоколадку собаке.— Может, поешь шоколадку?..

— Олеся, так у тебя были с собой деньги? — удивилась я.

— Да. Я купила сначала себе шоколадку, а больше денег не осталось. И я взяла сырок... Инге...

— Ты ее не кормила утром?

— Кормила.

— Но почему же ты не сходила домой за деньгами?

— Далеко.

— Как далеко? Два квартала — далеко?

— Не знаю. Мне показалось далеко...

— И ты... ты всегда так делаешь?

— Нет. Второй раз.

— И тот раз тоже не хотелось идти домой?

— Нет. Тогда деньги были. Просто мне не хотелось рыться в портфеле... Искать копейки...

— Олеся, я не понимаю — зачем ты это делала?
— Не знаю,— пожала плечами Олеся.
— Ну, что ж, пойдем домой, отведем Ингу,— как можно безразличнее сказала я.
— Хорошо,— сказала Олеся.
— А мама об этом знает?
— Наверное, нет. Она всегда приходит поздно.
— Но ты же знаешь, какая у нас с ней работа?
— Знаю. Тетя Лида, а в тюрьму нельзя взять с собой Ингу?
— Конечно, нет.
— Мне Ингу жалко — она будет без меня скучать.
— А мама? Разве мама не будет скучать?
— Наверно, тоже будет...
«Бедная Ольга...» — подумала я.
— Олеся, разве в классе у тебя нет подруг? Ты всегда одна...
— Я не одна. Я с Ингой... В нашем классе есть, наверно, хорошие девочки, только... только мне с ними со всеми скучно.
— Почему?
— А! Тряпки, косметика, танцы... Сплетничают о мальчишках...
— А как ты относишься к тому... Ну, если девочки узнают про тебя?.. Что ты...
Олеся закусила губу, приостановилась.
— Пусть.
— Что пусть?
— Пусть узнают... Я же не украла, я просто взяла...
— Ты прекрасно понимаешь, что это не просто взяла. А если тебе захочется взять в магазине пальто или золотые часы? Или телевизор? Да и мало ли что тебе еще захочется...
— Пальто у меня есть. Часы тоже. И телевизор,— она улыбнулась на мою шутку.
— Но ведь и сырки в холодильнике, наверно, тоже есть?
— Лежат,— кивнула Олеся.
Мы подошли к дому. Поднялись на второй этаж. Олеся сняла с Инги ошейник и отперла дверь.
— Тетя Лида, что вам приготовить — кофе, чай?
— Чаю, Олеся.
— Сейчас поставлю чайник. Ингоша, пойдем со мной? — На мгновение она замялась, и мне показалось,

что в глазах ее что-то прояснилось, ожило. Вот сейчас, сейчас она сядет в кресло, расплачется и все расскажет — что с ней происходит, о чем она думает, чем тревожится.

— Ты, кажется, что-то хотела спросить?

— Да. Мне... мне что-нибудь с собой брать?

Нет. Мне всего лишь показалось. Она просто безразлична ко всему, кроме собаки.

— А что бы ты хотела взять с собой?

— Не знаю. Наверное, кроме Инги — ничего...

Олеся ушла на кухню, а я вспомнила про черешню в портфеле, вынула кулек и отсыпала половину в вазу. Зашла на кухню, протянула Олесе вазу с черешней:

— Помой и угощайся.

— Спасибо, тетя Лида. Где вы их добыли?

— В овощном.

Олеся промыла черешню под краном, мы вернулись в ее комнату, и я села в кресло.

Странная девочка. Ни угрызений совести, ни беспокойства. Ничего. Совсем ничего. Как будто ничего не произошло, ничего не случилось... Я вглядывалась в нее, следила за каждым ее движением, ждала, что вдруг вздрогнет ее рука, сорвется голос... Но нет, Олеся была спокойна...

— А почему ты не позвонишь маме?

— Зачем? Она узнает и после. Можно оставить записку: «Я в милиции — украла в магазине сырок». Она прочтет и скажет: «Что за чушь?» Вы ведь знаете — она так и скажет...— Олеся присела на ковер к Инге.

Да. Она так и скажет. Ольга деловая женщина — она горит на работе. Она не любит тряпок — ходит вечно в одной и той же черной юбке и в черном свитере. Прическа у нее короткая, мужская. Она не любит возни на кухне, особенно мытья посуды. С мужчинами резка, насмешлива. Но сколько она от них ни отмахивается — они к ней в общем-то льнут. Но, насколько мне известно, в этом доме никто из них не оставался ни разу на ночь. Боже упаси, а что подумает Олеся! И что же? От Олеси откупились всем: ананасами, скрипкой, магнитофоном, книгами, собакой...

— Видишь ли, тебе сегодня же нужно обо всем рассказать в милиции. Просто обо всем. Иначе с каждым днем тебе все труднее и труднее будет жить. Я ведь понимаю, что не в сырках вовсе дело, но в чем именно — не знаю. А ты сама о себе знаешь все. Ты знаешь, кто ты и зачем живешь... И даже когда крадешь, то тоже знаешь, зачем крадешь... Ты девочка умная, ты все прекрасно понима-

ешь... Скажи, пожалуйста, тебе вот сейчас не хочется вернуться в магазин и снова взять что-нибудь?

— Н-нет.

— А в другой магазин?

— Тоже нет.

— Ну вот и прекрасно.

— Ой! Я про чайник забыла! — вскочила Олеся.

— Ты хочешь чаю? — спросила я.

— Нет.

— Тогда пойдем. Я тоже что-то расхотела.

— Можно я попрощаюсь с Ингой?

— Конечно.

Олеся сходила на кухню, выключила газ. Вернувшись, подошла к собаке, присела возле нее, обняла и стала гладить.

— Ингоша, ты у меня самая добрая, самая хорошая, ты не сердись на меня, не скучай без меня, пожалуйста... Ладно? Ты потерпи — подожди меня... Ладно, Ингоша?..

Собака, поскуливая, лизала девочке руки, била по ковру хвостом.

— Тебе придется без меня слушаться мою маму. Ты уж потерпи, ладно?.. Я сейчас уйду, а ты останешься дома... Тебе нельзя со мной...

Олеся встала и отвернулась от Инги. В глазах копились слезы.

Собака, чуть наклонив голову, собрала на лбу морщины и навострила уши, будто хотела еще что-то услышать от хозяйки, будто хотела что-то понять...

Я встала и взяла портфель. Олеся вышла на кухню и принесла миску воды, колбасы и три сырка. Все это поставила в угол к подстилке собаки и быстро, взяв ключ от квартиры, пошла к двери.

— Олеся, ты оставила маме записку?

— Зачем? Кто-нибудь из милиции позвонит ей на работу и скажет.

За дверью скулила собака. А когда мы вышли из подъезда на улицу, она уже скулила и лаяла, скребя лапой стекло окна. Олеся остановилась, помахала рукой и побежала быстрей, чтоб не слышать собаку. Я шла следом и думала об Олесе. Она сказала мне, что сегодня ей не хочется вернуться в магазин и снова что-нибудь взять. Но кто знает, что ей захочется завтра? Мне б подойти к ней, обнять, рассмешить, подурачиться, утащить к себе домой или в сад, чтоб покопаться в земле, облиться водой из шлан-

га, залезть на старую яблоню и подразнить скворца, но... будет ли это интересно Олесе? Кто ее знает?

За углом дома Олеся ждала меня. Мы молча прошли с ней мимо того самого гастронома, причем она на него даже не взглянула.

В городе цвела сирень и плавился асфальт. Вдоль набережной и на мосту, возле оперного театра, ребятишки, все в белых панамках, стояли с удочками, смотрели вниз на мутную зацвелую воду. Иногда тяжело и лениво из-под моста взлетали речные чайки, недолго кружили и снова садились на воду.

С этого моста далеко виден город. Над зеленью скверов возвышаются белые дома, огромный новый Дворец спорта и Дворец металлургов, а дальше, неровным частоколом, темнеют трубы заводов.

— Олеся, я в этом городе живу двадцать пять лет...

Олеся меня не слушала. Она безучастно шла рядом и смотрела под ноги.

— Мороженого хочешь? — предложила я.

— Нет,— глухо сказала она.

Звенели трамваи, проносились машины. Нас обгоняли пешеходы. Возле оперного театра мы свернули на более тихую улицу в сторону милиции.

— А знаешь, Олеся, я ведь тоже воровала...

— Вы? — девочка замедлила шаг и пристально взглянула на меня. В глазах хоть слабое, но удивление.

— Да, Олеся, я воровала... Когда я украла первый раз кусок брынзы, мне было восемь лет... Я еще не ходила в школу...

И я стала рассказывать Олесе о своем детстве.

Теперь она слушала. Мы долго ходили по улицам города, пересекали площади, скверы, ходили мимо больших и маленьких витрин магазинов, мимо ресторанов, кинотеатров, мимо библиотек и учреждений, мимо лоточниц, торговавших свежей зеленью и цветами, и... мимо отделения милиции. Я рассказывала, а Олеся молчала. Но я уже знала, что когда-нибудь, может быть даже завтра, и она расскажет мне о себе.

Незаметно я подвела Олесю к ее дому и остановилась.

— А знаешь, мы не пойдем с тобой в милицию,— сказала я.

Девочка густо покраснела и опустила голову.

— Маме сказать? — тихо спросила она, сминая в руках листик сирени.

— Как хочешь.— Я легонько подтолкнула Олесю к подъезду: — Иди, иди... у меня еще есть дела.

Олеся замялась:

— А вы... вы не расскажете?

— Ну что ты,— заверила я.— Ну, до свидания, Олеся!

— До свидания, тетя Лида!

Отойдя, я оглянулась — девочка стояла у подъезда и смотрела мне вслед. Я помахала рукой и свернула за угол дома.

Я почувствовала, что устала, и мне захотелось остановиться и сесть где-нибудь в тихом тенистом месте. Я свернула в сторону оперного театра, прошла в угол сквера и, поставив к ногам портфель, села на скамью и сняла туфли.

И только тут я заметила, как высоко и ясно небо, как блескучи на солнце, за кипами зелени, белые колонны театра, как буйно цветет сирень и как хорошо, тихо вокруг. И я одна. Тишина. А там, в квартире, среди книг, блестящих темных шкафов ждет Олесю черная собака Инга.

А я сижу под нависшей сиренью и снова думаю о своем, далеком...

2

Это была огромная лепешка из навоза, воды и глины. Они ходят по ней кругами — с краю до середки и с середки до края. Мать ступает тяжело и плотно, вдавливая ноги в это месиво. Отпечатки ее следов глубокие, с широко растопыренными пальцами. А своих следов Лидка не видит. Потому что мамка, подоткнув подол юбки за пояс, идет впереди и тоненько поет про то, как мыла Марусенька белые ноги. А Лидка идет сзади, старается попадать след в след, но из этого ничего не получается — у мамки ноги-то во-он какие большущие, поэтому Лидка приноровилась и топчется то в подбежку, за мамкой, то плетется еле-еле, вырисовывая в этом месиве тропинку елочкой.

Пришли они сюда рано утром, сразу же, как выгнали Маруську в стадо, а лепешка жидкого навоза и куча глины уже были свалены возле дома счетоводихи, у самого палисадника, под купами нависшей сирени.

Покуда мамка ровняла лопатой навоз и сверху накидывала красной глины, Лидка из ляги за домами таскала ведерком мутную воду и расплескивала ее в середку этой кучи.

— Эт-ты, какая красивая шаньга! — радовалась мамка, но сразу топтать саман Лидке не разрешала — глина была холодной. Лидка незаметно успела сбегать к ляге, подразнить прутиком злющую гусыню. Потом мамка крикнула Лидку и заставила тоже топтать. Лидка и не думала отпираться — ведь счетоводиха пообещала пятьдесят рублей за штукатурку своего нового придела. На эти деньги Лидке обещано купить портфель или ситцу на платье — пора в школу. Еще прошлой осенью мамка обещала отдать ее в школу, да идти было не в чем. А теперь Лидка согласная топтать хоть десять таких лепешек, потому что ни портфеля, ни нового платья у нее до сих пор нет.

— Бог в помощь! — выплыла из проулка толстая мельничиха.

— Спасибо, Фиса Григорьевна,— приветливо говорит мамка, но не останавливается.

— Ты, Сима, не видала моего телка? Со вчерашнего дня не могу найти.

Лидка, раскрывши рот, пялится на фартук мельничихи — на фартуке цветут маки, они даже красивее, чем на грядке.

— Нет, не видала, Фиса Григорьевна,— говорит мамка.— Загляни на ферму, возле дворов крапивищи-и... Я все опасалась: вот, думаю, свалюсь в старый какой колодец — и не докричишься, сама-та я что, пожила — хватит, а девка-та сидит дома голодная, и в избе шаром покати...

Она улыбнулась невесело и тоненько пропела:

Хучь иди плясать,
А дома нечего кусать.
Сухари да корки,
На ногах опорки!

Мельничиха покосилась на мамку недобро, дескать, поет еще. А где ей, мельничихе, ихнее лихо понять. Непропёки, а поют еще! Ей больше по душе, когда непропёки жалятся.

— Бог с тобой, колодцы... Скажешь тоже... Поди, загнал кто-нибудь телка-то.— Она покосилась на Лидку.— Опять ночесь огород обчистили, голодранцы паршивые... Все. Я своему сказала: сегодня скараулим — стреляй...

— Стрельни, стрельни, Фиса Григорьевна, совсем спасу нет... У меня вон тоже кошке хвост ободрали. Берданки нет, а то бы тоже стрельнула. Фулиганье, — мамка хихикнула.— Совсем зафулиганились без отцов! А ты стрельни, стрельни... Карпею-то Иванычу поклон передай. Бывало, выпивал он с моим...

Мельничиха поджала губу и, отвернувшись, молча поплыла было мимо в дальний узкий проулок, но потом обернулась и сказала:

— Сравнила! Мой огород и хвост кошачий!

— Тьфу,— сказал мамка и пошла по кругу, покачивая тощим задом, передразнивая походку мельничихи. — А была-то спичка спичкой...— Круто повернулась к Лидке, злая: — Опять в чужие огороды лазишь?

— Не-е-е... забор у них колючий...

— Я те счас дам — колючий. Мало мне забот?..

— Да не-е,— замотала головой Лидка почти что с честным выражением лица.

— А откуда под лавкой дыня?

Лидка почувствовала, что сейчас ей будет затрещина, и так же честно соврала:

— Колька дал.

— Скажи Кольке,— приутихла мамка, продолжая топтать саман,— чтоб не лазил к мельнику — стрельнут еще... Они такие. Не сам, так Фиска заставит... Смотри у меня, узнаю, что залезешь к кому-нибудь в огород, скажу Марии Кондратьевне — она не примет тебя в школу.

— Ладно... Мам, а Фекле-та хвост отцапнула собака. Она картошку караулила, а собака в огород забежала... Фекла ей глаза поцарапала...

— Да я-та знаю. А вот Фиске это знать ни к чему. Иди-ка посиди на травке... Цыпки вон на ногах покраснели... Сто раз тебе говорила — мой ноги на ночь.

— Так они и так тонкие, высохнут — на чем ходить буду?

Мамка остановилась, наклонившись, вытерла подолом юбки лицо и вздохнула:

— Ладно, ладно, иди посиди, работница ты моя убыточная.

— А ты?

— Я потом. Солнопек вот-вот начнется, а надо еще дранку на стены прибить — успеть бы...

Лидка с радостью села. Гусиная трава уже обсохла от росы. Солнце греет почти по-дневному. От лепешки самана

остро пахнет мочой и глиной. Мать ходит и ходит по рыже-зеленому месиву и снова поет про Марусеньку, которая мыла белые ноги... Красивая песня, да ноги у мамки давно не белые. Ноги и у Лидки тоже в навозной жиже. Щиплет до жути, но мыть все же не стоит. Цыпки болят, да и от частого мытья (Колька говорит) ноги совсем похудеют, так что лучше не обращать внимания на грязь. От навозной грязи никто не помирал, а Лидке ноги дороже, чем чистота.

— Эй, Фокишна! — кричит кладовщица Палаша. — Калымишь?

— Ага,— смеется мамка и останавливается посередке месива.— На вечорки собралась, а платочку нету, плясать пойду — взмахнуть нечем... Вот и тороплюсь, купить бы к вечеру... Хороша девка, речиста, да дороже платок с батиста.

Кладовщица приблизилась, волоча кривую ногу.

— Так кавалер-то один дед Игнат остался, да и тот слепой,— засмеялась она.— Такая старь — сорви лопух да и шпарь... Деньги для такого изводить — себе вредить.

— А куда, Пелагея, эт ты нарумянилась?

— Да в раймаг бегу. Митьку приняли в пионерский лагерь, так сатину на рубаху купить решилась. Стыдно — голяк голяком, отец-то все же фронтовик...

— А-а,— протянула мамка,— а я вот тоже... В школу собирать надо девку... Слышь, вчера у Герасима просила скатерть, которую на май стелили на стол в правлении. Отдай, говорю, девке хоть платье сошью, все равно в конторе за шкафом пылится, чернилами облита, да и угол от чьей-то папироски обгорел. Только он все равно ж не дал.

— И не даст. Знаю я его. Ты вот что — пошли-ка завтра ко мне Лидушку, я там припрятала пару холщовых мешков. Заготовители бросили. Что, думаю, теряться, все равно кто-нибудь подберет. Я и решила Миньке штаны сшить и покрасить — все равно в каких спины быкам тереть... С дерюжным фасадом — не с голым задом. Десять трудодней малец заработал...

— Мужик растет,— сказала мамка, садясь на траву.

— Да и у тебя, Сима, невеста неплоха... Давай-ко я тоже посижу... Лидушка, пойдешь за Миньку замуж?

— Не-е,— затрясла головой Лидка,— он царапается.

— Ну-у, к тому времени отвыкнет...

— Так вырастет — чему похуже еще научится,— засмеялась мамка.— Сам-то пишет?

— Последнее было из-под Курска... Писал, что эту фашистскую вражину погнали. А больше нету. Третий месяц пошел... Ночи не сплю.

— Не накликай беду, Палаша! Придет он, придет. Он у тебя, Федор-то, отчаянный, запросто так пуле себя не подставит. А сын вон уж какой... Мужик растет... Было бы побольше еды да поменьше горя, нарожала б я с десяток парней... Меня сызмала к ребятешкам страсть как тянет.

— Ага,— возмутилась Лидка,— нам тогда одного портфеля не хватит. Не рожай... Раньше б рожала, чтоб он старше был и мне после него все оставалось.

Кладовщица и мамка переглянулись, засмеялись.

— Ну, Сима, пойду я,— сказала Палаша, неохотно поднимаясь.

— Ладно,— ответила мамка и тоже встала.

— Так пришли Лидушку завтра.

— Пришлю, перед тобой гордиться негоже.

— А Герасима ты не проси — он зимой на телеге посидеть не пустит... Поди, все еще пристает?

— Ну! — рыкнула мамка и поморщилась.

— Все они такие...

— Не все. А такие, как Герасим,— это точно. Без мужиков и баган медуницей пахнуть норовит.

— Сказала б я, если б Лидки не было, чем этот Герасим пахнет!

3

Солнце уже высоко. И когда оно начисто показывается в развалах туч, то становится жарко. А мамка все топчется, топчется по кругу и поет, теперь уже другую песню: «Ыэх, мой каситер в ту-ума-ане сиветит, ды исыкыры гасынут на-а-а лету-у...»

И жалеет Лидка мамку, сама не знает с чего. Она молча ходит за ней. Устала. Ноги заплетаются, кружится голова, а в глазах время от времени то все темнеет, то вспыхивает, будто смотрит Лидка на осколки вчерашней вазы, которую мамка, посоветовавшись с женой председателя колхоза, взяла да и разбила пополам. Разбила вазу, про которую сама раньше говорила, что папка привез ее из города и что цены той вазе нет. Хорошая была ваза.

— Мамк? — спрашивает Лидка, все топчась позади.

— Чего тебе?

— А зачем вы вчера стекло толкли в ступе?

— Это не стекло, а хрусталь... Хрусталь — вроде тоже стекло, да, говорят, пользительное... Она мне за него дала сто рублей. Деньги все же — куплю тебе валенки на зиму... Да эти вот пятьдесят рублей еще — разбогатеем! Зачем нам ваза? Сейчас не до жиру. Да и держать в ней нечего — пряников нет, сахара тоже.

— Зачем тогда не всю потолкли?

— Старые люди говорят, что надо не всю. И обязательно не свою, а купить или украсть... Толкут намелко... а после пьют в вине.

— Пьют? Стекло?

— А и что? Припекнет — и мочу пить будешь. От чахотки только моча и помогает.

— Тогда продай и второй кусок. Себе валенки купишь. Сама босая ходишь!

— Больше ни одна баба не спрашивает. Спасибо, хоть эта-то купила.

— А председательша зачем будет пить?

— Да от бородавок...

— Ага, а вы вчера шептались про ребеночка... Откуда же у нее бородавки-то? Она лягух в руки не берет, а бородавки только от лягух. Сроду бородавок у ей не бывало, а ты говоришь...

— Ну, мала еще все-то знать. Иди, отдохни. Вон товарка твоя Маня как раз бежит. Смотри — надолго не убегай...

— Я скоро,— обещает Лидка и летит навстречу Мане.

У Мани (дразнят ее «Белый Глаз») отец воевал. В большом двухэтажном доме еще зимой их было девятеро. Лидка Мане завидовала даже — такая семья! Да вот мать у Мани умерла. К весне осталось восьмеро. А сейчас четверо... Самого младшего, Шурку, унесла в половодье по Тоболу льдина — так и не нашли его. Старшую, шестнадцатилетнюю Катьку, посадили в тюрьму —украла у соседей овцу. Соседи овцы хватились, нашли. А чего там и искать-то было, когда овца чуть не на всю деревню истошно блеяла, а Катька, та и сама громче овцы голосила. Катьку побили и сдали в милицию. Двух младших отвезли в детдом, а старшие, все мальчишки, разбрелись на заработки — кто на подхват к маслозаводу прибился, кто в колхоз. Главой поредевшей семьи стал тощий и злой подросток Мишка — он подался в подпаски. Хозяйкой дома осталась Маня, остроносенькая, с тусклыми серыми косич-

ками. Маня плохо видела на один глаз, но зато хорошо бегала, быстрее Лидки. Может, потому, что некому было заставлять ее ноги мыть.

— Ты чего, Мань? — остановилась Лидка перед подружкой.

— Колька сказал, что ты теперь у нас атаман. Вот я и бегу тебе докладать, что ухожу в самоволку — мне надо мыть полы.

— А он чего?

— Он говорит — ты умеешь рисовать планы наскоков, а он не умеет. Гордый, а тебе уступил.

— Так он же старший?

— Ну и что? Он сам сказал, мы ж его не снимали. Велел тебе передать. «Я, говорит, Лидку уважаю».

А и чего такого? Лидка и сама давно знает, что смелее Кольки. Раньше она его слушалась — кого же было еще слушаться-то? Он почти на целый год старше. А потом она стала рисовать планы походов в яму за огородами, в ту, что густо поросла полынным вереском: там живут в застоялой рясной воде головастики. Да и на болото — за корнями камышей, и на луга в заречье она тоже всех верней дорогу находила. Рисовала планы чужих огородов с наилучшими к ним вылазками. Все и признали, что с планами-то намного интересней, и само собой получилось, что все стали слушаться Лидку. Может, Кольке и обидно, так ить он не дурак же, сам понял все как надо.

— Ты, Маня, куда сейчас?

— Да Мишка придет вечером, опять ругаться примется за немытые полы... А ты скоро?

— Нет еще. Топчем с мамкой саман. Калымим у счетоводши.

— Мы тебя вечером погодим.

— Ладно, ты иди полы скреби, а я пойду дотаптывать.

...Маня убежала. А Лидка села возле дороги в траву и задумалась. Раньше-то она не воровала. И по чужим огородам не лазила. Боялась, а вдруг да как поймают — мамка ругаться будет, а то еще и вправду скажет Марии Кондратьевне.

Да и не только в этом дело. Кинутся, как тогда на Катьку. Не забыть, как кричала Катька: «Люди добрые! Пожалейте!» А главное, плакала, плакала-то как. А Лидка даже от мамкиного ремня не плачет — стыдно.

«Идол! — ругается мамка.— Наказанье мое! Хоть для порядку поплачь!»

Лидка не плачет, и дело кончается тем, что плачет сама мамка.

Хуже, когда мамка за ремень не берется, а только дуется на нее, как мышь на крупу. Тогда Лидка сама приносит ремень, а мать опять плакать начинает.

А Колька и Вовка по огородам смело лазили. Угощая Маню и Лидку огурцами и дынями — подзадоривали: «Вы девки, вы забоитесь».

В первый раз Лидка украла брынзу. Из склада молокозавода грузили на машины ящики с маслом, фляги со сгущенкой и брынзу. Ящики и фляги грузили четверо дядек, а брынзу грузить позвали их, ребятишек что постарше. Потому что они, как зверьки голодные, выглядывали из лебеды и попались начальникам на глаза. Обрадованные, они опрометью вбегали в холодный подвал, брали с полок по бруску брынзы и стремглав выскакивали наружу к трапу. В кузове машины укладывали бруски на развернутый брезент, будто кирпичи.

Колька первым уронил в траву один брусок, но это заметил военный дядька с блокнотом, залезший на машину считать брынзу.

— Эй, пацанчик, ты уронил брынзу, подними-ка, а то собаки утащат.

Колька как ни в чем не бывало поднял брусок на машину.

А когда дядька слез с машины и отошел, Колька шепнул Лидке:

— Ты ростом самая маленькая — теперь урони ты, а я потом заползу в траву и откачу подальше.

— Ладно,— кивнула Лидка и до того забоялась, что задрожали ноги. Ей казалось, что все только и делают, что пялятся на нее, и как только она уронит в траву брынзу, то ее тут же сцапают, станут бить, поведут в милицию.

— Кольк, а вдруг да пымают? — испуганно шепнула Лидка.

— Я ж говорил — забоишься! Струсила, да? Тетка вон в белом халате ходит с карандашом. Думаешь, она не ест? Тогда с чего она такая толстая? А шофера? Тоже вон сидят на травке — пьют, брынзу едят...

Лидка знает, что на маслозаводе сушат казеин, картошку, делают брынзу и сгущенное молоко. Все это увозят да увозят куда-то машинами, может быть, на фронт? Плохо солдатскую еду красть, да, может, кусочек-то один можно.

Лидка на фронт за эту брынзу кисет пошлет, кисет ведь солдатам тоже нужен. И потом, брынза так вкусно пахнет — слюнки текут. Да Лидка ж еще и знает, что вовсе не все увозят на фронт. Рядом с ними живет директор маслозавода, и жена его все время носит домой полную сумку. Чего? Лидка не заглядывала в ту сумку, но как-то с мамкой белили им комнаты, и Дина Афанасьевна угощала их творогом со сметаной и маслом с белым хлебом, а коровы-то у директора сроду и не бывало. А еще говорили про директоршу — враки, поди,— что она по утрам умывается свежим молоком, оттого и белоликая — загляденье. Вот бы Лидке такой вырасти! А то черная да худая, как уголек малый.

— Мамк,— как-то сказала Лидка, обернувшись от открытого окна перед садиком.— А тетя Дина красивая женчина?

— Эт-ты с чего взяла? — спросила мамка, гремя пустым противнем по загнетке.

— А лицо у нее белое,— вздохнула Лидка.

— Хорошим людям в такое время с белым лицом ходить не пристало,— зло сказала мамка.— Нам-то с тобой такого до победы не иметь... На вот, хлебай!..

— Опять каша лебедяная? — скуксилась Лидка.

— Опять. Молоком забели... Или рыбьего жиру добавь...

— У-у,— хныкнула Лидка.— Я не хочу есть. Она зеленая... Все трава да трава... Не хочу больше...

— Я вот тебе дам не хочу... Нечего на чужую говядину пялиться. Свою наедай,— проворчала мамка и вытащила откуда-то ломтик калача да баночку пахты.— Палаша давеча плеснула,— сказала она и отвернулась.

— А ты? — спросила Лидка.

— Я уж откусила.

Но Лидка не поверила — ломтик-то ровненький, некусаный.

Когда Лидка вроде бы нечаянно уронила брынзу в лебеду, то и сама с испугу чуть не свалилась с трапа. Но Колька шел следом и загородил, подтолкнул Лидку в кузов машины. Он наклонился, положил на брезент свой брусок и бегом поволок Лидку за руку обратно в склад.

Снова бруски, бруски... Туда-сюда... Лидка бегала взад-вперед и все косилась на лебеду. Сердце прыгало. Щеки горели, и Лидке казалось, что вот-вот что-то случится, то ли расколется земля, и она, Лидка, провалится в подзем-

ную темноту, то ли все дяденьки и тетеньки окружат ее, зацапают и закроют в холодный пустой подвал.

Но время шло, и ничего не случилось, кроме того, что Колька вдруг опустил на ящик перед кладовщицей брынзу и схватился за живот.

— Ой! — вскрикнул он.— Бурчит что-то,— и, держась за веревочку на штанах, побежал в лебеду.

С машины Лидка видела, как он выглядывал из лебеды, пережидал, покуда отвернется или отойдет кладовщица, и когда та отошла, Лидка сбежала с трапа и взяла брусок, оставленный Колькой. Потом она заговорила с кладовщицей виноватым, стыдливым голосом:

— У него брюхо болит... Он счас вернется.

— Скажи ему, что я дам немножко сухого творога. От поноса поможет,— пожалела кладовщица.

— Ладно, скажу. Он есть хочет,— не сдержалась намекнуть Лидка.— Мамки-то у него нету... — Хотя она сейчас говорила правду, ей становилось все стыдней и стыдней.

— Знаю. Вот еще машину догрузите, тогда я вам дам чего-нибудь поесть.

— Догрузим! — пообещала Лидка, сгорая от стыда.

Взойдя по трапу на машину, она уже не увидела в траве бруска и совсем успокоилась. Может, Колька и прав — одним бруском не убудет. В складе-то целый штабель заплесневелых лежит. Кладовщица норовит сдать их на машину, да дядьки не берут, говорят, везти далеко — вовсе позеленеют. А тот брусок, что Колька спрятал, с угла тоже плесневеть начал. Может, он из тех, что кладовщица тайком обтирала тряпкой да и перетаскивала на другой штабель, где лежали отобранные дядьками к погрузке на машину? Лидка-то это знает, видела. Лидка вдруг успокоилась и сказала себе: «Ладно, одним куском не убудет».

Зато потом, когда они все сделали, им дали сухого творога по большущей пригоршне каждому и немного сухой картошки. Наелись они вволю, а припрятанной брынзы взяли по кусочку домой.

А вечером Лидка слазила на чердак и протянула мамке свой паек от брынзы.

— Где взяла? — насторожилась мамка.

— Колька дал.

— Опять Колька? Ты у меня не вздумай воровать. Запорю.

— Колька помогал грузить машины! Вот! — оправдывалась Лидка.— Ему дяденьки шофера отрезали... А я не воровала, — врала Лидка, глядя в глаза матери и понимая, что мать посомневается-посомневается, но у Кольки спросить забудет.

— Ладно, давай поровну, — согласилась мамка. — Ты ешь хлеб и пахту, а я кашу что-то захотела...

Но кашей она давится и, положив ложку, опершись локтями на стол, долго смотрит тусклыми глазами куда-то за окно, далеко, в заречье.

Лидка тоже выглядывает в окно, но ничего там не видит, кроме соседского теленка на дороге перед окнами да дымчатой мари в поймистом понизовье заречья. Лидка тихонько выскальзывает из-за стола. Дел у Лидки много.

...Лидка встала из придорожной травы, оглянулась — Мани уже и не видать. По дороге, поднимая пыль и бренча пустыми флягами, едет подвода. Это дедушка Игнат едет за молоком на кордон. С Игнатом, свесив с телеги ноги, сидит Вовка Рыжий — ага, к своей мамке. Вовка машет Лидке рукой. Лидке завидно — ведь по дороге столько можно увидеть! Вот счастливчик!

А Лидка бредет по дороге снова топтать саман.

У Вовки Рыжего вечно приоткрыт слюнявый рот. Когда-то его боднул теленок. А еще у Вовки ясные голубые глаза в красных-красных густых ресницах и красные волосы. Все в деревне считают, что он сын рыжего мельника, потому что ни в селе Белозерка, ни в Корюкино, ни в ихней деревне никого такого рыжего не было, как этот мельник. Но мельник не признавал Вовку за сына, а сыновья мельника, уже взрослые парни,— за брата. Мельничиха же, при виде Вовки, шипела гусыней:

— Кыш, ублюденыш, кыш с моей дороги!.. Кыш с моих глаз! Чур меня, рыжее отродье, чур меня, вражина ты рыжий!

— А твой мельник сам рыжий! — отбрехивается Вовка.

На это мельничиха почему-то совсем уже обижается, начинает вопить на всю деревню:

— Враг! Недобрик! Нечистая сила! Демон! Тьфу! — и яростно плюется в Вовкину сторону.

А Вовка хоть и побаивается ее, но любит выслушать до конца — хорошо та ругается.

Пусть Вовка прокатится, думает Лидка, а зато я топчу саман, во! Вовка к вечеру же вернется и обо всем расскажет — что видел, что слышал.

Она, опустив голову, тихо идет по дороге, загребая ногами теплую пыль, и теперь думает о себе и о мамке.

Вечерами к ним приходят мамкины подружки ворожить на картах. Тогда Лидка незаметно и потихоньку сбегает. А когда никого нет в гостях, приходится ждать, покуда мамка перестанет ходить по избе и греметь посудой. Тогда Лидка осторожно отодвигает замшелую доску на крыше (спит она на чердаке), вылазит наружу и, высунув сперва ногу, нащупывает верхний венец угла. После спускается и крадется со двора через палисадник к дому Кольки, где ждут ее обычно под темным кустом черемухи затаившиеся Колька, Маня Белый Глаз, Вовка Рыжий и Фишка. Ждут Лидку с новым планом, неожиданным и добычливым, с планом наскока на склад со сгущенкой...

Лидка теперь у них атаман. Дослужилась! А все почему? Да не боится она ничего, никаких привидений не боится, может и на кладбище прогуляться ночью. Она-то знает про себя, что, конечно, тоже пугается (да еще как!), но вида уж не подаст! Не дождетесь! Вот подрастут все, и она поведет всю свою четверку в разведку. Тетки говорят, ахают, будто Гитлер копит силы, чтобы снова кинуться на Москву, а потом прямехонько на Урал — ну вот, а тут-то Лидка и организует такой отряд, так им, фашистам, покажет, только пятки засверкают!

А пока что в огороде мельника зреют скороспелые дыни, каких больше ни у кого не растет. И пока что на колхозном поле растут кормовой турнепс и брюква. А самое опасное, но зато и заманчивое — это маслозавод.

4

К обеду, когда саман был уже готов, прибежала хозяйка. У нее остренький носик, маленькие, снующие туда-сюда, ну прямо ящерки, глаза.

— А! — всполошилась она.— Чем я кормить-то вас буду? — и выразительно посмотрела на мамку, думая, поди, что мамка откажется обедать. Как бы не так! Дома-то одна крапивная похлебка. Но мамка, понятно, сделала вид, что не расслышала или не поняла намека, и, чуть замешкавшись, снова принялась кидать лопатой саман в ведра.

— Я сейчас сбегаю воды принесу коромысла два-три, огурцы вечером полить. А потом уж что-нибудь придумаю — чем кормить-то вас...

Мамка промолчала, а хозяйка загремела ведрами.

Мамке тоже нужна была вода для затирки, и Лидка уж совсем приноровилась носить воду ведерком из той же ляги за домами, что широко разлилась после половодья до самого птичника. А за птичником заболоченная некось — конца края не видать — озерки, болота. Там живут вечно стонущие кулики, чайки и утки. К тем-то болотам и бегали они, почти всегда голодные, находили рогоз и вырывали его стебли. Корни выволакивали на берег, очищали и тотчас поедали мучнистую сердцевину. Ребята, что по-хозяйственней, прополаскивали корни от грязи и тут же резали их на дольки в корзину. Дома мамки сушили их в печи на противнях. После толкли в ступе. Стряпали лепешки.

Лидка не сушила корни камыша — у нее были другие заботы, как она считала, более надежные: надо было выходить, вырастить табак-самосад, дождаться его цветения, а потом срезать, связать в пучки и повесить на чердак вялиться, после порубить сечкой в деревянном корытце, в котором когда-то давно — она уж и не помнит когда — рубили мясо на пельмени, потом можно продать этот табак стаканами возле чайной проезжающим шоферам. Вонь от него, правда, ну да делать нечего. На часть вырученных денег мать разрешает Лидке купить старых газет — рисовать-то ей не на чем — и сходить раз в кино.

Тем, что мамка дает ей на кино рубль только раз в месяц, Лидка не очень огорчается. Все равно она этот рубль пропивает «на морсе», а в кино и так знает, как пробираться: рядом с будкой киномеханика плохо прикрытая форточка, и стоит только вскарабкаться на плечи Кольке, и вот она, залазь да и прыгай вниз, — только иногда эту форточку заколачивают, ну да не беда — долго ли отодрать. Колька Суетун это делает — р-раз! — и готово! Киномеханик иногда ругается: «Откуда столько мелкоты берется?» Грозится поймать и оторвать уши. Но это еще надо поймать, а он толстый и одышливый, да и на правую ногу припадает — где ему! А еще у Лидки есть тайны. Спит она на чердаке, на сенном матрасе под связками веников и табака. У нее есть там стол — ящик из-под масла и старое лоскутное одеяло. В этом ящике у нее хранятся сокровища — щучья высохшая челюсть, разные камушки-гальки, цветные стеклышки, которые она собирала, копая с ма-

терью веснами огород, да еще разные тряпочки, выменянные у Фишки. У Фишки мать теперь портниха.

Еще зимой появились в ихней деревне длинная большеглазая Фишка с красивой седой матерью — их откуда-то эвакуировали. Фишка ходила по дворам, предлагала поменять золотое кольцо на хлеб или муку. Фишка предлагала, а ее мать, затравленно озираясь, молчала, будто не могла понять — где она и как попала в эти края. Лидкина мамка, спрятав руки на животе под фартуком, стояла тогда посередь избы, глядя на посинелую от холода Фишку. Помолчав, она спустилась в подвал и нагребла им ведро картошки за просто так и еще дала пару свеклин. Лидка подружилась с Фишкой, потому что Фишка долго рассказывала про синее-синее море и причал, где останавливались отдыхать военные корабли. А еще Фишка играла на скрипке. Отец у Фишки, пока не пропал, был военным. А пропал он еще задолго до войны, и куда он делся, Фишка не помнила и не знала.

...Мамка берет большую кружку и обрызгивает стенку, обитую дранкой — это чтоб саман лучше прилип. Получается это у нее хорошо и быстро. Только выравнивать и затирать приходится долго. Одна стенка уже готова. Хозяйка зовет к столу. Мамка как будто неохотно прерывает работу, моет руки и ноги в ведре, снимает фартук.

— Мой руки,— приказывает она Лидке,— есть пойдем!

Лидка сует попеременке ноги в то же ведро, болтает воду. Мать молча дергает ее за косицу, ведет к корыту и льет из кружки Лидке на руки:

— Умойся!

Хозяйка ведет их через сени в избу. Кругом половики, чисто. На высокой кровати тюлевое покрывало, на окнах тоже тюль. На стенах ковры. Комод с рядком махоньких рюмочек. Из таких крошечных, наверное, пьют лекарство, думает Лидка без зависти и боится сесть к столу, на хлипкий венский стул. На столе еще ничего нет. Только голая цветочная клеенка, и Лидка старается думать о другом, не о еде. Вообще-то дома лучше (заберешься на широкую лавку вместе с ногами, поешь да тут же и бухнешься рисовать на газетах картинки).

Краска у Лидки самодельная: пузырек черной — из сажи, пузырек малиновой — из свеклы, пузырек желтой — из таблеток хины, пузырек сизо-фиолетовой — из выварен-

ной шелухи семечек, а еще у нее есть чуть-чуть (по щепотке) разной анилиновой краски, но ее Лидка бережет до лучшей бумаги. Говорят, в школе им будут выдавать тетрадки и новые буквари. Правда, у Лидки уже есть старый, затрепанный букварь, который ей принесла Мария Кондратьевна, и она уж давным-давно прочитала его от корки до корки. А в новом-то, может, все по-новому. А еще говорят, что в школе есть уйма книжек с картинками,— вот уж где она почитает!

...Ах, как хочется есть, а хозяйка все не выходит из-за занавесок, что-то там долго переливает, стучит посудой. Лидка смотрит по сторонам и вдруг видит куклу. Чуть было не кинулась к ней, но натолкнулась на строгий взгляд мамки и сникла. Кукла чужая...

И все равно ее тряпичные куклы лучше и милее ей, чем вот эта, большая, всамделишная, с красным бантом в белых кудрях, с голубыми глазами. Ну и пусть себе стоит, она даже смотреть на нее не будет. Подумаешь, шелковое платье да голубые глаза! Ишь какая воображуля! Лидка показывает чужой кукле язык и отворачивается от нее навсегда. Она делает сама куклы красивее этой. Вот именно, красивей. Правда, маленькие, а ноги у них то синие, то зеленые — какие уж есть тряпочки, — но зато за каждую куклу она выменивает цветные карандаши. Ничего, она попросит Фишку взять у матери лоскутков побольше и сошьет куклу огромную, чуть ли не с себя ростом, да и лучше, чем эта... Только ей никак не понять, зачем счетоводихе кукла, раз у нее нет своих детей. Вот еще зачем-то понадобилась лишняя комната. Эта-то вся в коврах, в половиках да в тюли. Кукла вон еще... Подумаешь, фифа... А ковер у них дома хоть и клеенчатый, но тоже красивее — у них на ковре плывет белый лебедь посередке озера, а вокруг, по берегам, яркие, нездешние цветы. В цветах, раскинувшись, лежит красавица в прозрачном платье, — наверное, ждет царевича. И Лидке иногда очень хочется скорее вырасти и тоже залечь в такие же цветы, подпереть рукой голову и этак посматривать вдаль или на лебедя. Мамка говорит, что лебеди едят кашу из лебеды, потому и красивые...

Наконец на столе появляются два холодных куска пирога с картошкой и солеными грибами да стеклянная банка обрата и пять карамелек на блюдце. Лидка сидит и не может отвести от стола глаз: две карамельки желтые, одна розовая, две бледно-зеленые. Конфетки не мятые, не слипшиеся, а облепленные крупинками сахара. Мамке две,

Лидке тоже две, остается одна. Сколько же дадут Лидке? Если дадут две, то она одну спрячет и отдаст Мане. Маня недавно дала Лидке попробовать кусочек селедки. Селедку Лидка никогда еще не едала, а карамельки и пряники она пробовала. А может, дадут три?

Мамка сидит за столом и смотрит на хозяйку:

— А сама-то, Луша, что же?

— Дак мне бежать надо,— говорит Луша и мнется с ноги на ногу возле загнетки, где лежит замок от избы.

— Так беги,— говорит мамка, не притрагиваясь к еде, а глядя на замок.— Мы и в той комнатке поедим... А ты закрой горенку-то... Мало ли — за водой, может, отойдем, а тут какой-нито бандит вопрется, не дай бог, половики украдет...

— И правда что,— говорит Луша, трогая замок и суетясь по кухне.

Мамка берет куски пирога, банку с обратом и выходит через горенку в ту, еще нежилую, комнату, стелет на пол свой фартук и садится спиной к стенке, раздвинув ноги, положив куски пирога в подол.

Лидка с тоской слушает, как ржаво скрипит замок, и сглатывает слюну. Карамельки-то остались на столе, когда еще теперь она увидит карамельки?! Дождавшись, покуда хозяйка отойдет подальше от дома, Лидка бежит во двор, якобы в уборную, а сама крадется сквозь сиреневый садик к окошку — хоть одним глазком взглянуть на куклу и карамельки. Но блюдца на столе уже нет, будто оно и не стояло там, а только привиделось ей. Да и куклу из этого окошка не видать, а другие окна заперты ставнями. И Лидка, удрученная, начинает пластать цветы в палисаднике. Вон их тут сколько — не убудет. А у них-то и в садике — картошка. Только возле окошек, чуть ли не на самой завалинке, растут штук пять мальвин. «Не до цветов теперь,— говорит мамка,— вот кончится война, тогда весь огород маком засеем, а пока вон бегай в поле — там незабудок синим-сине». Незабудок и вправду синим-сине в поле. «Так то в поле,— вздыхает Лидка.— Туда же еще бежать надо».

А здесь, пока мамка не видит, она спрячет охапку цветов в крапиву, после, как стемнеет, сбегает сюда и заберет цветы.

Закончив работу, мамка остается ждать хозяйку.

— Мало ли что,— говорит мамка,— а вдруг какой-нито бандит вопрется! Корыто или ведро украдет. Я уж лучше

подожду Лушу, а ты иди домой. Скоро Маруська придет, встретишь. Завтра бы надо к быку ее сводить — опять не обгулялась. Я думала, она хоть в стаде обгуляется, а она, паразитка, ни мычит ни телится. Ну, беги, беги!

Над деревней появляются вечерние дымки. Перебрехиваются собаки, где-то недалеко, за огородами, кричат перепела. Бредет по деревне стадо. Коровы мычат, а Лидка торопится к дому встретить Маруську.

* * *

...Возле овощехранилища, среди лопат и метел, сидит Колька и грызет кочерыжку капустного кочана. Сегодня Колька и Фишка очищали подвалы. Там-то уж наверняка можно найти в остатках глины, которой засыпают на зиму морковку, хоть одну несгнившую.

— Хочешь? — предлагает Колька очищенную кочерыжку.— У меня еще есть морковка. Я их навалом спрятал.

— А дашь? — спрашивает Лидка, грызя кочерыжку.

— Дам... Так седни пойдем или нет?..

— Т-с-с,— шипит Лидка, тараща глаза и крутя головой.— Пойдем,— наконец кивает она. — Мне только надо корову встретить и мамку подождать.

— Я нашел ломик, сгодится?

— Оружие надо бы, ну, ножик или топор... Лом-то тяжелый... Ну да ладно, на сегодня и он сгодится.

— Я и подумал — сгодится,— согласился Колька.

У Кольки была тетка — сторожиха в школе. Тетка его дубасила и заставляла раным-рано вставать и топить в школе печи. К тому же она пила и грозилась, выпив, отправить свалившегося на ее голову дармоеда Кольку в детдом. Колька запасал продукты, чтобы не дожидаться, пока тетка сдаст его в детдом, строил план убега на фронт — мстить за отца!

Ноги у него в коростах и ссадинах, холщовые штаны — латка на латке — подпоясаны веревочкой, серая майка в дырках. В растопыренных ушах всегда торчат клоки ваты. Колька — золотушник. Голова большая, тоже в коростах, синие глаза застенчивые, косящие.

— Ты только недолго,— просит Колька,— а то у меня брюхо болит.

— Ладно,— обещает Лидка.

И тут из овощехранилища выходит завскладом тетя

Рая, в узкой черной юбке, хромовых сапожках. Лидка завороженно смотрит на стройную, подтянутую тетю Раю и норовит смыться в репейники, которые примыкают к ихнему огороду. Но не тут-то было.

— Лидуха, иди-к, брюквину дам.

— Не-е,— мямлит Лидка.

А все потому, что на днях она подвела тетю Раю. Та частенько просила Лидку передать одному человеку записочку. Кому — Лидка не расскажет, клялась мамкой. Ну и передавала. А что такого? Но на днях Лидке был вручен рубль и было наказано сидеть у дверей подвала, и, как только кто-нибудь подойдет, вбежать в подвал и крикнуть тете Рае. А Лидка занялась синичьим гнездом на крыше овощехранилища и не опередила председательшу, с криком вбежавшую в подвал и заставшую там мужа — председателя колхоза. Лидка тоже вбежала на крик и таращилась то на солому, то на председательшу, сообразив в конце концов вовремя унести пятки подальше от чужих криков. Лидка думала, что тетя Рая разозлится на нее, но та не злилась, ходила веселая, с победным блеском в глазах. А сейчас, вишь ты, даже заговорила.

— Да у нее ножика нет, — встрял Колька. — Давай я разрежу.

— Ладно,— сказала тетя Рая, спускаясь в подвал по расчищенным земляным ступенькам,— принесу. Только ты мамке ломтик тоже отнеси.

— Отнесу, отнесу,— обрадовалась Лидка.

5

Мария Кондратьевна жила от Лидки через дом. Когда Лидка выходила встречать Маруську из стада, то частенько присаживалась на лавочку у ворот дома учительницы. Присела и сегодня. Делала она это с умыслом — иногда Мария Кондратьевна сама открывала для своей коровы калитку, а не сын Венька, одногодок Лидки, — тогда можно было с ней поговорить, спросить чего-нибудь. Если же выходил Венька, чистенький, беленький, в желтых сандалетах — это летом-то! — то Лидкины ноги в царапинах и цыпках сами собой прятались под лавочку, а голова задиралась на столб с репродуктором, будто Лидке позарез надо было прослушать последние известия с фронта и до Веньки ей не было никакого дела, подумаешь, присела на

чужую лавочку, больно надо. Лидка чинно вставала, втайне завидуя Веньке, но не сандалетам, не новенькой матроске, а тому, что Венька вот уж перешел во второй класс и ходит со всеми учениками то на прополку колхозной морковки или турнепса, то заготовлять траву молочай, из которой, говорят, резину варят, так Венька зазнался, даже научился говорить как-то странно. Однажды, проходя мимо их дома, Лидка услышала, как Венька, отбирая у матери ведра с коромыслом, строго сказал: «Мама, меня весьма беспокоит твое сердце. Я ж тебе говорил, что вода, огород входят в мои обязанности...» Что означает слово «весьма» Лидка не знала, а спросить у Марии Кондратьевны постеснялась. Мамка же говорит, что «весьма» — это значит весомо. А вот про обязанности она, Лидка, знает. Только и слышно — обязать да обязать. Опять недавно обязали каждый двор сдать в утильсырье по десять килограммов костей и по два пуда всяких железок. Ну, костей-то еще куда ни шло, старых-то костей полно валяется у дворов, а вот железо трудновато искать. Да она-то уж и железо нашла — старый радиатор лежал в яме за огородами. Пришлось, правда, звать Кольку и Вовку, еле взволокли на тележку, зато за этот радиатор, а он почему-то оказался не железным, а медным, дяденька приемщик похвалил да еще в придачу дал три рубля с копейками — два дня после все ходили в кино и пили морс.

Так что пусть Венька зазнается. Зато она осенью опять пойдет на зерносушилку, там тепло, печь большая, дров, правда, горит уймища, да зато пшеница быстро сохнет, только успевай ходи босиком и вороши зерно. А еще она осенью тоже пойдет в школу. А то Мария Кондратьевна, наверное, уж устала ходить по дворам в холода — шутка ли, десять ребятишек зиму сидели без пимов, без лопотин дома, а учительница ходила вечерами, учила их читать и писать. А этой осенью, говорят, всех учеников пошлют собирать колоски — год-то выдался неурожайный, засушливый.

Вот сейчас она дождется — выйдет Мария Кондратьевна, а Лидка и похвалится, что мамка портфель собралась ей купить и еще — платье. Заработала сегодня Лидка себе на обновки.

Наконец вышла сама Мария Кондратьевна, и Лидка вскочила:

— Здрасте, Мария Кондратьевна! А я уже тутока! — с готовностью говорит Лидка.— Я вашу Лучинушку тоже

пригоню, вы не беспокойтесь. Мамка мне сказала, что у вас женское недомогание и что вас надо беречь...

— Спасибо, Лида, спасибо. Да беречь-то бы, Лида, всех надо, не только меня, время-то видишь сейчас какое... Ну, а ты как живешь?

— Ой, и не говорите,— всплеснула рукой Лидка.— Без слез и не расскажешь...

— Да что так?

— Как что: Маруська, паразитка, не обгулялась, Фекле хвост собака отцапнула, у мамки то и дело ноги болят, а тут сена дадут ли косить — прямо беда. Да еще стайка у Маруськи разваливается, как бы зимой волки не задавили нашу кормилицу...

— Ты уж постарайся матери помогать. Одна ведь ты у нее! Кто ж ей поможет. Скоро вот в школу пойдешь. Тебя бы сразу во второй класс можно зачислять — вон ты как быстро читать научилась...

— Я уж всю тетрадку, что вы давали, исписала... А мамке я помогаю, как не помогать — родная ведь она мне. Цельный день сегодня щекатурили у счетоводихи — портфель мне мамка посулила... — И вдруг Лидка разглядела, что глаза у Марии Кондратьевны, всегда голубые, улыбчивые, сегодня что-то красные, да и волосы висят по вискам паклей. Смотри ты, совсем седехонька, хворает, видать... Вишь, даже голову не прибрала, решила Лидка. А так-то она, Мария Кондратьевна, всегда опрятная: платье синее с пояском, у глухого ворота брошка цветочком — похожа на незабудку.

— Ладно, Лидушка, мамке поклон передай... Как-нибудь в другой раз забеги, дала бы я тебе еще тетрадку, да не убережешь до школы.

— Ой, спасибо! Оно и вправду у вас-то надежнее... А вы дяде Павлу Нилычу и дяде Кире будете писать — от нас с мамкой тоже поклон передайте и что мы ждем от них привета, как соловей лета. Я вот им табаку порублю — посылку пошлем... Ну, побежала я, Мария Кондратьевна, коров встречать.

И побежала Лидка без оглядки. Не видела она, как добралась учительница до крыльца, как ухватилась рукой за дверной косяк да и съехала на порог. В кармане у нее лежали два извещения: сын погиб геройски, а муж пропал без вести.

Лидка пригнала коров. Лучинушка Марии Кондратьевны сама прямехонько домой в калитку, а Маруська, она

и есть Маруська — все норовит ухватить зеленую веточку из чужих палисадников. Лидка стеганула корову прутиком раз-другой, не больно, так, для строгости, а потом уж в ограде, ласково поглаживая, помыла теплой водой грязное вымя и, напевая: «...Где ты теперь, я не знаю, но наша любовь впереди. Далека ты, путь-дорога...» — принялась доить корову. После процедила молоко сквозь марличку в другое эмалированное ведро и стала ждать мамку. А чтобы не сидеть без дела, принялась охорашивать Маруську большим деревянным гребнем, расчесала шерсть на боках, выдрала из хвоста все репьи. Маруська от удовольствия перестала жевать жвачку и улеглась посередь ограды, подставила Лидке спину, это чтобы Лидка повыдавливала ей слепней.

За этим занятием и застал Лидку дед Спиря, слывший в деревне полоумным.

— Мамка-то дома ли?

— Да нету еще.

— Скажи, пусть готовит саман и бражку, на днях привезу тележку, а то и две тальника...

— Ладно, скажу.

— А ну-ко, я посмотрю, много ли работы?

Дед взялся за веревочный поясок на залатанной желтой рубахе и стал похож на старый нечищеный самовар. Лидка посмотрела на волосатые босые ноги деда, торчащие из-под подвернутых штанин. Надо же, у него даже цыпок нет, только трещины на заскорузлых пятках. Цыпок-то у него, наверно, из-за волосьев нет, подумала Лидка. А дед Спиря между тем покачал колья Маруськиной стайки — подгнившие колья, оплетенные и обмазанные саманом, качались. Мамка то и дело подпирала стены стайки, чтоб не упали, палками, старыми досками. Зимой на задах огородов бродили волки. Один, Лидка сама видела из окна избы, обнаглел и залез на заметенную снегом стайку Маруськи, мамка несколько раз выходила в сенки, била кочергой в ведро, чтобы волк испугался железного грохота, но волк, наверно, был не дурак — выл, да и только — есть хотел.

— Стара изба у вашей коровы, стара! — сказал дед Спиря и двинулся из ограды.

— Сдала ли молоко-то? — первым делом спросила мамка, явившись от счетоводихи.

— Пять с половиной литров сдала, блюдечко Фекле налила да вон тебе кружку оставила...

— Молодец! — похвалила мамка.— Ты выпей молочко-то сама да иди поиграй пока с подружками, а я к Марии Кондратьевне сбегаю. Лихо-то какое, господи, убивается она, сердешная, да все молча, да все молча... Кирьку убили... Что деется, что деется-то, господи... — Не сдержалась мамка, села на лавку да ну реветь: — И-и Павлуша пропал без вести-и... Солнышко мое разъединственное и то закатилось... Да где же ты теперь лежишь, да под каким кустом-вербой, да родной ли ветер над тобой гуляет?..

— Мам, а разве дядя Паша нам родня?

— Ой, родня, доченька, ой, родня! — причитала мамка.— Без слез и не расскажешь... Молодость-то у нас была золотая да горячая... Да вот видишь как,— мамка попритихла.— Да вот... а потом всю жизнь соседями с Павлушей прожили. Только кланялись да улыбались... Кланялись да улыбались... Как же я ей скажу теперь, как в глаза-то посмотрю ей? Любила-то я его как, господи-и!.. Приросла я к нему на всю жизнь, а отвянуть-то никак и не сумела... Ну, ты иди, иди... поиграй,— выпроваживала она Лидку, а сама терла глаза кулаком — ...Ах, господи, что же теперь-то?..

Лидка, конечно, не выскочила из избы тотчас же, а стояла как мышь у порога и таращилась на мамку — не заболела ли? Ишь, заговариваться уж начала — шепчет что-то и шепчет да головой качает. Кирьку убили... Как это убили? Ведь он же ее, Лидку, сколько раз катал на велосипеде... Никого не катал, а ее катал. Бегала за ним Лидка, как собачонка. Он на вечерки — она за ним, он в кусты черемухи целоваться с Сенькой рыжей — она за ним. «Ну, гниденыш,— смеялся Кирька,— бить я тебя скоро буду... Сгинь домой!» Вот — убили... Кто ж ее теперь на велосипеде прокатит? Кто на плечо посадит?.. Нет, это все враки. Кирька вернется, не может он не вернуться. Лучше-то его никто не играл на баяне, когда были проводы возле военкомата...

Чтобы не сердить мамку и не видеть ее печали, Лидка шмыгнула за дверь. А там уж вот он, Колька, из-за угла свистит:

— Ты это где? Мы тебя ждем, ждем...

— Так светло же еще...

— Ну и что что светло. Приготовиться надо.

— А где Вовка, Маня, Фишка?

— В черемухе.

— Айда.

С опаской, будто за ними следили из всех щелей, пробрались в черемушник. Маня, Фишка и Вовка сидели, как цыпушки на седале, на старой, поникшей до земли ветке черемухи.

— Ура-а! — закричала Маня.

— Ну, сдурела девка,— сказал Колька. — Вовк, щипани ее, может, замолчит.

— Маня, ура кричать нельзя,— строго сказала Лидка.— Мы тут уракаемся, а у Марии Кондратьевны Кирю убили...

— Мы, мы... наверное, зря. Володя говорит, что мы пойдем на молокозавод... Это, это ведь нехорошо замок-то ломать.

— Ничего, Фиша, замки мы не ломаем... Ну, а если и мы с голоду помрем?..

— И не воровство это. Вон на колхозном поле поймали двух мальчишек с турнепсинами, так Мария Кондратьевна не велела их бить. Она говорит, что это не воровство, а необходимость выжить. И еще она говорит, что и вправду нельзя воровать, то есть нельзя ничего брать без спросу. Только ведь проси не проси — кто ж даст. А турнепс все равно телятам зимой скормят. Так зимой-то у нас у самих картошка будет.

— Мы же у бедных ничего не берем,— поддержал Лидку Колька.— А потом, мы сегодня немножко, только поесть...

На этом все согласились и замолчали.

6

Луна светит ярко, настырно. Обалдело кричат лягушки, цвиркают кузнечики. В черемухе поют соловьи.

Они впятером крадутся к забору маслозавода. Подлазят под оторванные доски и по-пластунски ползут сквозь редкие репейники по мягкой, лиственной ветоши, мимо пристроек и складов, мимо сторожки бабки-травознайки, ползут молча. Но вот хныкнула Маня, и на нее зашикали.

— Ты что нас выдаешь?

— Так я укололась, — виновато шепчет Маня.

— Терпи или ползи назад, — зло говорит ей Колька.— Я вон в коровью лепешку вполз и то молчу.

— Так страшно назад-то,— шепчет Маня.

— Тогда молчи,— приказывает нетерпеливый Колька и тут же задевает обо что-то железное двухлитровым би-

дончиком. Звук слабый, но ребятам кажется, что все его слышат.

— Т-с-с,— шипит Лидка.— Лежать!

— Я нечаянно, — оправдывается Колька.

— За нечаянно бьют отчаянно! — мстит Маня.

Лежат чуть дыша, долго, пока не начинает звенеть в ушах. Снова ползут, крадутся. Перебегают из зарослей травы к стенкам деревянных пристроек и наконец ныряют под замшелый скат крыши склада, где под двумя замками хранятся ящики с маслом, брынзой и фляги со сгущенкой. Крыша трухлявая. Колька легко отдирает две доски и первым просовывается в жуткую темноту чердака.

— Лид, зажги спичку,— тихо просит Фишка.

— А если увидят?

— Так тут темно, буканушка счас как схватит! — тянет Маня, держась за подол Лидки.

— Никаких буканушек давно нет, они только до революции были,— говорит Лидка, поеживаясь.— Постоим немного, глаза привыкнут, и сразу найдем лаз... Пошли! — И она осторожно ступает в темноту. Ступать мягко — потолок засыпан землей.

Все смелеют и вскоре находят люк, который почему-то не на замке.

Ломик не понадобился. Разгребли руками землю, подняли крышку. Из черной тьмы дохнуло холодом. Стало совсем жутко.

— А вдруг там крысы? — замерла Фишка.

— Ну врать-то,— отрезал Вовка.

— Колька, свети! — приказала Лидка, наклоняясь над открытым лазом.

Колька чиркнул спичкой и поджег щепку.

— Колька, ты длинный — прыгай, мы за тобой.

Вслед за Колькой спустились все и, поджимая ноги на льду, стали оглядывать привалившее богатство.

Кругом стояли фляги. Открыли одну — сгущенка. Сгущенка была очень холодной, к тому же и липкой — в горле першило.

— Колька, зачерпни в бидончик,— сказала Лидка, решив передохнуть. Она топталась с ноги на ногу и облизывала пальцы, жалея, что взяли малую посудину.

— Стынут,— захныкала теперь Фишка,— ноги...

Поев еще, Лидка выловила несколько засахарившихся кусков сгущенки в подол. Глядя на нее, девчонки сделали

то же самое, а Колька снял еще майку и завернул в нее большой кус.

Вылезли, кое-как опустили крышку люка и снова загребли, заровняли землей. Выбрались из тьмы чердака под мирный свет луны. Задвинули доски крыши и побежали за Лидкой. А Лидка зачем-то рванула за зады маслозавода, к степному пустырю, к болотам.

Квакали лягушки. Хитро светила луна. Больно кололся высоченный чертополох, у девчонок сквозь подолы сочилась сгущенка, текла по ногам. Лидка подставляла ладошку под узел подола, ловила, а потом слизывала.

Из-под ног что-то такое разбегалось — не то мыши, не то полусонные птицы. Кусты травы топырились. Сердца колотились. Бежали не оглядываясь. Но погони не было, и вскоре, пробежав мимо ветряной мельницы с одним поникшим крылом (другие истопили зимой), оказались у булькающего, кряхтящего ночного болота с кочкастым берегом.

Лидка села, прижав к животу отощавший, липкий подол.

— Надо все сьисть, а бидончик спрятать в тайник на завтра.

Колька, поставив рядом с Лидкой бидончик, вдруг выронил на землю узелок со сгущенкой, отбежал и присел. Кольку поносило. Пришел он молча, ничуть не стыдясь, снял обветшалые штаны и полез к воде в болото.

— Так не высохнут ведь,— посочувствовал Вовка.

— Высохнут! — буркнул Колька.

— Я тоже пойду мыться,— сказала Маня.— Ноги липнутся.

— А я боюсь, там тина и топко,— сказала Фишка.

— Тогда айдате на Курейку,— сказала Лидка.— Кольк, пошли на Курейку, Фишка боится лезть в болото.

— Счас догоню, — крикнул Колька. — Штаны вот выжму.

Теперь не бежали — шли. Озирались по сторонам и доедали из подолов сгущенку. Обходя маслозавод, прокрались по деревне.

На другом конце деревни играла гармошка. По широкой улице одиноко ходили девки — пели.

На речке тихо, сонно. Ребята встали на берегу под ивой и замерли.

— А если русалки? — испугался Колька.

— Ври. А еще малец,— протянула Лидка и вздрогнула.

К плотику, шевеля траву, кто-то плыл.

— Вон, плывет, — попятилась.

Колька рванул со всех ног от речки. За ним Маня и Вовка. Отбежали, встали. А Лидка с Фишкой вытянули шеи — кто-то вылезет на плотик?

— Это ондатра,— обрадовалась Фишка.

— Эй! Это онадатра! — крикнула Лидка.— Вертайтесь.

Взошли на плотик. Разделись и стали полоскать одежду. Фишка села на край плотика и спустила ноги.

— А если цапнет? — спросил Колька.

— Кто?

— Ну, эта, как ее... надатра...

— Она не кусается, из нее шьют воротники и шубы,— сказала Фишка.

— Фиш, а что тогда шьют из рыбьей шкуры? — спросил Вовка.

— Ты думаешь, живут в воде только рыбы? В воде еще живут тюлени и котики, и нерпы — это в морях, а здесь в реках и озерах живут ондатры, водяные крысы, бобры...

— Вот это да! — протянул Вовка.

Лидка прополоскала платье и принялась умываться сама.

— Я хочу поплавать,— сказала Фишка и пошла на конец плотика.

— Тут полно травы,— сказала Маня, держась с краю, у берега.— А в траве живут русалки, водяные — схватят.

— Не схватят, водяных тоже в революцию выгнали,— сказала Лидка.— Я тоже буду плавать,— и шагнула за Фишкой. Но у самой куда-то катилось, падало сердце, слабли ноги. Видано ли — столько зверей живет в воде! Днем-то их не видать, а ночью, поди, охотятся на маленьких ребят. И цапают, утаскивают на дно, а потом выучивают на русалок или водяных. — Трусы вы и бояки,— подбадривая себя, выпалила Лидка, трогая ногой воду.— У-у, какая теплая-я! Только мамке не говорите, что я купалась. Она мне не велит купаться — я тонула.

— Ну вот, утонешь еще. Тоже выдумала — ночью купаться,— заворчал Колька.

— Не буду,— сказала Лидка и упала животом на воду. За ней упала Фишка.

— Ой,— взвизгнула Маня,— с ума вы посходили? Забрызгались.

— А я твоей мамке цветов запасла,— сказала Лидка, подплывая к Фишке. К Фишке-то она плыла специально — вдруг да и вправду кто-нибудь цапнет, тогда хоть можно будет ухватиться за Фишку — двоих-то не сразу осилят.

— Цветы моя мама любит — обрадуется... Ой, посмотри — луна плывет! Давай ее догоним?

— Так она же не плывет, а стоит.

— Нет,— сказала Фишка.— Луна всегда плывет и плывет по небу. Она никогда не стоит.

— Тогда где она днем?

— На той стороне земли.

— Давай вылазить... Кто-то за ноги хватает... А разве другая сторона земли есть?

— И никто за ноги не хватает — это трава. А другая сторона земли есть, и на ней тоже живут люди. Только все как один черные.

— Слышь, Кольк, Фишка говорит, что есть вторая сторона земли, и там живут одни черные люди, и что луна всегда плавает,— с радостным облегчением сказала Лидка, вылезая на плот. Ну, теперь-то никто не цапнет. Это еще надо ой какую силу иметь — чтобы стащить с плота.

— Ага, земля круглая, как мячик. У нас в школе есть глобус. Так на той стороне живет Африка,— подтвердил Колька.

— Это где слоны?— спросила Лидка.

— И тигры,— добавил Вовка.

— А у нас тигры живут?— спросила Маня.

— Вот бы сейчас тигр из воды вылез, а?— сказал Вовка, который так и не ступил на плотик — сидел на берегу.

— Не вылезет. Они в воде не живут. В воде живут крокодилы,— утешила Фишка.

— А они большие?— спросил Вовка.

— С мост-то, наверное, будут,— прикинула Фишка.

— А коров они едят?— поинтересовался Вовка.

— Глотают,— сказал Колька.

— Ну да?!

— А что, щука же целиком заглатывает мальков.

— Так то щу-ука! — протянул Вовка.— Сравнил: щука и какой-то крокодил!

— Холодно, айдате домой, — захныкала Маня.

— Айдате,— согласилась Лидка.

7

На другом берегу, под нависшими над водой кустами ивняка, слабо задымился туман-парок. Куда-то канула луна. Поднялся слабый ветерок.

Залопотали склоненные над водой ветви плакучей ивы, и вдруг пошел дождь-моросейник. А потом поднялся ветрище, и хлынул ливень.

Испугавшись темноты, близких криков выпи, заполошного лягушачьего кваканья, поднявшегося со всех сторон, и вконец озябнув, ребята припустили бежать по домам.

Вначале проводили Маню, потом Фишку, Колька довел Лидку до ограды, и она кошкой вскарабкалась по углу дома под крышу, где спала. А Кольке все равно где было спать. Чаще всего он ночевал у Вовки в углу избы на охапке осоки-шумихи.

Лидка сдернула мокрое платье и нырнула под одеяло. И сразу начала куда-то падать, падать... Засыпая, еще слышала, как воет в трубе ветер, скрипят ставни, крадко шебаршит по крыше и что-то мягкое лопочет дождь.

Утром мамка разбудила Лидку, забарабанила палкой из сенок:

— Лидушка, Лидушка, вставай! Хватит дрыхнуть-то... Уж солнышко над головой стоит... Слышь, принеси Маруське воды и напои. Седни поведем ее к быку.

— Ладно,— сонно согласилась Лидка.

— Вставай, вставай, я побегу в правление — полы домою. Я тут груздянку сварила, утресь все бабы на ферме грибы собирали. После дождичка-то крепехонькие навозники. И я тоже набрала... Да не забудь — кинь ложку сметаны в чашку — вкуснее будет... Слышь?..

— Да слышу,— недовольно отозвалась Лидка и разомкнула глаза: в щели крыши светит солнышко, попискивают ласточки, рядом на одеяле мурчит, умывается кошка Фекла.

Лидка хватается за платье, оно скоробленное от вчерашней сгущенки, надо перестирывать. Значит, надо ждать, пока уйдет мамка. В сенях в углу стоит большой чугунок со щелоком. Мамка заварила крепкого щелоку, чтоб вымыть голову Лидке, да, видать, и забыла. Придется платье теперь стирать, а когда оно еще высохнет — не дождешься, надевать же больше нечего. Лидка берет платье, спускается по лесенке в сени, находит щелок. Начерпав

кружкой в ведро щелока, стирает платье. Голова чешется, и Лидка после платья моет голову. Потом, накинув старую фуфайку, выходит в ограду и вешает платье на тын.

На шестке теплый чугунок с груздянкой. Лидка находит на полке стакан со сметаной на донышке и жадно ест груздянку. Груздянка сегодня вкусная.

Платье немного подсохло, надо надевать и нести Маруське воды. Маруська уже мычит. Ходит за Лидкой, тычется губами в лопатки, норовит захватить и пожевать непросохший подол платья.

— Потерпи, ласочка, потерпи, не привередничай,— мамкиным голосом уговаривает корову Лидка, скребет ей за ухом, гладит.— Счас водички принесу...

Прибегает запыхавшаяся Маня.

— Наши... все наши...— сминая слова, шепчет Маня.

— Что наши?

— Все наши ребята пошли записываться в пионерский лагерь!— наконец выпаливает Маня, нетерпеливо подпрыгивая.— Айда!

— Враки, поди,— сомневается Лидка, но сама загорается.— Прям счас?

— Счас,— кивает Маня.

— Бежим,— решается Лидка.

В районо полный коридор ребят, но Колька захватил очередь на всех.

— Эх бы, да всем бы вместе, а?— радостно суетится Колька.

В комнату на запись начинают запускать по трое. Все ждут, шикают друг на дружку, ждут первых счастливчиков. И вот наконец распахивается дверь, и все трое вылетают пунцовые, сияющие.

— Ур-ра-а!— кричит Колька.

Лидка даже не успевает порасспросить Кольку, что да как, как ее, Маню, Фишку и Вовку впихивает в дверь нетерпеливая толпа.

В комнате стол. По краям стенок стулья, на зарешеченном окне герань. За столом толстая пожилая тетенька.

— Ну,— спрашивает тетенька Маню,— фамилия? Год рождения, где работает мать, где отец?

Маня, заикаясь, растягивая слова, говорит, кто она и что матери у нее нет, а отец на фронте.

— Хорошо, — говорит тетенька. — Готовь белую майку, трусы, тапочки, полотенце... А ты, Реутская? — строго говорит тетенька Фишке. — Ты приди с мамой...

— Хорошо,— соглашается Фишка и, ссутулясь, идет к двери.

— А я — Лидка,— с готовностью представляется Лидка.— Мамка у меня колхозница, тятька умер...

— Девочка,— говорит тетенька и смотрит так, что у Лидки холодеет спина.— В пионерский лагерь мы записываем только детей военных. Понятно?

— А?— не понимает Лидка.

— Девочка, а твой отец военный?

— Он умер,— тянет Лидка.

— Он умер не на фронте. А мама у тебя — колхозница. Вот если бы твой отец или мама воевали...

— Моя мама зато моет полы, — с гордостью заявляет Лидка, надеясь, что уж это наверняка подействует.

— Вот и пусть моет... Фу, какая ты непонятливая, я же сказала, что твой отец не проливает кровь...

— А-а,— тянет Лидка, готовая провалиться от стыда, и пятится к двери. А на деревянном крылечке сидит и плачет Фишка. Лидка таращит глаза, крепится, чтоб не разреветься, но это не помогает.

— Айда отсюдова,— еле слышно говорит Лидка, поднимая Фишку за руку.— Пойдем лучше есть сгущенку...

Ссутулившись как старухи, они бредут по пыльной улице и ревут в голос. За ними так же понуро плетется Вовка Рыжий. А следом идут виноватые Колька с Маней. Как будто что-то нарушилось в их дружбе, разъединило их.

А в вересковой яме разрушен тайник. Брынзы нет, бидончик на боку, и сгущенки там с ложку. Трава вокруг помята. Со склона из сочной крапивы высунулись, глядя зло и настороженно — собаки. Целая свора.

— Это они слопали,— говорит Колька и кидает в собак камнем.

Собаки не двигаются — все так же смотрят.

— Не тронь собак!— тихо просит Лидка.— Они тоже есть хочут.— Взяв пустой бидончик, она поднимается из ямы.— Мне Маруське надо принести воды,— добавляет она еще тише и, не оглядываясь, идет домой.

— Я с тобой,— догоняет ее Фишка.— Знаешь, мама просила передать тебе большое спасибо за цветы.

— Ну вот еще!— отмахивается Лидка.

— Она зовет тебя вечером пить чай. Вот конфетка — это тебе.

Лидка зажмурилась. Конфетка настоящая, может быть, шоколадная, в двух бумажках. Таких конфет Лидка еще не едала.

— Давай пополам,— предложила Лидка.

— Нет, я уже такую съела... Мама вечером даст нам еще по одной. Даже, наверное, лучше этой. А еще по печенюшке.

— Ух ты!— радуется Лидка и забывает, что только что были обиды и слезы.— Тогда я половинку оставлю мамке.

— Конечно,— соглашается Фишка.

— Пойдем сегодня на пустырь к элеватору? Там, может, опенки выросли... дождик был ночью...

— Опенки — это которые негниючки, да?

— Ну.

Высунув голову из ограды, мычит Маруська. Лидка хватает ведра, коромысло и бежит к речке.

— Дай я поднесу,— предлагает Фишка.

— Ладно, обратно пойдем, с половинки дороги дам.

Едва она успевает напоить Маруську, как приходит мамка.

Мамка накидывает на рога Маруськи веревку и заставляет Лидку подгонять ее прутиком. Маруську ведут к быку. Лидка не бьет корову прутиком, только машет им по воздуху возле ее боков, да Маруська и сама топает охотно — кому хорошо стоять целый день в ограде.

На ферме, возле поломанных комбайнов, стойка для случки скота. Рядом ветеринарная.

Озабоченная и суетливая мамка заводит Маруську в стойку, коротко привязывает ее и говорит Лидке, чтобы отошла к стенке ветеринарки. Бык, бурый, белолобый, с кольцом в ноздре, косит глазищами, фырчит и гребет ногами землю. Герасим, рослый однорукий мужик, заведующий фермой, стоит рядом со скотником Афоней и за что-то тихо ругает его.

— Мамк, так он некрасивый,— шепчет Лидка.

— Кто?— не понимает мамка и смотрит заискивающе на Герасима.

— Герасим, вот кто...

Лидка понуро бродит у стенки, заглядывает в окошко ветеринарки, там полки с банками, пробирками, ящиками. А на столе — телескоп, наверное? Вот бы заглянуть в него разочек!

А ноги у Лидки все обмякают, в животе крутит, урчит. Да и подташнивает ее, перед глазами мельтешат какие-то золотистые мушки. Мушек этих все больше и больше. Они вертятся, летают, и, чтобы их остановить, Лидка зажмуривается. Открыв глаза, она видит, как упирается бык,— не хочет идти к Маруське. Герасим нокает, хлыщет быка веревкой...

— Что это с девкой-то? — спрашивает Герасим мамку. — Дура баба, не знаю, чего ты ее сюда приперла? — кричит он и лезет за Лидкой, отдирает ее от скобы.

— Симка, бросай корову, тащи девку в больницу!— орет Герасим. — У нее уж глаза бешеные и пена изо рта лезет. Может, белены объелась.

— Да что это с ней?— подхватывается мамка.

— Тащи, говорю, баба дура! Бегом!..

— Ой, господи!— бьет себя руками по бокам мамка.— Я ж ей груздянку из навозников сварила! Ох и паразитка ж я зеленая! Ох, отравила, поди, девку! Ох!..— Мамка хватает Лидку за руку и бежит как угорелая в сторону больницы, воя и причитая, как плакальщицы над покойником.

Лидкины ноги не слушаются. Рот все кривится и никак не закрывается. Мамка дотаскивает Лидку до больницы на руках. Там, оставив ее на крыльце, бежит вовнутрь.

Возвращается с теткой в белом халате. У тетки в руках ложка и пузырек. Лидке разжимают рот, что-то вливают и заставляют глотать. Лидку тут же, на крыльце, выворачивает. Она бьется в руках мамки, охающей, испуганной, и без передышки блюет. Потом Лидке снова вливают в рот что-то. Лидку рвет снова.

— Ну, а теперь отпаивай молоком,— наказывает врачиха.— Грибы-то надо было бы сперва ошпарить, а потом уж варить. Поди, старых нахапала?— пытает мамку врачиха.

— Да нет вроде — все крохоньки были,— оправдывается мамка.

— Вот тебе и крохоньки, отправила бы девку на тот свет... А сама, поди, и не ела?

— Да немножко было-то. Сама-то я крапивницы вчерашней похлебала... А ей, думаю, вкусненькой груздяноч-

ки сварю — раза б на два поесть ей... Ох, паразитка я, паразитка... А ты чего?— взъерошилась мамка на Лидку.— Куда глядела? Все, наверно, слопала?

Лидка замотала головой, дескать, нет.

— Сима, ты ж сама накормила, а на ребенка орешь,— укорила мамку врачиха.

— Дак на кого ж мне теперь орать-то?

— Ладно, веди ее домой и молоком, молоком...

А молока дома не было. Какое там молоко!

Мамка обежала соседей, заняла литр молока. Наказала Лидке пить и, вымахнув в ограду груздянку из чугунка, побежала за коровой.

8

Лидка попьет молока да ляжет, попьет да ляжет. Раза два бегала на улицу, тошнило. Потом стало получше, но ноги дрожали, и перед глазами все еще мельтешили мушки.

Мать привела Маруську и пустила ее в палисадник поесть вымахавшие выше сирени мальвы. В избу мамка зашла зареванная, понурая.

— Ты чё, мам?

— Чё, чё — опять облигации... Ты полежи — не бегай. Я счас приду.

Мамка порылась в сундуке и вышла. А Лидка уставилась на свой любимый ковер, где плыл белый лебедь и лежала в нездешних цветах томная принцесса. «Вот бы найти какой-нибудь клад, или вдруг да сейчас бы прилетел к ней волшебный ковер-самолет и она бы села на него и полетела в заморскую страну, в тридевятое царство и тридевятое государство! А может, этот ихний ковер заколдованный, а?» Лидка вздрогнула и принялась шептать — вещее, тайное, слышанное от бабки-травознайки:

— Боженька, боженька, ты все видишь, ты все знаешь — сделай так, чтобы наша Маруська отелилась зимой, сделай так, чтобы у мамки не болела поясница, сделай так, чтобы Герасим не забыл привезти нам зимой дров, сделай так, чтобы картошки уродилось видимо-невидимо... А мне, пожалуйста, ну, пожалуйста, боженька, расколдуй этот ковер... А ты, это ты куда ползешь, анчихрист?!— закричала Лидка на ползущего по ковру рыжего брюхатого таракана. Таракан замешкался да и свалился со стены за

кровать.— Ну вот, всю обедню мне испортил, дурак!..

Появилась мамка.

— А мы утром ходили просились в пионерский лагерь. Кольку да Маньку записали, а нас — нет.

— А ты меня спросилась ходить-то туда, а?— озлилась вдруг мамка.— Совсем от рук отбилась...

— Не буду больше,— пообещала Лидка.

— То-то,— успокоилась мамка и запела: — Ах, мой костер в тумане светит, да искры гаснут на лету...

— Мам, она мне сказала, что ты — колхозница, а тятька кровь не проливал, и потому мне нельзя в пионерский лагерь. А я знаю, что у Витьки Хлыстова отец тоже не проливал кровь, а мамка у него заведует раймагом... Витьку записали...

— Я полы мою да навоз на ферме ворочаю — только и всего. А у Витьки у вашего мамка, поди, лопату в руках никогда не державала. Что ей в навозе возиться — у нее товару в магазине пруд пруди...

Кто-то взошел на крыльцо. Шаги тяжелые, уверенные, сулящие тревогу. В колодину двери постучали тоже уверенно и властно.

— Да открыто,— сказала мамка и села на лавку.

Вошел милиционер — длинный, с желтым, как дыня, лицом. Лидка в ужасе прижала к себе покупки, попятилась к кровати, выронив на пол зеленые трусы. Все. Пришли. За ней это. Возьмут.

— Серафима Березина здесь живет?— спросил милиционер с порога, вынимая из кармана кителя ручку и блокнот.

— Дык, дык... Я это,— сказала мамка, заикаясь и выпучив глаза на милиционера.

— Где украденные половики?— рявкнул милиционер.

— К-какие... половики?— пытаясь улыбнуться, мамка скривила лицо.

— Ты, гражданка Березина, обмазывала саманом стены у Ступиной, так?

— Ага,— подтвердила мамка, прикрыв дрожавшие губы кончиками пальцев.

— Где половики?— теперь вкрадчиво спросил милиционер.

— Дык я не бра-ала...

На мамку напала икота, а Лидка с перепугу забилась в угол на кровати, загородилась подушкой.

— Т-так, значит. Год, число, месяц рождения?

— Ба-атюшки!— заголосила мамка.— Да я сроду не бывала в воровках... Да сроду чужого куска в рот не бирывала... Да нужны мне ее половики поганые, да пусть она ими подавится, а да пусть ей отольются мои слезоньки... Да пусть ей, курице толстозадой, молонья в крышу стукнет... У-у, гнида нерожалая!.. За что же она на меня-то тыкнула?.. Да ведь девка у меня осиротинится...

— Хватит!— милиционер бухнул кулаком по столу.— Где половики, сказывай!

— Дык,— осеклась мамка.— Господь с тобой, миленький...

— Граж-жданочка-а, не забывайтесь! Я вам не миленький...

Он встал и начал оглядывать все углы в избе. Слазил на полати, на печку, на Лидкин чердак и даже заглянул в стайку Маруськи, обшарил сенки и, вспотев, скомандовал:

— Собирайся!..

— На смерть так на смерть!— вдруг твердо сказала мамка, мстительно щуря карие большие глаза, и поднялась с лавки.— Доча, если не вернусь, иди к Герасиму.

— А-а-а!— взвыла Лидка.

— Не вой! И за мной не ходи. Чай, не на виселицу поведет... Корову подой, огурцы полей и натаскай свежей воды... Поняла?..

— Гражданочка Березина!..

— Иду, иду...

Мамка причесала гребенкой коротко подрезанные волосы и поцеловала Лидку. Ненадолго прижала ее к себе и быстро вышла. Лидка кинулась к окошку, заревела во весь голос. Мамка оглянулась, вымученно улыбнувшись, махнула Лидке рукой.

И осталась Лидка одна. С кошкой. Вспомнила, что не успела отдать мамке половину конфеты — бросилась догонять. Все же догнала. Мамка взяла конфету, тихо сказала:

— Иди домой!— и отвернулась, пошла.

Но домой, ясное дело, Лидку сейчас не загнать было веревкой. Вытянув шею, прячась, перебежками от палисадника до палисадника, она все же проводила мамку до КПЗ, подождала. Не вытерпев ожидания, она даже отважилась заглянуть в дверь. Там ходили милиционеры, и Лидка не рискнула переступить порог, кинулась обратно. И поплелась она к дому той же дорогой второй раз за сегодняшний день.

Надо было полить огурцы, наносить свежей воды в бочку, чтоб до завтра прогрелась, подоить Маруську и сдать молоко.

Вечером, управившись, Лидка пошла к Фишкиной матери. Разревелась, рассказала, что мамку арестовали. И попросила отпустить Фишку ночевать к ней, потому что одной боязно. Но не боязно было Лидке одной в своей избе — в ограде Маруська, а избе кошка Фекла, а страшилась Лидка, что снова придет милиционер, теперь за ней, Лидкой. Ведь они же вместе топтали саман с мамкой, вместе облепливали стены, а Лидка к тому же обломала цветы в палисаднике счетоводихи. Да еще вчера — вдруг дознаются, что они воровали сгущенку? Если бы вместе с мамкой посадили ее — тогда бы еще ничего, а то она знает, что маленьких куда-то увозят отдельно от взрослых, как Катьку за ту овцу. И каково ей тогда будет одной без Фишки, без Кольки, без Мани?

Фишкина мама дает им на дорогу по конфетке и по печенинке. Дома у Лидки они зажигают керосиновую лампу, забираются под тулуп на кровать и рассказывают всякие страшные истории, в которые сами же верят и пугаются. Потом является Колька, ведь ему все равно где спать!

— А я что-то нашел! — хвалится Колька.

— Клад?— спрашивает Лидка.— Где, а?

— Во!— Колька вынул руку из кармана штанов, подсел к ним на кровать. На его ладошке лежал темный от старости крестик.

— Ой, золотой!— ахнула Лидка.— Где нашел?

— В огороде... Это тебе — бери,— расщедрился Колька.

— Так он ведь золотой... А не жалко?

— Нет.

— Спасибо.— Лидка покраснела и вытащила из-под себя фуфайку.— Вот ложись на печку...

Пришла Палаша:

— Мир дому сему! Эк вас много как! А я иду, думаю, дай-ка загляну... Вот вам жмых — погрызите... Палаша дает им кусок подсолнечного жмыха и взбирается к Кольке на печку.— Ну-ка, кавалер, подвинься... Я чё-то забоялась дома одна. Минька к деду удрал — где-то рыбалят. Мать не пришла?

— Не-е,— вздыхает Лидка.— Может, еще и придет.

— Да уж не пришла, так не придет. Оттуда-т не скоро убежишь... Это попасть туда не мудрено... Ты не горюй, может, все как-нибудь образуется...

— А мне Колька крестик нашел,— похвалилась Лидка.
— Покажи-к, — протянула руку Палаша. Лидка встала с кровати, отдала крестик Палаше.— Медный,— определила Палаша.— Повесь кукле на шею.
— Куклы же не молятся,— сказала Фишка.
— А откуда мы знаем? Может, и куклы молятся, только молча... Попросила бы за мамку помолиться, что от нее — убудет?..
— Теть Палаш, а правда, чтоб стать счастливым, надо поймать черную кошку, сварить ее живьем в котле и ровно в полночь в бане выбрать все косточки и найти ту волшебную, с которой все нипочем и не страшно?— спросила Лидка.
— Да, говорят. Я не пробовала...
— А моя тетка говорит, что есть злая сила. И будто бы она бегает по деревне белым поросенком,— заговорил Колька.— Постоит тот поросенок у кого под окнами, и на другой день беда-то: скотина перемрет, а то похоронка... Она, тетка-то, если не пьет, то вечерами у огня шепчет молитвы, чтоб папку эта сила обошла, чтоб не убило его...
— Да-а,— протянула Лидка.— Ни вчера, ни седни, ни поза-позавчера никого — ни белого, ни серого поросенка — у наших окошек и не маячило, а мамку вот увели...
— Может, синица в окно стучала?— не сдавался Колька.— Упреждала...
— Синица в окно — это к письму,— сказала и вздохнула Палаша.
— Тогда, может, собака ночью выла?— добавил Колька.
— Собака воет ночью — к покойнику или к пурге,— сказала Лидка.
— Пурги летом не бывает,— сказала Фишка серьезно.— И вообще, никаких ведьм, привидений и буканушек нет. И бога нет. И чертей нет. А есть Вселенная. В ней Луна, Солнце, звезды и наша Земля. Звезды — это тоже Земли, только далекие. А конца света тоже нет...
— А ты откуда знаешь?— спросил Колька.
— Мне об этом говорила мама, а мама знает — она работала до войны физиком... И папа работал военным физиком. Вот...
— А меня зато мама маленькую водой брызгала от сглазу, — похвалилась Лидка.
— Сглаз есть, потому что это гипноз,— подхватила грамотная Фишка.

— И еще: меня крестили, вон в той медной купели, счас-то в ней рассаду мамка выращивает. В купелю тогда налили воды и меня голышом туда сунули. Вода-то была холодная, я возьми да и вцепись в бороду попу. А он завизжал и выронил меня, гад такой...

— Попов ругать нельзя,— сказала Палаша.— Рано вам еще богохульничать...

— Так он же мне губу рассек... Губа-то теперь кривая...

— Все равно,— стояла на своем Палаша.— Попы — божьи люди...

— Какой же он божий, если он и потом приходил и пил с тятькой брагу?

— Все равно,— твердила Палаша.— Мала еще...

— Так я же вижу. У него и зубы-то гнилые, а борода редкая-редкая... Вон у Герасима, так как у настоящего попа...

— Ну-у, у Герасима,— усмешливо сказала Палаша.

— А мне мамка наказала, если ее не выпустят, то идти к Герасиму — чтоб он хозяйство наше и меня взял...

— Сходить-то сходи, только не возьмет, поди... У самого — пятеро. Да и баба у него — троглодитка...

— Что такое «троглодитка»?— спросила Фишка, грызя жмых.

— Говорят, какой-то злющий зверь... Вот что, ребята, давайте-ка спать,— сказала Палаша, засовывая себе под голову старый валенок.

9

Рано утром Лидка подоила Маруську и отправила ее в стадо. Сдала молоко, оставила литр — ведь она вчера выпила литр чужого молока, теперь отдать надо. Села у стола Лидка и задумалась — идти или не идти к Герасиму? Посидела-посидела, нашла за всяким хламом в печурке карты, в которые ворожила мамка, и раскинула на столе. Выпал пиковый туз. Понятно, мамка в казенном доме. А вот по правую руку король трефовый, и с ним рядом девятка пиковая — неприятность, значит, будет от этого короля. Зато с мамкой — это с дамой червовой — легла рядом десятка пиковая — интерес нечаянный...

— Где уж там интерес нечаянный — в тюрьме-то, — вздохнула Лидка и сгребла карты.

Послонялась по дому — все не могла найти себе места, а потом отважилась, пошла в село к тюрьме, думала, что хоть издалека увидит в каком-нибудь зарешеченном окне мамку. Но окон было множество — в четыре этажа,— разве углядишь каждое? К тому же они, верно, высокие, потому что ни в одном никого не видать. Боясь подойти к воротам, Лидка долго сидела напротив тюрьмы в кустах акации, а потом опустила голову и, размазывая слезы, пошла искать Герасима.

Герасим, злой, ходил с молодой ветеринаршей по ферме, махал рукой. Лидка крадучись ходила следом, выжидала, когда он останется один, чтобы передать ему все, что велела мамка. И укараулила-таки Герасима, когда он пошел в правление. Лидка подбежала и, робея, потянула Герасима за пустой рукав.

— Дяденька Герасим, а дяденька Герасим, мамку арестовали.

— Слышал.

— Дак она велела... Она велела все наше хозяйство забрать... И меня...

— А больше она ничё не удумала, а? Вот дура баба! Да у меня что ж, своего горя мало? Своих ртов мало? Да она что?!— кричал Герасим, озираясь по сторонам — видит ли кто...— Эт-ты, дура баба — удумала что! И не подходи ко мне боле... Слышишь? Тоже мне — родню нашла...

— Дак я-та и вовсе не хочу... Я и одна... Это она велела...

— Мало ли что она велела... А я знать не знаю и знать не хочу... Я с ворами не знался и не буду...

Лидка ошарашенно посмотрела в лицо Герасиму, густо покраснела, шагнула от него в сторону, побежала, не оглядываясь, будто гналась за ней свора собак.

Сейчас она забежит за Фишкой и за Маней — уговорит их пойти на пустырь за элеватор, может, полевые опенки появились. Она б тогда сварила груздянку и отнесла б в котелке передачку мамке.

А за полдень вернулась мамка. Лидка кинулась к ней, обхватила ее ноги, зарылась головой в подол мамки и заголосила. Заголосила жутко, как никогда не голосила. На ее рев сбежались соседи.

— Ну что ты, доча, ну что ты, я ведь пришла...

Выпустили мамку. Оказалось — утром прибежала в милицию счетоводиха. Проспалась, отрезвела. В тот ве-

чер, когда мамка с Лидкой обмазывали ей стены, приехали к счетоводихе гости. Загуляли. Спьяну-то собрала она половики да и засунула их в баню. А утром хватилась — пол голый. Куда половики подевались, никто и не ведал. Помчалась в милицию — обворовали! Вот-де я на кого думаю — больше-де некому, все свои были.

— Йя б-буду слушаться... йя н-ноги ббуду мыть... Только не уходи бол-ле,— вопила Лидка, не отцепляясь от подола матери.

Лидка слегла. Несколько дней ее трепал жар.

Пока лежала Лидка, так каждый день, будто каждый день был вербным воскресеньем, появлялись белые настоящие лепешки. А однажды даже стряпала мамка блины. Она обсыпала их сухим творогом — казеином, свертывала треугольником и снова жарила — так вкусно было! А Лидка встала — заметила, что исчезла вторая подушка.

«Мамка-то мается, а я лежу,— укорила себя Лидка и полезла на чердак за связками листового табака-самосада.— Порублю да и продам,— решила она.— А то сижу и сижу — дармоедка. Сижу у мамки на шее, она ведь тоже не каменная — ломит с утра до ночи спину. И в колхозе, и дома, да еще подхватывает на стороне — кому побелить, кому что покрасить, кому дрова на зиму испилить, поколоть». Лидка сидит в избе, рубит табак и жалуется...

Маруське все еще сена не запасли — травы-то вот скоро все пожескнут, какой из них корм будет. Да еще и неизвестно, выделят ли им укос?

— Ох,— вздыхает Лидка,— да пропади ты пропадом, такая жись!— Лидка скашивает глаза на ковер.— Лежишь, цаца? Ишь, разлеглась в цветиках, разъелась на принцесских-то пряниках, а тут хоть под телегу ложись али головой в омут, совесть-то где у тебя, лупошарая, а? Я с кем говорю-то, а? Куда зенки-то отводишь! Нет чтобы встать из этих цветиков да и пособить что-нибудь по хозяйству али вот табак посечь... Так как бы не так — лежишь себе ухмыляешься... Ну, погоди у меня, погоди...

Лидка сидит на табуретке, обдирает от стеблей табака листья и стопкой откладывает в одну сторону стебли, а листья — в другую. Рубить листья отдельно легче.

День у Лидки длинный. Она рубит и рубит сечкой табак в корытце, чихает. Нос покраснел. Ну и подумаешь... Ей хочется сбегать к Фишке или к Вовке,— Колька с Ма-

ней уже несколько дней в пионерском лагере — счастливчики. Когда они еще приедут и обо всем расскажут! Ей хочется побегать в дебрях травы или на пустыре, где уж теперь-то наверняка выросли опенки, пошататься около маслозавода. А вдруг да что-нибудь отвалится?

На пожарной каланче затрезвонил колокол. По улице бежит народ, вопит. Уж не война ли кончилась? И тут вбегает Вовка, заполшно кричит:

— Пожар! Айда! Пожар!

— Где?— на бегу спрашивает Лидка.

— В Белозерке!

Лидкина изба стоит между деревней Бочанцево и селом Белозерка на полукилометровом промежутке, который год от году сужается и сужается. А за Белозеркой еще промежуток — и деревня Корюкино. В Лидкином промежутке своя речушка Курейка. Речушка успевает на этом клочке земли выйти из Тобола, изогнуться коромыслом и снова войти в Тобол. Так что и деревня Бочанцево, село Белозерка и деревня Корюкино стоят рядом на Тоболе. А пожарка стоит наискосок от Лидкиной избы. Когда веснами в половодье выходит из берегов Тобол и все вокруг затопляет, то Лидкина изба да еще две-три соседних и пожарка стоят насухо, и к ним стекается все колхозное добро: племенной скот, мешки с кормом, молодняк, техника. Кто-то и поживается добром колхозным, да только не Лидка с мамкой. У Лидки-то с мамкой и последнюю картошку подчистую съедят — народищу-то бедствующего везде хватает. А теперь так и вовсе — тьма-тьмущая...

Обежали пожарку, пробежали мимо тюрьмы, и вот оно — полыхает огромное зарево! Дом был трехэтажный, из толстенных бревен. Народ мечется с пустыми ведрами, пожарные суетятся, бьют огонь слабыми струйками из шлангов от бочек. Где там! Огневая закруть гудит, ревет, бушует — кто с ней управится!

Лидка путается под ногами у взрослых и тоже что-то кричит, бегает, машет руками, хватает какие-то мокрые головешки и обгорелые, исписанные цифрами листки бумаги. Все это волокет, прячет в кусты акации. А зачем, и сама не знает, но авось да и пригодится.

А пламя все сильнее, сильнее. И вот уже сплошной бело-синий факел. Милиционер усердно отгоняет глазеющий народ. Да и пожарные сбавили усердие, отступили от огненного буйства, смирились. Лишь какая-то баба все голосила, рвалась в пекло. Говорили, что в этом доме у нее

работала хроменькая дочь. Жива ли? Вовка где-то потерялся в суматохе. Лидка маялась, а еще больше, до рези в животе, испугалась. А вдруг весь этот огромный стог огня возьмет да и упадет, рухнет на них на всех? Мамке опять горе, убиваться будет, ругать Лидку за то, что поперлась к пожарищу.

И вдруг Лидка зажмурилась. Ей привиделось, что это горит не дом заготпушнины, а дом счетоводихи. Она раскрыла глаза и попятилась, попятилась от пожарища, будто кто-то тянулся к ней из огня черными обгорелыми ручищами, будто кто-то хотел ее схватить...

Ей стало страшно.

Не-ет, поджигать она никогда и никого не будет. Жалко... И... страшно.

Лидка испугалась и рванула в сторону дома.

Потом, успокоившись, она идет домой дорубливать табак. После она его просеет, просушит в печи. Ссыплет в мешочек и отправится к чайной на площади в Белозерке. Немного припрячет. Для фронта. А вырученные деньги принесет мамке. Белозерка у них — райцентр, там клуб, раймаг, почта и огромная, красного кирпича, церковь со сбитыми куполами. Говорят, когда-то ее и ломали и взрывали — хотели добыть кирпич на коровник. А церковь ни в какую не отдала ни единого камушка... Только кресты и купола оказались слабыми — порушились, а так церковь стоит себе и стоит... Теперь там сберкасса и сельсовет...

Идет Лидка и разглядывает дорогу. А что? И на дорогах клады валяются. Но сегодня ей ни стеклышка, ни камушка — ничегошеньки не попалось. Значит, надо торопиться, сидеть и дорубливать табак, чтобы успеть обернуться до мамки и продать его. Возле чайной, наверное, будет тьма народу. Событие такое — обговорить же надо.

Наконец Лидка идет с тугим мешочком табака к чайной мимо пожарки, огородов и кузницы, где когда-то работал ее отец. Иногда она заходит в эту кузницу и долго смотрит сквозь гул и грохот на огонь в горне. Вспоминает тятьку, самого сильного, самого высокого в деревне. Когда-то он приносил ее, трехлетнюю Лидку, в кузницу, расстилал на верстаке фуфайку, из ящика с инструментом доставал кулек с пряниками, совал ей, а сам надевал прожженный фартук и принимался работать. Но лица его Лидка не помнила. Зато хорошо помнила тятькины заскорузлые, мозолистые ладони, почти с крышку табуретки, на которых было так сладко сидеть. На чьем-то плече, под

тихую, будто вспугнутую, музыку она проводила тятьку в заоблачную высь, как сказала тетка Палаша, и навсегда почему-то забыла его лицо. А так, подрастая, все чаще и чаще вспоминала его голос, большие ласковые руки и вот эту кузницу. Мамка говорила, что он умер от крупозного воспаления легких. Но теперь-то Лидка уже знает, что он бы не заболел и не умер, если б его не столкнули в полынью на Тоболе. Чего бы ради ему самому-то лезть ночью в ледяную воду? Ясное дело — столкнули. Загулял с дружками до потемок, рассорился, а может, кого и стукнул, вот и решили его проучить. Проучили. И не стало тятьки.

Новый кузнец — усатый дядька с деревянной ногой, всякий раз, завидев Лидку, бросает работу, вынимает кисет, садится на порог кузницы и весело говорит ей:

— Ну, здравствуй, наследница! Чего эт-ты смурная? А ну, рассказывай, как живешь? Эк вымахала, иди ко мне в помощники мехи раздувать.

— Так я-та бы пошла, только я ведь у мамки разъединственная, кто ж ей-то помогать будет?

Лидка садилась рядом с кузнецом, тягостно вздыхала, чувствуя спиной жар от горна.

10

Медленно, чуть мешкая, идут ребятишки задами огородов, заболоченными солонцами к всхолмку, где элеватор и пустырь.

Печет солнце. Все цветет, дышит. Перелетывая с кочки на кочку, стонут чибисы, пищат длинноногие, шустрые кулички, кружат речные чайки. Высоко-высоко стоит в небе коршун. А где-то далеко за пустырем на болотах плачут журавлята.

Лидка собирает незабудки. Фишка высматривает в высокой траве бледно-сиреневые нежные цветки цикория и выдирает их с корнем. Цветки на букет, а корни можно высушить, размолоть — будет вроде кофе.

Вовка же ищет в зарослях колючего пустырника золотисто-зеленых жучков. Жучки эти живут на листьях пустырника, и Вовка обирает их, как ягоды, в картонную коробку. Вовка говорит, что мамка зачем-то просила насобирать этих самых шпанских мушек. Но Лидка-то знает, что такое шпанские мушки, и еще она знает, но молчит, что слыхала, будто этими мушками опаивают любимых

мужиков. И тогда эти мужики будто бы так и живут у порога опоивших их баб. Лидка тоже как-то собирала этих мушек — просила тетя Рая, заведующая овощехранилищем. Только что-то вроде никто до сих пор не валяется у ее порога. Только Лидка Вовке ничего не говорит. Пусть собирает, думает она. А жучки эти и впрямь красивые. Они небольшие, всего с божью коровку, то зеленые, то темно-синие с золотым отливом — шибко блестят. Вовка потерялся в траве — не видать. Но вот он вылетает из болотной ямы — довольнехонек.

— А я лягуху надул, во!

— Отпусти! — сморщилась Фишка. — Фу, какой ты!..

Под напором девчонок Вовка краснеет.

— Мы все под небом живем, — поясняет Лидка, — на земле... И это тоже божья тварь, хотя бога нет. Но это так говорится. Отпусти! — приказывает она сердито. — А то мы с тобой играть не будем... Правда, Фиша?

Вовка неохотно подчиняется. Отпускает лягушку.

Идет дальше. На Лидке сегодня новое сатиновое платье. Платье какое-то бурое, с темными размывистыми пятнами — красивое: юбка в сборку, а рукава фонариком на резинке. Мамка так и не сказала, из чего сшила, только Лидка точно знает, что она что-то красила ночью в ведре. Похоже, что-то красное. И еще одно платье пошила мамка. Это-то она знает — из холщового мешка. Мешок, что подарила ей тетка Палаша, она долго отстирывала, отпаривала, потом тоже выкрасила. Это платье зеленое, жесткое и прямое — рубахой. Теперь у Лидки три платья: одно старое и два новых. А майку и трусы мамка не дает носить — хранит к школе.

У Вовки на штанах дыры. Зашить бы ему надо, что ли? Мать-то у него доярит все лето. Живет на кордоне с коровами. А Вовка все один и один — правит хозяйством, иногда зарабатывает трудодни в колхозе, возит к матери на быках подкормку коровам или соль-лизунец.

А Фишка всегда аккуратная, платья у нее все выше колен — «интефлигентные». Зато Лидке мамка шьет длиннющие, чуть не до пят — это, значит, на вырост. Но Лидка все равно делает по-своему — подол подрезает, подшивает, а обрезки с подола идут на куклы. Мамка даже и не замечает. Да и когда ей разглядывать? К ним заявился Герасим, так мамка — вот молодец! — не открыла. Порассказала она тогда мамке, что не желает он с ворами знаться.

Плакали теперь зимой дрова. Ну да ничего! Зато без Герасима они остались с мамкой. Вот возьмет Лидка и сама насобирает целый ворох сухих коровьих лепешек. Тепла от них, правда, с гулькин нос, но тлеть-шаять будут. Можно еще зимой с санками бегать в березовый колок. Ничего, перезимуем и без Герасима, утешает себя Лидка. Да и Палаша говорит, что он кот масленый, повадился натирать лысину на чужих подушках. Совесть-то в глазах начисто вытаяла. У-у, анчихрист, козьи рога! Нет уж, Лидка-то замуж никогда не выйдет, не дождутся!

На пустыре она совсем нечаянно натолкнулась на одинокий опенок в сочной пырейчатой траве и обрадовалась.

— Гли-ко — диво-то какое привалило, батюшки-и! Эй, Вовка, Фишка, ищите опенков!— Сдернула с головы платок-тряпицу, букет незабудок бросила на голую полянку с изморозью соли по краям и принялась бегать по полю — собирать грибы.— Корни тоже, с корнями рвите! От них тоже навар,— наставляет она ребят.

У Фишки с собой был мешочек, а у Вовки не было ничего.

— А я во что?— взмолился Вовка.

— Сними штаны и завяжи веревочкой,— посоветовала Лидка.

— Я тогда лучше рубаху сниму.

— Ну, тогда рубаху,— согласилась Лидка.

А солнце печет и печет. Дрожит, зыбится белое марево над ровным болотистым простором. Сквозь марево далеко сереет деревня с белой церковью. Ближе, от кордона, движется игрушечная подвода, за ней тянется длинный хвост пыли. Поют жаворонки. Безветрие. Оглушительно цвиркают кузнечики. Где-то тут, под ногами, заполошно кричат перепела: «Подь... Подь полоть, подь полоть...» Видать, отманивает, бедная, от своих цыпушек.

— Не кричи, глупая, мы их не тронем,— обещает Лидка.

— Пи-ить хочу-у,— канючит Фишка. И вдруг зажимает рукой нос. Сквозь пальцы сочится кровь.

— Бывает,— говорит Лидка, бросив свой узел с опятами.— Вот иди сюда, полежи на травке... Смотри в небушко и улыбайся солнышку — это поможет, пройдет... А пока ты лежишь, я пособираю тебе опенков, а потом пойдем во-он к той ляге — она чистая. Искупаемся там...

Лидка зовет Вовку и приказывает ему приглядывать за Фишкой.

Находит в кармане нового платья тряпочку, сует Фишке.

А солнце палит и палит. Фишка тускло-печально смотрит на Лидку и Вовку своими большущими глазищами — такие Лидка видала только на иконах — и говорит:

— Маме моей не говорите. Она опять заволнуется и сляжет. У нее сердце... Она сразу заболела — после папы...

— Ты не кисни,— говорит Лидка.— Вот полежишь, и все пройдет. Ты в небушко гляди — от него, если долго смотреть, сила прибавляется... Тогда мы и пойдем купаться... А то где здесь воды-то взять?..

— Я еще ничего сегодня не ела,— тихо говорит Фишка, и пузатая слезинка медленно ползет из уголка глаза по виску к ушам, потом капает в траву.

— Вовка!— сурово говорит Лидка.— Ты сегодня разведчик! Фишка — раненый боец. Ясно?

— Есть!— вскакивает Вовка и вытягивается, как настоящий боец.

— Беги в нашу избу! Там не заперто. Возьми котелок, зачерпни воды, соль в стакане на полке. В огороде выдерни луковку... Да спички не забудь!.. Серные, в печурке... Арш!

Вовка подхватывается и сломя голову, прижав локти к ребрам, летит выполнять приказ.

— Да ложку, ложку не забудь!

Вовка машет рукой...

Фишка лежит и терпеливо смотрит в знойное небо. А Лидка сидит рядом скукожившись — горюнится. Это разве грибы, думает она. Это так, на худой конец. Вот были они прошлым летом с мамкой в бору, что далеко синеет за Тоболом — из окошек видать,— так там грибы так грибы: и грузди, и рыжики, и боровики, а уж синявок — видимо-невидимо. Напластали они тогда грибов навалом — целую кучу. Еле мамка доволокла две корзины на коромысле. Лидка тоже несла на коромысле два ведерка — тоже дай бог сколько! Хотя, конечно, своя ноша нетяжела. Хорошо еще, подвез их тогда дедка молоковоз, а то бы они с мамкой ноги протянули посередь дороги. Дома разобрали — грузди отдельно, рыжики отдельно, боровики отдельно тоже. Боровики надо сушить, а остальные вымыли в корыте и тут же засолили в кадушке. Два дня неохота было Лидке выходить из дома. Да и потом еще несколько дней она только и делала, что всем рассказывала — какие дива в том глухоманном бору видела. И

про убитую змею на тропе, и про ежика, и про белку...

Эх, сходить бы им этим летом хоть разочек в тот бор! Она бы и Фишку и Вовку взяла с собой. Только мамке все некогда, а одну она разве отпустит?

Уж травы подвяли, а солнце печет и печет. Заумолкла, спряталась от жары перепелка. Улетел куда-то и коршун, и появился запыхавшийся Вовка.

Вовка умный, Вовка ничего не забыл, даже прихватил большую тряпицу, которой мамка прикрывала голый сундук, только вот расплескал воду, торопился человек.

— Я спотыкнулся,— оправдывается Вовка.

— Разведчикам нельзя спотыкаться. А если враг?

— Да я нечаянно...

— Ладно, воду всю допьем, а на груздянку и в болоте воды полно... Вовка, ты — разведчик, иди вперед к берегу и разводи костер. А я поведу раненую Фишку, ясно?

— Ясно!— с готовностью говорит Вовка, ковырнув в носу.

Доплелись по жаре до болота, где Вовка уже развел огонек из сухих камышин и наносных щепок. Лидка сняла новое платье — расстелила на траве. Взяла котелок и пошла подальше в болото, там вода чище.

Она вернулась вся в тине и ряске, повесила котелок и начала кидать в него из своего узла опенки.

— Съедим и еще сварим,— утешала Лидка голодную Фишку.— Искупаемся и снова пойдем, а то без нас все опенки выпластают... Их ведь еще и сушить можно. Можно на зиму запасти. Солнышко-то вон какое жаркое — за день поспеют... Только на маленькие не смотрите и руками не трогайте — они от глазу людского расти перестают.

— Тогда пойдем,— соглашается вроде бы малость ожившая Фишка.

— Вовка, давай твой ножик и лезь в болото за камышами. Раненую Фишку надо кормить. Ясно?

— Ага,— кивает Вовка.— Заодно искупаюсь, ладно?

— Ладно,— разрешает Лидка.

В середине камышей, сразу как Вовка бухнулся в воду, закрякали утки и всполошились, поднялись чайки, залетали над ним. Лидка отняла у Фишки тряпку, которой та все еще зажимала нос.

— Ну вот, и крови больше нет. А голова как, болит ли? Давай я тряпку простираю и мокрую тебе на лоб прилеплю... А может, искупаешься?

— Я боюсь, там букашки,— говорит Фишка.
— Так они же не кусаются.
— Все равно. Если б в речке...
— Ну смотри, давай тряпку... Фиш, в котелке помешай, а осядут, добавь еще опенков-то, чтоб побольше было. Я вылезу — дикого чеснока поищу — с ним вкуснее, чем с луком...

Когда поспела груздянка, ее охладили в воде у берега, поставили котелок в кочках на камыши, чтоб не утонул. Принялись за еду. Вовка приволок алюминиевую чашку и кружку. Хлебали одной ложкой по кругу, закусывая мучнистыми корнями камышей.

— Ну вот,— вздохнула Лидка,— скоро можно будет подкапывать картошку — вот заживем! Ты уж, Фиша, потерпи немного, ладно?

— Ладно,— кивнула Фишка,— подожду... Уж постараюсь не помереть.

Опьянев от еды, молча вытянулись на траве. Лидка легла голая, головой на платье, Фишка тоже сняла платье и осталась в трусиках. Вовка как разведчик, в штанах с дырьями на заду, вдруг какая тревога. Разведчику не положено раздеваться. Пусть сегодня Вовка заместо часового будет.

Потом они набили опятами мешок Фишки, рубаху Вовки, а Лидка набрала целых два узла — в платок и в тряпицу. Еле дотащились до Лидкиной избы.

— Вечером идем в разведку!— объявила Лидка.— Ты, Вовка, опенки развали на противни или на крышу — высохнут. А ты, Фишка, скажи мамке своей, что их можно сушить и квасить. Ну, до вечера!.,

11

Сумрачным вечером Лидка ведет свою команду не в разведку, а на вечерки, где поют проголосные песни, пляшут, выбивают из земли пыль одинокие девки. Там тоже интересно — можно и в кино не ходить. Но сейчас-то Лидке не до вечерок, не до кино. Она просто ждет, когда совсем стемнеет; тогда и в проулках не будет прохожих, чтоб незаметно прошмыгнуть к дому счетоводихи.

Так и есть — девки приволокли гармониста, откуда-то появился моряк, облепленный ребятишками. Посиделки оживились, а Лидка кивнула Вовке и Фишке, мол, пора...

Обошли проулками дом счетоводихи и стали подкрадываться к огороду, минуя освещенные места, юркнули в целый лес крапивы и лебеды между баней и огородами. Пролезли под жерди ограды и перебежали, припадая к земле, ринулись к огуречным грядам. Залегли в борозды. Лидка поползла и наткнулась на что-то большое, круглое. Вскоре поняла — тыквина.

Лидка крутит, старается перегрызть толстый тыквенный стебель. Стебель не поддается. Крепкие волокна застревают в межзубьях, не перекусываются. Наконец она изловчилась и оторвала тыквину. Она велит Вовке катить ее из огорода подальше в траву.

Вовка завозился, закряхтел, но, видать, скоро справился, потому что не успела Лидка нащупать на грядке первый огурец, как Вовка уже снова сопел за спиной.

Огурцы выдрали все. Быстро. Насовали Вовке за пазуху, а себе в подолы. Лидка знала, что бежать с огурцами будет тяжело.

В лебеде присели, отдышались.

— Всех нам не дотащить, надо где-то тут припрятать, зарыть в землю,— сказала Лидка.— После прихватим, спрячем у Вовки в сарайке...

— А тыквину?— вспомнил Вовка.

— Тыквина нас будет ждать. Пошли.

Благополучно выгрузив огурцы в сарайку Вовки, Лидка попросила его поискать в избе ну хоть маленький какой огарочек свечки.

Вовка содрал запыленную свечку с бабкиной иконы. Бабка все равно давным-давно умерла, и икона висела просто так, как памятник бабке — кому было без нее молиться?

Возвращались обратно по деревне. Грызли огурцы. В одном доме, большом, на каменном высоком фундаменте, все окна были раскрыты. Там сидели за столом и пели, плясали, кто-то курил на лавочке у палисадника.

— Это у Витьки Хлыстова пируют,— остановился Вовка.

— Ага,— сказала Лидка и подкралась к открытому окну, заглянула.— Вовк, а там сидит та тетка, которая нас не записала в пионерский лагерь... Нас не записала, а Витьку записала...

Лидка отошла от окошек. Подождала. Те, что курили на лавочке, вернулись в дом продолжать пьянствовать.

— Вовк, у тебя есть еще огурцы?— спросила Лидка.

— Есть,— прошептал Вовка, вынимая из-за пазухи три огурца.

— Фишк, ты беги во-он туда,— показала вперед, в темный проулок.— Мы тебя догоним...

— Ладно.— Фишка ничего не поняла, но побежала — послушалась.

— Ты кинь в то, а я в это.— Лидка взяла у Вовки один огурец, думая о том, чтоб успеть кинуть и второй.

Отбежали и спрятались в крапиве.

В доме за столом поднялся визг, переполох — кто-то выскочил за ограду.

— Вот теперь пойдем,— сказала Лидка. Поднялась из крапивы и спокойно пошла вдоль улицы.

— Я крапивой обжегся,— хмуро сказал Вовка.

— Эй!— догнал их какой-то дядька.— Вы кого-нибудь здесь видели?

— Видели,— сказала Лидка.— Какой-то парень побежал вон туда,— показала в обратную сторону.

— Ах ты гад!— выругался дядька и затрусил догонять.

— Больно обжегся-та?— спросила она у Вовки.

— Больно.

— А ты подуй или слюной потри...

Под столбом стояла Фишка. Они спокойно дошли до дома счетоводихи —в двух окнах горел свет. Сквозь тюлевую штору было видно, что кто-то сидит у окна.

Вошли в траву и еле-еле нашли тыквину. Вовка от усердия и волнения забыл, куда ее спрятал. Лидка срезала бок тыквины, выдрала руками всю мякоть. Провертела две дырки, а над ними воткнула два обломка палки — получились рога.

— Что это будет? — спросила Фишка.

— Черт!— ответила Лидка.

— Их же не бывает! И зачем он тебе?

— Увидишь.

— А я знаю,— сказал Вовка,— потому что мы — мстители!

— А что мне делать?— спросила Фишка.

— Найди длинную крепкую палку, да потолще.

— Я сам — она не найдет,— сказал Вовка.

— Посмотри у бани,— посоветовала Лидка, вырезая ножиком рот и что-то похожее на торчащие зубы.

— А она не сильно испугается?— допытывалась Фишка.

— Кто ее знает. Наверное, не сильнее мамки,— вздохнула Лидка.

— Ой, кто-то идет!— испугалась Фишка.

— Это Вовка метлу тащит... Ну, Вовка, ну, Вовка — в базарный день цены тебе нет!

Вовка приосанился, выпрямился во весь рост.

— Присядь, дурак, чё вылупился-то! Тоже мне — разведчик.

Вовка старательно присел.

— Я забыл!

— Забыл!— прикрикнула Лидка.— А если б пули вокруг свистели?

— Не-е, я еще не нажился... Как же мамка без меня...

— Ну, то-то... А ты думай, прежде чем совать куда попало свою башку... Она тебе одна дадена — и мамка и башка... Ну, ладно, давай черенок... Вот молодец-то! В самый раз!..

Лидка отвязала метлу, а острым концом черенка проткнула тыквину.

— Темно, а то бы я так разрисовала — всем бы чертям завидно стало. Вовка, разведай — горит у них огонь?..

Вовка нырнул в темноту. Луны не было. Звезд не было. Тучи клубились низко. Трава была холодной от росы.

— Темно,— доложил Вовка.

— Тогда пошли,— сказала Лидка и поднялась.— Я пойду одна. Если поймают, то меня одну. Вовка, дай мне свечку и спички. Заберите огурцы... Меня ждите на углу, вон там. Ясно?

— Есть, ясно!— отчеканил Вовка и потянул Фишку в сторону.

А Лидка, с трудом неся под мышкой тыквину, прокралась в палисадник, затем к окошкам дома и прислонила свое чудище башкой к окну. Зажгла в тыквине свечку и сильно забарабанила в стекло раз-другой, а потом побежала.

Вслед ей понеслись истошные вопли, крики, и совсем неожиданно бабахнул выстрел. Зазвенели стекла. В соседних домах вспыхнули огни. Захлопали двери.

Лидка, когда бабахнуло, на секунду присела на дороге, а вскочив, дала такого деру, что зашумело в голове. На бегу она крикнула Вовке:

— Бежите в степь!

Бежали долго, бестолково. Лишь бы в темноту — по-

дальше. Все еще слышались крики, но вроде за ними не гнались.

Они постояли, прислушиваясь и отпыхиваясь, пошли медленно.

Робко выглянула луна и осветила три их маленькие фигурки на ночной тихой пустоши. Все еще играла гармошка. Доносились песни и смех. Тарахтел движок электростанции. Перебрехивались собаки, да где-то в отдалении сонно взгогатывали гуси.

За полночь Лидка, чтоб не будить мамку, забралась на чердак. Только она улеглась, как мамка вышла.

— Лидк, а Лидк, ты пришла?

— Пришла.

— Где опять шастала?

— У Вовки была.

— Есть-то хочешь?

— Не-е, я огурцы ела.

— Это какие еще огурцы? Ох, Лидка, бить я тебя буду... Ты у меня только попробуй красть...

— Не, не огурцы — груздянку...

— Какую еще груздянку? Я тебе оставляла крапивницу.

— А я тебе оставила целый узел опенков... Не видала, что ли? Я у Вовки ела...

— А-а... Ты спишь?

— Не-е...

— Слезла бы — поговорить надо.

Лидке слезать совсем ни к чему — порвала платье. Надеялась зашить утром. А теперь вот как? Мамка пристала...

— Да говори, я ведь слышу и отсюдова.

Мамка, кряхтя, взобралась по лестнице, просунула голову в лаз.

— Слышь, вечор приходил сапожник из Корюкина: в отцы к тебе просится...

— Ну, а ты?

— Дак сказала, что подумаю...

— Вот и думай. Старый ведь он. Кривоногий — хуже б надо, да некуда... У всех отцы как отцы, а мне опять старого, да? Уж помоложе не можешь взять, что ли?

— Да я же сказала — подумаю. Чё кричишь-то?.. Сопля ты комариная, вот ты кто, тоже — учить принялась...

— А зачем тогда спрашиваешь?

— «Спрашиваешь, спрашиваешь...» Они что, отцы-то, на дорогах валяются? Али на грядках растут — выбирай какого хошь — так, что ли?

— Ну, не так...

— Тьфу ты господи! С тобой говорить, как в ступе воду толочь. Заладила: так — не так, бестолочь...

— Картошку-то когда полоть будем?— спросила Лидка.

— Видишь, поди, сама, что только и кручусь...

— Завтра да послезавтра приедут Колька с Маней — ладно уж, без тебя управимся. А укос-то нам дадут ли?

— Молчат пока.

— Чем Маруську-то кормить будем? Уж не сапожник ли твой накосит сена-то?

— Поди, накосил бы...

— Ага, жди... Держи карман шире. Я вон в угол у стайки Маруськиной начала кизяк собирать — дров-то теперь тоже не видать... А кизяк, хоть и кизяк, да свой.

— Ну, дров на картошку выменяем...

— Картошка-то у всех будет, а дрова на что и получше сменять можно.

— Ну, в колхоз сдадим картошки, или молока привезут.

— Тогда, может, не ждать, а тутока кой-где на задах покосить?

— Так когда ж я?

— А я схожу в кузницу к дяде Егору, попрошу сделать маленькую литовку...

— Ну и вовсе надорвешься. И так огород копала, воду таскала, а тебе еще надо силы копить — учиться.

— Копать-то мне мальчишки помогали. И ты копала...

— Чё там я копала... Шутка сказать — восемнадцать соток... А возить траву можно на тележке — Колька с Вовкой помогут. Погоди, может, на этой неделе что и решат.

— Ладно. Завтра я за опенками побегу — посушить на зиму надо...

— Говорят, этим летом рыжиков полно. Палаша сказывала — возами везут...

— Отпусти — мы сами сходим...

— Ну уж нет, и не заговаривай — одна не пойдешь. Кругом фулюганье шастает — всех еще вас укокошат... Спать, поди, хочешь?

— Хочу.

— Спи давай. Я тоже пойду...

И долго еще слышала Лидка сквозь скрип ставней то ли крик какой птицы, то ли вой ветра.

12

В воскресенье появились Колька и Маня. Гордые и обалдевшие от радости, они с ходу принялись одаривать друзей подарками. Колька привез им с Фишкой по берестяному туеску, а Вовке смешного человечка из корня березы — сам сделал. Маня подарила Вовке носовой платочек, обвязанный кружевами, а девчонкам по спичечному коробку с засушенными бабочками.

— Ты зачем же их мучила?— огорчилась Лидка.

— Я не мучила. Я притыкивала булавкой на стенку под кровать. Чтоб не украли,— обиделась Маня.

— А если бы нас с тобой вот так притыкнуть, а?

— Ой!

— Бить я тебя буду,— пообещала Лидка.— Ну, да ладно, спасибо тебе, Маня, что ты нас не забыла, правда, Фиша?

— Правда,— подтвердила Фишка.

— А бабочек мы отнесем в школу... А то прошлым летом Колька весь день за бабочкой бегал. Ну, рассказывайте, как вы там?

— Ой, а у нас был ежик!— оживилась Маня.

— Ха, ежик... Невидаль! У нас в подполе живет уж,— сказал Вовка.

— Покажи,— потребовал Колька.

— Так он редко вылазит.

— Все равно,— настаивал Колька.

— Ладно,— соглашается Вовка.— Мы ему молока в блюдечко нальем — он и вылезет.

— А еще мы разучивали песни и жгли костры. Очень было интересно! Правда, Кольк?— Колька кивнул.— А Колька влюбился. Вот!— добавила Маня.

— Дура!— покраснел Колька.— Сама ты влюбилась. Я только показывал, как надо строгать прутик...

— Знаем мы ваши прутики!— не сдавалась Маня.

— А ты только и пялилась на физкультурника. Что — съела?

— Дурак, я ж ему в дочери гожусь, а ты? Э-эх, ты-ы-ы... А еще — Колька!

3 Заказ 1149

Пока они топтались у Лидкиного палисадника и выясняли, кто в кого влюбился, не заметили, как налетела туча и припустил веселый, густой дождь. Он шел полосой. Дождины блестели на солнце. Чуть погромыхивал гром. Изредка ветвилась по небу слабая молния. А за Тоболом повисла большущая радуга.

— Дождик, дождик, пуще! Дам тебе я гущи!— задрав подол, кричала и прыгала по лужам Маня.

Дождик скоро кончился, но они все еще бегали по лужам. Вымокли. Взъерошились, как воробьи.

— Фиша, ты говорила, что солнце, луна, гром и ветер живут на небе, а где живет радуга?

— Радуга — это отражение света...

— Это какого еще света?— допытывалась Лидка.

— Не знаю. Я спрошу у мамы.

— Ладно, спроси — потом нам скажешь... А пошли все на речку?— предложила Лидка.

Все согласились и побежали к речке.

На берегу на плотиках бабы стирали одеяла, половики и тут же развешивали их на кусты ивняка. В травянистой заводи пурхались в грязи гуси и утки со своими выводками.

Разделись ребята под ивой. Колька забрался на дерево.

— Давай кто выше залезет?— предложил голый Колька.

— Давай,— согласилась Лидка.

Вскарабкались на ствол и уселись в развильях.

— Давай прыгать в воду!— явно подзадоривал Колька.

— Давай,— согласилась Лидка и поползла к краю сучка, свесившегося над водой. Ухватилась за пук тонких веток, раскачалась и прыгнула вниз.

— Ух ты!— ахнули на берегу.

Кто-то из баб завизжал.

— Чтоб тебя черт за ногу дернул!.. Напужала-то, лихоманка болотная!— кричала баба вынырнувшей Лидке.

— Это Симки Березиной девка,— сказала другая.

— Ну и что, что Симкина... Не девка, а чистый звереныш. Видано ли так в воду-то падать?.. И убиться недолго...

— Не убьется... Вот еще один сиганул.

— А этот еще чей?

— Файки Зюкиной...

— А-а...

— А давай еще выше,— воодушевился Колька.

— Давай,— согласилась Лидка.

— Все ребятишки как ребятишки, а эти вон что делают!— всплеснула руками еще какая-то баба.

— Хватит!— сказала Лидка, вылезая из воды.

Все собрались, отбежали из-под тени ивы и пали на горячий песок.

— А поплыли за Курейку — там смородина,— предложила Лидка.

— Так она зеленая,— протянула Фишка.

— Ну и что?

— Ладно, поплыли.

— Я же не доплыву,— призналась Маня.

— Сиди тут. Мы тебе целую ветку смородины приплавим,— пообещал Колька.

Колька поплыл рядом с Лидкой, а Вовка с Фишкой. Только лучше всех плавала Фишка, и Вовка еле-еле догонял ее.

Когда солнце скатилось за каланчу пожарки, оделись и пошли по домам.

— Коль, пойдешь завтра за опенками?— спросила Лидка.

— Мне тетка завтра велела уборную белить в школе.

— Мы тебе поможем.

— Тогда пойдем.

— А мне мамка наказала, чтоб я пришел на кордон и принес им зеленого луку.

— Так тут всего три версты! Хочешь, мы тебя проводим и подождем на пустыре?— спросила Лидка.

— Тогда ладно...

У овощехранилища толпился народ.

— Чё такое?— подбежала Лидка и сунулась сквозь толпу.

— Не лезь! — прикрикнули на Лидку.— Там Райка повесилась...

Перед дверью билась, драла волосы и голосила председательша — корявая и тощая, как столб, баба. Она выла, и ее никто не останавливал.

Двери ломать не пришлось. Председатель вышел сам. Высокий плотный мужик в зеленом военном кителе, в хромовых сапогах. У него были жидкие серые волосы, зачесанные назад, и сухие, безразличные глаза. Он молча обошел жену. И перед ним расступились. Он так же мол-

ча, с поднятой головой прошел сквозь толпу и так же молча, чуть покачиваясь, подался за огороды, в степь. За ним никто не пошел. Только встрепанная жена сунулась было за ним, да Лидкина мамка преградила ей дорогу:

— Оставь! Дай хоть ты ему раз в жизни побыть одному. Да и сама шла бы домой...

Больше ей никто ничего не сказал. Да и после бабы на улице шарахались от нее, как от чумы. Не здоровались. Председатель, говорили, стал после проситься снова на фронт.

13

Кузнец Егор сделал Лидке маленькую литовку. И пока она ходила продавать табак, он сам направил и наточил литовку.

Несла эту литовку по деревне Лидка с гордостью, даже стеклышки на дороге замечать не желала.

— Дай подержать!— канючили и бежали следом мальчишки.

— Дядя Егор сказал, что ее нельзя давать в чужие руки. Потому что руки у всех разные. Вот он мне сделает деревянные грабли — те дам.

— Омманешь?

— Нет, не обману.

— Омманешь. Скажи честное-пречестное слово.

— Честное-пречестное.

— Тогда иди.

Мальчишки отстали, Лидке бы и не жалко дать подержать литовку, да ведь они — неумехи — поломают.

Лидка вошла в ограду. Постояла, подумала — выкосить ли траву вдоль прясла? Решила не косить. Поберегла литовку. А вдруг да какая железка или проволока попадет? Долго ли затупить. Тут-то в ограде можно и серпом срезать.

Лидка направилась за свой огород в поисках сочной травы. Она выискивала зеленые островки пырея в солончаках, скашивала и перетаскивала через прясло своего огорода на каменистый клочок целины, чтоб надежнее, ближе к дому, чтоб скотина какая не слизнула.

Она надеялась, мечтала сработать свой стожок сена для Маруськи и ее теленочка. Устав от непосильного

усердия, Лидка прислонила литовку к пряслу и, забравшись на выбеленную солнцем и ветрами жердину, уселась, свесила ноги.

— Эх, искупаться бы!— вздохнула она.

На пол прясла прилетела желтая синица, подергала хвостом. За ней прилетела растрепанная сорока, раскрыв клюв, попрыгала по жердине.

— Кыш!— сказала им Лидка.— Нечего прыгать, червей вон склевывайте, дармоежорки!

К Лидкиному огороду вышли из репейников ребятишки Поли-почтальонки — маленькая Улька в майке до пят, на тонкой шее нитка бус из собачьих ягод, и Никишка, старший — пятилетний бутуз в штанишках с лямочками крест-накрест. За ними ковылял куцый желтый щенок с обвислыми ушами. Брат и сестра собирали цветы и собачьи ягоды.

— Косишь?— хмуро спросил Никишка.

— Кошу,— миролюбиво сказала Лидка.

— А я скоро вырасту,— таинственно сообщил Никишка и поскреб свое пузо.

Улька диковато смотрела из-под грязных выгоревших волосенок своими синими глазищами. Она стояла возле брата, поджав ногу, и держала в носу палец.

— Ну и вырастай,— сказала Лидка.— Мне-то что?

— Вот вырасту и тоже стану косить.

— Ну и коси — мне-то что?

— Дай коснуть,— обнаглел Никишка.

— Не мешай мне работать,— отрезала Лидка.— Иди давай отсюдова... Траву только топчешь...

— Сама иди, жадина,— обиделся Никишка.

— Вон Колька бежит — он те счас ох и задаст!

— А-а,— завопил Никишка, хватая сестру за руку.

— Кутька-а,— захныкала Улька.

Никишка схватил Кутька и пустился наутек.

А Колька вовсе не бежал. Колька белил уборную с теткой. Лидка и Маня пришли помогать Кольке, но тетка их прогнала. Так что сейчас Лидке просто не хотелось вести разговоры с глупым Никишкой. Мал он еще — пусть подрастет.

Из вересковой ямы со связкой полынных веников выбрался дед Спиря. Про Спирю говорили, что он укушенный. А по мнению Лидки, Спиря больше придурялся: на пасху он бегал в одних кальсонах по деревне, стращал народ оглоблей. А в ночь на Ивана Купалу обмотался

белой тряпицей и уселся на конек крыши своей избы — пел песни. Пел хорошо, а работать он не хотел, зато любил быть на виду пьяненьким. Был он румян, крепок. Бабы ему подавали выпивку не за то, что он хорошо пел, не за то, что он умел плести белые тальниковые корзины, а за то, что молва людская прозвала его укушенным — как не пожалеешь. Только Лидке казалось, что он сам себя прозвал укушенным. Разве могут так укушенные придуряться и отлынивать от работы, а вот в чайной так постоянно сидеть часами, ждать, кто угостит, покормит, пожалеет. Насмотрелась Лидка на Спирю, пока продавала возле чайной табак. Ох насмотрелась. Уж он-то никогда не платил ей за табак — высыпал стакан в свой кисет и молча уходил...

— Ты что же это делаешь? Ты имеешь ли разрешение от сельсовета на изничтожение этой травы? Цветик мой, разве ты не знаешь, что это добро колхозное?— принялся радеть Спиря за чужое добро.— Я тебя счас сведу в сельсовет.

— Дык,— растерялась Лидка,— ведь тут никто никогда не косил. Кажное лето тутока трава задаром пропадает, а нам Маруську...

— Да я шучу, шучу... Дай-ка я тебе помогу.— Спиря опустил на землю связки веников и взял у Лидки литовку.

Спиря ходил босиком, в излатанных, ветхих штанах, в излатанной же сине-выцветшей сатиновой рубахе. В распахнутом вороте в курчавых волосах ютился маленький крестик, точь-в-точь какой нашел Колька. Спиря стригся редко, а потому был дремуч и страшен — нос перебит, а рот большой, толстогубый.

— Табаку мне завтра принеси к чайной стакашка два,— потребовал Спиря.

— Ладно,—обрадованно согласилась Лидка, потому что он как махнет литовкой, так целое беремя травы. Правда, тминных будылей много, но их можно и выбрать.

— Деда Спиря, а вы мне перенесете траву в огород, а? Я вам табаку-то побольше насыплю...

— Ну, это недолго... Все перенесу, цветик ты мой, это мне даже приятно... В траве-то да под солнушком всегда и всем, поди, было хорошо... Ну-ка, давай сама косни — а я посмотрю, как ты умеешь.— Посмотрел на Лидку и отобрал литовку.— Вот так, смотри — вот так... Держи ее над землей ровно, иди не спеша... Вот так, вот так,

молодец! Ладно, цветик, ты сбегай домой за табачком, а я пока покошу. Да грабли захвати — глядишь, мы с тобой с полвоза-то и накосим... Мать-то дома?

— Нету. На работе.

— А выпить нет ли?

— Не-е, мы не пьем.

— Ну, неси табаку.

— Табак есть,— сказала Лидка и побежала огородом домой, довольная неожиданной помощью.

Принесла Спире узелок табаку и обрадовалась: Спиря выкосил всю низинку, перетаскал траву, свалил за прясло в огород.

Спиря сел на землю, закурил. Помог потом растрясти траву, чтоб просохла, и ушел. А Лидка подняла на плечо литовку и тоже пошла — искать другие полянки. Но поблизости хорошей травы не было, и она принялась обкашивать вересковую яму.

Как из-под земли вырос перед ней Герасим.

— Косишь?

— Кошу.

— Мать-то дома?

— Нету.

— Вот дура баба, говорил же ей... Ты ей скажи, что я вечером загляну.

— Так ее теперь дома-то и не бывает...

— Это еще как — не бывает?

— Замуж собралась она за корюкинского сапожника.

— А ты откуда знаешь?— подался Герасим поближе к Лидке и посмотрел на нее пытливо.

— Свататься приходил. Два мешка щук приволакивал,— врала Лидка.

— Так он что, у вас живет?

— Да нет пока.

Герасим ненадолго задумался, покусал кончик бороды и выругался:

— Ну, Симка, ну, Симка, дождешься ты у меня... Вот ведь дура баба! — Взмахнул единственной рукой, как ветрянка крылом, и пошел по тропинке дальше, к элеватору.

— Так тебе, так тебе и надо, анчихрист бородатый,— ликовала Лидка. «Счас вот я еще чуть-чуть покошу и пойду домой. Мамка небось уж прибежала поесть? Вот я ей и расскажу про Герасима. Пусть порадуется. Пусть

порадуется, что Лидка у нее такая догадливая — сена вон запасла немного».

Устав, Лидка только хотела присесть, как ее кто-то спросил:

— Ты что тут делаешь?

Лидка оборотилась — Венька Рыжиков, ее одногодок, сын учительницы, стоит с марлевым сачком на плече — чистенький, аккуратный, в матроске.

— Я-та? Я кошу сено,— нашлась Лидка.

— Ты косишь не сено, а траву. Сено — это зимой, когда сухое.

— Ну да, и сейчас оно сено.

— Нет — трава.

— А что у тебя в коробках?— спросила Лидка.

— Это в школьный музей... Насекомые...

— Покажи...

— Ну да — раздавишь.

— Не-е... Зато я тебе отдам бабочек... Если только в школу.

— В школу,— подтвердил Венька.— Я тоже буду учителем.

— Ну и будь — мне-то что...

— На, смотри,— нехотя разрешил Венька.

В коробках, разгороженных картонками на клеточки, в вате лежали мушки, жучки.

— Я тебе сейчас бабочек принесу,— сказала Лидка.

— Давай. Ты беги, а я буду изучать животный мир.

— Разве бывает мир птичий, травяной, животный?

— Бывает.

— Тогда какой будет мир, когда закончится война?— спросила Лидка.

— Тогда будет мир во всем мире.

— Ну да.

— А вот и да! Неси бабочек,— потребовал Венька.

— Мою литовку покараулишь?

— Ладно.

Дома за столом сидела мамка и хлебала груздянку. Перед ней сидела скотница Ленка — полная круглолицая девка-брошенка, с жидкими желтыми кудерьками, выпущенными на виски от косичек, уложенных короной над прямой, но тоже жиденькой челкой.

— Лена, поешь,— предлагала мамка.
— Да нет, я не хочу есть,— отнекивалась Ленка.— Ты, Сима, лучше мне погадай, а?
— Да я ж тебе недавно гадала.
— Мамк, я за бабочками... Я там сено кошу.
— Коси.— сказала мамка, не удивившись.
— Сима, ну погадай, а?.. Долго ли...
— О чем опять?
— Буду ли я жить семейной жистью в этом месяце?
— Тьфу ты господи!— засмеялась мамка.— Да и к цыганке ходить не надо — сама ведь знаешь...
— Ну, Сим...
— Иди ты, Ленка, к чертям! Ой, ой, господи — уморила!..
Лидка нашла коробочки и выбежала.
— Лидк, а Лидк! Постой!— крикнула мамка.
— Ну, стою!— отозвалась Лидка.
— Поешь груздянки...
— Потом я. Мне некогда — я сено кошу...
— Вот,— подбежала Лидка к Веньке, внимательно разглядывающему что-то на земле через лупу.
— А, это ты...
— Дай разок глянуть, а?
— Спугнешь еще.
— Это кого?
— Я изучаю муравья...
— Да я тихонечко — только разик...
— Ну ладно уж — на. Только быстрее, а то мне надо отнести коробки домой и еще вернуться... А это кто засушивал?— спросил Венька, разглядывая бабочек.
— Маня.
— Скажи ей, что бабочки редкие. У меня таких нет.
— Ладно, скажу,— пообещала Лидка, разглядев в лупу усы муравья. И, не найдя для себя ничего интересного в этом муравье, подняла литовку и пошла косить.
Но косить ей пришлось недолго. По тропинке со стороны элеватора пришел парнишка-цыган и отобрал у Лидки литовку.
Сквозь слезы она стращала цыганенка, что пожалуется Кольке, кричала, звала мамку. А он бежал и бежал в степь. И она ревела и бежала следом, пока видела его красную рубаху. И потом, когда и рубаху уж не было видно, все равно бежала не зная куда. Так, как эту литовку, ей ничего жалко не было. И такого горя не было.

Она упала без сил на землю далеко за элеватором и долго еще выдирала со злости вокруг себя траву-конотопку и ревела.

А потом, всхлипывая и вздрагивая, долго возвращалась домой.

* * *

Осенью Лидка распорола ржавым гвоздем ногу. По первому льду, катаясь на Фишкиных коньках, провалилась под лед. Зимой в холода и бездорожье она угорела от «буржуйки», которую топили кизяком, и Лидку еле откатали в снегу. Той же зимой отвалялась она две недели на полатях с корью. Весной подхватила воспаление легких. После наводнения чуть не утонула — перевернулся на середине Тобола паром. А спаслась на мешке с диким луком.

Остервенело дралась с уличными мальчишками, потому что сама била и была крепко бита.

Соседи все чаще приходили к Лидкиной матери, кричали:

— ...Это опять, наверно, твой звереныш по огородам шарит? Гляди. Ох, когда-нибудь скараулим да и вилами ткнем али стрельнем. Ей-бо!..

— ...Это не твоя ли у нас окна высадила?..

— Сима, мельничиха собирается в суд подавать,— предостерегали сочувствующие.— Говорят, твоя Лидка им за Рыжего Вовку ворота дегтем вымазала и баню подожгла...

— ...Говорят, золотые часы у директора маслозавода из кабинета пропали...

— ...Говорят, какая-то шайка у бабки-травознайки избу обчистила — будто бы золото искали... Бабку паралич разбил. Не твоя ли?

— ...Говорят, на сберкассу нападение было. Сторожа укокошили... Твоя-то дома ли была ночесь?..

Говорят, говорят, говорят...

А Лидка всего только раз, перед концом войны, когда была закрыта на ремонт библиотека, украла стопку книг. Отковыряла в раме замазку, отогнула гвозди и зацапала все книжечки, что лежали на окне. Да и в тех после, перечитав дважды «Войну и мир», «Воскресение», «Мои

университеты», подклеила все странички да и подкинула их на крыльцо к приходу библиотекарши.

А перед самым концом войны мамка продала избу.

* * *

Видимо, я сидела в этом сквере очень долго и вид, наверное, у меня был не очень нормальный, если вдруг подошел молоденький милиционер и спросил:

— Может быть, вам нужна помощь?

— Спасибо!— сказала я.

— Извините!— смущенно сказал милиционер и вежливо козырнул.

Пришлось встать. Я шла по улице и удивленно думала о том, что прошло почти двадцать пять лет, что я ни разу не побывала там, в своем детстве, что ни разу не вспомнила, не поинтересовалась, как, что и где они, мои друзья: Колька, Маня, Вовка Рыжий и Фишка... Ни разу...

Что это? Боязнь ворошить старое или вдруг с годами появившаяся черствость? Кто знает.

Солнце уже садилось, а мне предстояло зайти к заслуженной учительнице и сказать, что передача, которую я готовила о ней, будет по телевидению в четверг, в двадцать один пятнадцать.

А потом позвоню домой. Маме. Я скажу ей, что скоро приду. Мы живем с ней вдвоем. Вечерами она сидит у телефона — ждет. Ждет, когда я позвоню и скажу, во сколько приду.

И я приду, поднимусь на третий этаж. Нажму кнопку звонка и, тая дыхание, прислушаюсь к шаркающим шагам. Ноги у мамы совсем распухли, и глаза почти ничего не видят. Я замру и скажу... Скажу в открытую дверь:

— Мамк, добрый вечер! Это я...

Такая длинная ночь

Километр первый

Это был первый километровый столб, у которого она остановилась. Слева, внизу, темной гривой тянулся лес, и там, под насыпью, за придорожными кустами и дуроломными травами, тоненько журчал родник. Справа серый, рыхлый туман затоплял глубокий распадок, окутывая лес сыростью, ластился к подножиям гор, взбирался все выше и выше. А впереди густилась темнота, в которую утекали смутно голубеющие рельсы, и был там тот, в палатке на маленьком островке, к кому она шла,— несла свое неразумное сердце.

Менялись запахи, менялся воздух, потому что за узкой гривой леса дышало озеро, дышала земля, дышал лес и дышали горы.

Нюра расстегнула куртку, вынула из рюкзака бутылку пива и, отпив, присела на шпалу. Она только что вышла из поезда на глухом разъезде, где никогда не бывала, но знала, что идти надо вослед поезду.

От этого столба еще восемь километров, а рюкзак тяжел — кроме пары теплого белья и всякой еды — пять килограммов гороха (это Олег просил привезти для приманки лещей) да три бутылки пива. Там, у палатки, под навесом из полиэтиленовой пленки, висят связки сухой рыбы, похожие на привядшие веники. Пиво с такой рыбой — прелесть. Так он считал.

Нюра поднялась и пошагала по шпалам, по хрустящему гравию, уже предощущая радость от встречи — он ведь ждет ее завтра с другой стороны озера у дома отдыха,— он приедет за ней на лодке. А она неожиданно явится сегодня, испугает, обрадует его и три дня будет ненасытно рыбачить, ловить на удочку. Она уже ловила крупных лещей и линей, а на спиннинг — щук. Будет варить уху, жарить белые грибы. Грибы можно собирать

каждый день на северной стороне островка, на прошлогодних гарях, в яркой, буйной зелени трав. Впрочем, грибы здесь растут и в густом, непролазном липняке на макушке острова, и прямо на полянке перед палаткой в крупноцветных ромашках и таволге.

А после она будет лежать в лодке на сене, бросив весла, загорать, смотреть в воду — на струящиеся ввысь стебли лилий, на эти удивительно нежные белые цветы с мимолетным, чуть уловимым запахом талого снега, на толкущуюся мелкую рыбешку и водоросли.

Что ночь, что темнота и тяжелый рюкзак, если впереди только радость! Эта радость была в ней как нежданный праздник.

Нюра никогда не пытала Олега, любит ли. С ней — значит, любит, в это она верила, а об остальном не думала: лишь иногда смотрела на него издали — высокого, большеголового, загорелого до черноты. В такие минуты Нюра пугалась своей нежности к нему: боялась за себя, боялась, что сделает какую-нибудь глупость. И она не говорила ему ничего о своих думах о нем, уверяла себя, что он и так понимает все,— зачем говорить о том, что понятно без слов.

А то, что Пегов, начальник цеха, ходит следом и молчит — ее раздражало, хотя понимала, что, может, чувство к ней — как раз единственное, не испытанное им никогда в жизни. Нюре жаль его, но ведь он лет на пятнадцать, поди, старше? Что же делать? «А ничего,— утешала она себя,— всех не полюбишь».

Впереди темную, плотную стену леса озарил свет костра. У костра невнятные, шевелящиеся тени. Нюра замерла, чувствуя, как ломит виски и холодеет спина, кинулась бежать.

Но, устыдившись страха, заставила себя остановиться, прислушалась и вспомнила, что где-то тут вдоль берега должен быть покос, и сразу успокоилась, стала представлять, как сидит кто-то у костра, смотрит на веселую огневую закруть, на блики, лижущие стволы сосен, и думает, коротает ночь...

Разломилась гулкая тишина. Резко, безутешно прокричала какая-то птица на болоте, и этот истошный, ломко затухающий крик долго перекатывался в горах. И снова все потухло, лишь остался безумолчный стрекот сверчков, живших, видимо, в щелястых смоляных шпалах.

Устав, Нюра сняла куртку. Встречный воздух холодил лицо, и это было приятно. А спина горела, и ныли ноги, в темноте она оступалась, чувствуя сквозь подошву скрипучие камушки.

«Я приду сейчас и скажу, как тосковала там, в городе, эти четыре дня и как не чаяла вырваться. А он рассмеется и сухо скажет: «Явилась. Что за родня?» И возьмет тяжелый рюкзак и удивится: «Ог-го! Сдурела»,— и протянет одно весло, чтобы опираться на него в зыбком проходе до лодки. Не стану я ничего говорить. Я просто подойду и притулюсь к его плечу, потрусь щекой и скажу: «Ну, здравствуй!» А он положит равнодушную руку мне на плечо и скажет: «Ну, ну, пошли!» Если он так скажет, я потом в палатке отвернусь, когда он сильно, уверенно потянет к себе. Господи, что я говорю? Я никогда не отвернусь от него, потому что ни с кем так покойно, радостно не было и не будет и никто так не позвонит мне и не скажет: «Бабуся, поехали-ка на рыбалку. Тогда-то и там-то встретимся. Возьми то-то и то-то».

Зачем-то всплыли те печальные стихи, которые он однажды читал, сидя на полешке у костра:

...Мне крикнуть хотелось вослед:
«Воротись, я сроднился с тобой!»
Но для женщины прошлого нет:
Разлюбила — и стал ей чужой.
Что ж! Камин затоплю, буду пить...
Хорошо бы собаку купить...—

и замолчал, и смотрел долго, пристально на огонь, выронив сигарету, а после, отвернувшись от костра, скользнул пустеющим взглядом мимо нее. И тогда Нюра поняла, что она не знает его, что у него было раньше, с кем жил, кого нежил. Она знала лишь, что у него где-то есть жена и ребенок, с которыми он давным-давно не живет. И даже это не пугало ее — она любила. А что такое любовь? Отчего не спит весенними ночами гордый, отчаянный мальчик, ходит и ходит под темными окнами? Отчего он вдруг вспоминает, что где-то далеко, за лесом, надсажаются соловьи и белым огнем полыхает черемуха? Отчего? Почему пожилой человек среди белого дня крадется к лестничному окну, следит за кем-то и смеется от радости? Отчего? Спросите у своего сердца, спросите у ошалелого муравья и стареющих сосен. Спросите у шального

бродяжного ветра и подбитого лебедя. Спросите у Нюры, она скажет...

Увидев новый километровый столб, Нюра приостановилась и надела куртку.

На Сайме

Это были их первые два дня и две ночи на озере. Около четырех часов добирались на попутных машинах и автобусах до курорта «Увильды». После шли пешком. Он нес большой рюкзак и палатку, она — маленький рюкзак и спиннинги...

День собирался угаснуть. В бледной голубизне выгоревшего неба высоко пролетали мелкие перистые облака, а над озером теплый, мечущийся ветер, вырываясь из-за гор, раскатывал лохматые волны и ворошил пену. Над островками, поверху леса, неспешно кружили чайки, на воде юрко бегали катера и моторки. Местами поляны на берегу были взрыты, вытоптаны, будто только что прошло стадо. По всему побережью пестрели палаточные городки, люди жгли костры.

За рыбацкой деревушкой Саймой с серыми обомшелыми домишками, вытянувшимися вдоль берега, решили пройти по гряде, перебрести на какой-нибудь островок, потому что дальше был высокий забор чьей-то дачи.

Солнце ушло за горы, но было еще светло.

Он перенес через узкую протоку вначале рюкзаки, а потом ее. Взобравшись по валунам на макушку островка, он выбрал ровное, защищенное от ветра место промеж сосен и принялся ставить палатку.

— Здесь мы будем одни,— сказал он с каким-то тайным смыслом.

— Рай,— оборотившись к нему, сказала Нюра.— Я буду здесь жить вечно,— добавила, чуть помолчав, и пошла на верхушку большого уютного камня.

— Давай-ка пособирай дровишек, а я управлюсь с палаткой и половлю раков.

— Кто это выдумал их, таких страшных?

— Человек, пиво не пьющий... Опростай мне кастрюлю.

— Есть, капитан,— засмеялась она и спрыгнула с камня.— Знаешь, здесь живут большие рыжие мураши. Муравьиный остров. Посмотри, сколько у них тропинок!

— Пусть живут. Вход в палатку надо будет облить репудином и сахар отнести подальше. За сахаром они полезут и в огонь. А так ничего.

Нюра вынула из рюкзака кастрюлю и сказала:

— Я пошла строить наш домашний очаг.

— Ну, ну...— сказал он.— Может, что и получится. Любишь меня, что ли?

Она увела глаза в сторону, робко кивнула.

Уже в сумеречной тишине в гранитных камнях, у воды, она развела из наносных щепок маленький костерик и поставила на огонь кастрюлю. Через несколько минут раки зашевелились, верхние стали выкидываться в огонь, и Нюра закричала, а потом, когда он, смеясь над ней, подцеплял прутиком самых строптивых и кидал обратно в кастрюлю, где они в горячей воде утихали и постепенно краснели,— есть их не стала. А он ловко обрывал хвосты, вынимал белые, нежные кусочки мяса и дурашливо урчал, хрумкая и высасывая сок из клешней и спинок.

Позднее она уже не боялась раков, но ловить сама не решалась: только ходила по берегу, высматривала в прозрачной воде на сером дне или в камнях серые чудища и звала его. Здесь, на этих островках и по берегу, раколовы ходили ночью с факелами, и тогда Нюра не выглядывала из палатки. И в криках и отсветах на темной воде было что-то древнее, дикое и жутковатое.

Дик и ярок был и широкий закат над горами. На фоне заката на большом камне долго стоял Олег, и о чем ему думалось в ту минуту, о чем жалелось, для Нюры было загадкой.

— Олег! — позвала она его. И когда он пришел к палатке на ее зов, она встала навстречу и спросила горестно: — Тебе сейчас было плохо?

— Нет. Я стоял и думал о работе. Если бы не успели закончить ремонт, Пегов бы нас не отпустил, и мы б не увидели ничего этого, и не оказались здесь... Случай, — он усмехнулся. — Случайно упало яблоко, случайно выронили бутерброд с маслом, случайно кто-то заметил, как плавно опускается на землю умерший лист, да и сколько всяких — случайно, случайно. И тебя я увидел случайно. К причалу подошла яхта, и вдруг вышагнула на берег полуголая капитанша.

У вас были гонки, и ты три круга приходила первой. Я сидел на причале, пил пиво и смотрел, как разбегались по озеру яхты, а потом тянулись цепочкой, и ты все

время приходила первой, и ребята на причале ругали тебя за то, что ты у них выиграла приз гонки, кажется, паруса...

— Да, новую парусину, — сказала Нюра и улыбнулась, вспомнив ту гонку.

А Олег, увидев ее отсутствующие глаза, вдруг помрачнел, понимая, что что-то в ней есть, чего он никогда не сможет понять и постичь. Он вспомнил, как сидел на причале, на низком деревянном креслице, снятом с катера, и перед ним стояло прикрытое газетой ведро с пивом. Тут же, рядом, лежала гитара и ворох небрежно раскиданной одежды, сумок, рюкзаков. Все друзья его купались, а тот, кто принес пиво, убежал к сторожу водной станции просить вяленой рыбы. На стене еще не покрашенного деревянного домика, с плоской крышей, сушилась рыба. За полдень крутой ветер, задувающий с севера, упал. Стало знойно и тихо, и в струившемся от зноя воздухе, изредка взлетая с воды, лениво и молча кружили чайки, да лишь слабая, зыбкая волна от прошедшего катера совсем слизнула с гальчатого берега желтую, тающую на знойном солнце пену и, обессилев, отползла под причал, качнув его. «А ничего девчонка!» — вяло подумал тогда Олег, провожая взглядом метнувшуюся вглубь стайку мальков. Когда-то он мечтал о такой вот девчонке, отчаянной, умной, красивой. И, запоздало встретив такую, увидел, что возле нее молодые и тоже красивые ребята. Вон сколько их! А у него вроде бы и кровь увяла, не было желания вот так толкаться на причале, бежать на лыжах за катером и, усмиряя внутренний холод, падать в воду с вышки. Тогда ему казалось, что все эти неразумные выходки они делают для нее, и посмеивался, и молча их презирал. Но потом, когда она снова пришла первой, а шесть или больше яхт где-то еще ловили капризный ветер, когда она, покачиваясь, ступила на шаткий причал и громко сказала:

— Мальчики, дайте испить водицы! — а воды ни на судейском плотике, ни на причале не оказалось, Олег зачерпнул кружкой из ведра пива, встал и поднес ей. А в это время ребята устроили свалку и стали чествовать команду Нюры. Девчата, безропотно улыбаясь, позволили взять себя за руки, за ноги, раскачать и бросить в озеро — ритуал. Нюра сняла темные очки и голубой козырек и, заинтересованно и благодарно взлянув на Олега, сказала:

— Спасибо! — взяла кружку и медленно выпила.

После, сняв оранжевый спасжилет и кеды, перешагнула на плотик и, отодвинув ногой ворох чьей-то одежды, легла навзничь.

Олег сидел в двух шагах и заставлял себя не глядеть на ее загорелое, гибкое тело, с двумя голубыми полосками купальника, на распущенные выгоревшие волосы и побелевшие от воды пальцы ног. Лежала она небрежно, зажмурив глаза.

— Я тогда, Нюра, заставил себя не влюбиться, — грустно рассмеялся Олег. — А, наверно, надо было... Но я уже был женат.

— Я тебя не помню, — искренне сказала Нюра.

— Где там было упомнить, — махнул он рукой.

— Нет, правда. Я после той гонки ездила в Пермь на первенство Урало-Сибирской зоны. Гонка продолжалась неделю. Я там заняла второе место и два раза переворачивалась — ветер был студеный и очень сильный. Жили мы там на Камском море в каютах на списанном пароходе. Весело жили. Меня приглашали остаться там...

— В качестве чьей-нибудь жены?

— Сразу и в качестве! Приглашали жить, ездить на соревнования, работать. Спортивные лидеры обещали: через шесть месяцев наверняка будет квартира и интересная работа.

— Напрасно отказалась. Могла бы и в институт поступить, и стать мастером спорта.

— Не хотелось уезжать отсюда.

— А что ты нашла здесь хорошего?

— Как это что хорошего? Природа, люди, завод...

— А при чем завод?

— Привыкла. На заводе я с четырнадцати лет... Да и мало ли что еще...

— Чушь! Можно любить все, только не завод. Природа, это еще куда ни шло, но завод...

— Перестань! — попросила она. — Ужинать нам придется в палатке — комары начинают звереть.

— Я, наверное, уйду из цеха, — сказал Олег, когда забрались в палатку и зажгли свечу. — Свеча-а горела на столе, свеча-а горела... — зачем-то проговорил он.

— Почему уйдешь?

— Видишь ли, — говорил он полулежа, — пройдет десять лет, двадцать лет, люди будут все те же, и марки

кирпичей будут те же, и мартеновские печи тоже будут те же...

— А ты чего хочешь? — Нюра отставила миску с салатом из свежих помидоров и повернулась к нему. — Сейчас ты помощник по оборудованию в цехе. Уважение. Оклад. Я бы не сказала, что очень уж скучная работа. От тебя ведь зависит многое: придумаешь какой-нибудь хитрый транспортер, мои женщины в ноги тебе поклонятся — половину работы они будут делать не вручную... Надо просто найти свое дело и делать его хорошо...

— Прежде всего мне хочется обрести друга. Купить машину. Построить у воды дом. И дожить до двухтысячного года, но это все из неосуществимого...

— Захотел стать рабом своего дома, своей машины?

— Я же сказал, что это все неосуществимо. А вот реальнее: хорошо бы уйти работать в новый цех. Сейчас строят конверторный. Оборудование новое, люди новые...

— А почему ты ушел из института?

— Очень просто. Была одна интересная исследовательская работа. Ее надо было проталкивать. И мне полагалось лизнуть, а я гавкнул.

— Ну, а сейчас разве тебя возьмут в новый цех на такую же должность, как здесь?

— Навряд ли. Разве что мастером или бригадиром... А пошел бы.

— Мне вот не уйти, — Нюра перестала резать ветчину, задумалась. — Нет. Не уйти. Привыкла к людям, к работе. Мне кажется, что если уйду — будут сниться печи, как снятся врачу больные. Что-то где-то вовремя не подлатали, что-то не смогли достать и — сгорит печь, а могла бы еще плавить сталь... А потом — ты пришел на все готовое, я же пришла в этот цех рассыльной — из-за стола чуть виднелась. Если бы не Пегов, я б, наверное, не знаю что сделала,— некуда было деваться... Да и не один Пегов. Я многим обязана...

— То-то я гляжу: все Пегов, Пегов...

— Перестань! Пегова я уважаю. Все его уважают...

— Ну, не скажи...

— Порежь хлеба, — Нюра подала ему нож и сказала: — Конечно, Лавочкин не уважает...

— Хватит, милая моя, хватит, — прервал Олег, — мы здесь не на очередной оперативке — отдыхай. Дыши озоном... Сейчас мы с тобой поужинаем и пойдем к воде. Или вон сядем верхом на камень... Где раки?

— Вот раки.
— Где рюкзак? Что-то у меня там было...
— Да вот же, у тебя под рукой!
— Это я опьянел от леса, от воды, от тебя... Я — счастлив. Ты даже представить себе не можешь, как я счастлив!
— Бывает, — усмехнулась Нюра.
— Странно, я говорю человеку, что я счастлив в эту минуту,— не верит. Все мы в неверии своем одиноки. Да-а... «И про отца родного своего мы, зная все, не знаем ничего...»
— Чьи? — спросила Нюра.
— Евтушенко... Да-а, раки — люкс и салат — люкс...
— Я польщена, Олег Николаевич. А Евтушенко я прочту.
— Умней, милая, потихоньку, умней, пока я живой...
— Стараюсь, — засмеялась Нюра.
— Ах, А-а-анхен, пойдем к воде. В такую ночь — грех спать... Надень куртку, кажется, ветерок.
Выбрались из палатки и поднялись на камни.
Олег повернулся к Нюре, взял ее за руку и повел вниз, к воде. На полпути он вдруг остановился и притянул ее к себе. Это была их первая ночь и первый поцелуй. Вспыхивали и опадали с неба цветы, косо кренились сосны, и куда-то медленно и неукротимо плыл островок.
В палатке он постелил сам и позвал ее. Она встала с камня и пошла к нему. Он помог ей раздеться и начал целовать, вначале робко, потом крепко, уверенно, и рука его металась по гибкому телу Нюры. Она ловко увертывалась, но губ не отнимала, и он стиснул ее.
— Ду-ура! — он отвернулся и закурил.
Нюра отстранилась и замерла, а после виновато приникла к его плечу и долго лежала так, трогая шершавыми, несмелыми губами его спину, а теплая ночь длилась, длилась. Тонко зудели комары, за палаткой бегали какие-то зверушки и робко шелестели травой, ветер шевелил ветки сосен, по островку растекался запах разморенной сосновой смолки, и было слышно, как шлепались волны о гранитные окатыши. И когда на исходе этой ночи он резко, почти грубо повернулся к ней, она покорно и беспомощно разняла руки. И все замерло.
— Так ты что же, всю жизнь одного ждала, меня? — спросил он после.

— Ждала, — прошептала она, пряча лицо у него под рукой. Лишь где-то подспудно, неосознанно гнездилась тревога: кто остановился на ее тропинке, куда поведет за собой и как с ним ей будет?

— Не знаю, как там будет у нас дальше, но сейчас мне с тобой хорошо, — сказал он днем и ласково приобнял, сдавив горячей рукой ее острое плечо.

Она подняла голову, пристально посмотрела в глаза ему, усмехнулась. «А дальше будет, — подумалось ей, — будет счастье».

Глаза его вспыхнули, осветились улыбкой, и он сел.

Она смеялась все громче и громче. Вскочила и кинулась к воде, чтобы охладить себя. Падая в воду, она увидела, как хищно метнулись от камней крупные окуни, как чайки лениво подняли головы и не взлетели. Зато в рябиннике забеспокоились голубые синицы, заперелетывали с ветки на ветку.

Он догнал ее.

Прошел катер, и их качнуло волной.

— До чего ж ты худа,— сказал он ей на берегу.

— Мне это не мешает. Да и кстати, сухое дерево ярче горит, — сказала она, жмурясь на солнышке и оглаживая себя от капель.

Он снисходительно хмыкнул.

Взобравшись по тропинке к палатке, она легла на горячий валун и обидчиво отвернулась к озеру, но тут же встала и, взяв спиннинг, пошла вниз, к воде.

— Не оставь блесну на кустах.

— Постараюсь, — тускло сказала она.

Нюра училась бросать блесну. Чаще всего блесна летела неуклюже вверх и мертвой хваткой впивалась в кусты. Иногда Нюра забывала про тормоз, и катушка раскручивалась, била по пальцам, леска путалась. Нюра садилась на камни, терпеливо распутывала леску и снова взмахивала спиннингом. Хоть и недалеко, но ей уже удавалось закинуть блесну, тогда видела, как рыскающе крутилась блесна, бежала в глубине рыбкой, блестела над причудливыми водорослями, а леска шла на катушку ровно, упруго. И Нюра радовалась. Но втайне завидовала Олегу, как ловко он это делал: бросал метко и далеко, а главное, знал, где живут щуки, где окуни, где лини.

Опять спутала леску. Сверху посыпались и защелкали о валуны мелкие камешки: он шел к ней. И как шел он,

и как смотрел на нее, Нюра поняла: что бы Олег ни сделал, что бы ни сказал, куда б ни позвал, она все сделает и пойдет за ним. Нюра выронила спиннинг и села.

— Брось! — сказал он. — Пойдем, я соскучился. И вообще, пока я живой, дальше десяти метров отходить от меня не будешь. Слышала? Вот так-то, — взял ее за руку и повел вверх к палатке.

— Что-то нежным я очень стал, — сказал он в палатке, успокаиваясь. — Бросишь ведь ты меня?

— Я тебя люблю, — сказала она. — Я не могу тебя разлюбить...

— Никому я не верю. Наплачешься со мной, а потом бросишь.

— Нет, — обреченно сказала она.

— Ладно. Сейчас я пойду в деревню искать лодку и поедем на вечернюю зорьку, а пока ты отдохни, — поднялся, стал надевать спортивный костюм. — Я, наверное, возьму отпуск и поселюсь где-нибудь здесь, стану рыбачить, греться на солнышке, думать о жизни, а ты будешь приезжать ко мне по выходным...

Вечером они варили тощую уху, пили крепкий чай. У берега стояла подозрительной прочности плоскодонка, взятая им напрокат в деревне. А после они погрузили в нее палатку, рюкзаки и поплыли в ночь.

Иногда за весла садилась Нюра, и лодка сразу же начинала рыскать, и он ей командовал:

— Правым! Ле́вым!

Так они плыли: то мимо темного берега, то мимо мелких каменистых островков, поросших пихтами, березами и соснами, исчахлыми на ветру, а то ехали узкими камышистыми протоками и мягко лоснящимися заводями. Когда забрезжил рассвет, они увидели смутные горы, укутанные низкими темными облаками, туманами. И стали плыть к подножию этих гор, и он сказал, чтобы она распустила спиннинг, потому что протоки кончились и на темной воде не было видно травы, лишь рябились мелкие волны.

— Совсем распустить?

— Ага, — сказал он, делая частые плавные гребки.

— А хорошо-то как! — сказала она, ежась от утренней сырости.

— То-то, — сказал он.

Спиннинг дернулся в ее руках, затрещал тормоз на катушке, она не поняла, что это, но вдруг почувствовала,

как упруго задергалась леска, пошла в сторону и сгорбила спиннинг, потом леска ослабла и снова наполнилась силой.

— Что это? Ой! — закричала Нюра.

Олег бросил весла, выхватил спиннинг и стал быстро сматывать и чуть слабить леску. Он встал. Щука, видимо, крупная, шла неохотно, бугрила воду, била хвостом, а он говорил:

— Уйдет! Господи, уйдет! Сошла... Нет, не сошла! О, черт! И багра нет и сачка нет... Уйдет!.. — Он осторожно подвел рыбину к борту, рванул и тотчас же, бросив спиннинг, склонился над ней, бьющейся, стал хватать ее скользко-увертливую. Пятнистая щучина с желтоватым брюхом вдруг обвяла в его руках, чуть дергаясь и жадно хватая широкой пастью воздух. Она еще долго вздрагивала, елозя брюхом по шершавому дну лодки, тускло блестя темной спиной, пружинисто свертываясь колесом, и зло била хвостом.

— Знатная уха будет! — сказал он, ополаскивая руки за бортом и кося глазами. — Килограмма четыре, больше.

Нюра взглядывала на щуку опасливо. Ей было жаль рыбу. И после, когда пристали к берегу, где еще шаяли угли чужого костра, Нюра отказалась чистить.

— Нет, нет. Я боюсь... Жила бы себе и жила, глупая, гуляла в подводных зарослях.

— Ну, ну,— сказал он.— Давай-ка ложись, поспи. Я тебя заверну в палатку.

— А ты?

— Я половлю окуньков. Уха с ними наваристее. И посмотрю берега этой курьи. Хорошая курья! Камыши, лес, горы — здесь и жить будем.

...Заря взошла светлая, тихая. Нюра спала на охапке ломкого сена, свернувшись клубочком, укрытая свернутой палаткой, у чужого старого кострища. Во сне она видела себя и Олега. Сама Нюра была в белом, воздушном, с венком белых лилий на голове, стояла в лодке, которая тихо-тихо плыла сама по себе, а навстречу ей тоже плыла и плыла такая же лодчонка, и в ней стоял Олег в черных брюках, белой рубашке с закатанными рукавами. У Олега на голове тоже был венок из лилий. Он звал Нюру, протягивал к ней загорелые руки, но лодки почему-то плыли и плыли и не приближались друг к другу. Нюра испугалась и стала кричать и тянуться к нему руками. И вдруг он шагнул к ней навстречу, шагнул в воду и по-

шел, медленно погружаясь в глубину и — скрылся. Нюра наклонилась над темной глубиной, приготовившись подать ему руку, но ничего не увидела, кроме своего отражения, и — проснулась...

Она приподняла голову и увидела поляну в ромашках.

— Хе-е, проснулась! — Это был незнакомый, радостный голос, и Нюра оборотилась на него.

Бог с добрым морщинистым лицом сидел на березовом полешке в белой исподней рубахе, сухонький, спокойный. У берега покоилась его обгудроненная, будто обгорелая, лодчонка.

— А я думаю себе и думаю, откуда бог послал такой сверток? Сижу и жду...

— Кто вы?

— А я, как травы встанут, живу здесь. Во-он мои владения — укос, — показал рукой за камышистый берег, на веселенькие предхолмья перед лесом и горами.

— Как вас зовут?

— Григорий. По батюшке — Ефимыч. Карабашенский я.

— Здравствуйте, Григорий Ефимыч! Это я — Нюра. Из Челябинска. Мы ехали и ехали. Целую ночь. Щуку поймали... Во-от такую! А здесь хорошо-то как! Ромашки!.. А вон едет Олег...

— Муж?

— Да-а, — неуверенно сказала Нюра и посмотрела в ту сторону, откуда плыло легкое постукивание оселка о косу.

Километр второй

Олег, я без конца думаю о тебе. Я боюсь, что однажды проснусь и не вспомню тот увядающий вечер, когда я, наплававшись, сидела на плотике, который ты сделал, чтоб можно было с него ловить рыбу. Я смотрела на эту поляну и думала, что ты ничего не знаешь обо мне: где я росла и как выжила. Ты видишь во мне лишь молодую женщину. У этой женщины зеленоглазое лицо без единой морщинки, лицо, на которое оборачиваются. Эта женщина умеет молчать или смеяться, когда вдруг охватит тоска и хочется лезть на стенку и выть. Эта женщина умеет таскать рюкзак, умеет охотиться и рыбачить, умеет хо-

рошо работать, и ее уважают и подчиняются ей люди чуть ли не втрое старше... Пожалуй, только это ты знаешь, и ничего больше. Да и я не знаю, о ком и о чем думаешь ты. Как тебе хочется жить, кого любить, кого нежить? Я, наверное, что-то сделала не так в ту нашу первую ночь на озере в палатке возле рыбацкой деревушки. Но у тебя были такие глаза и такое лицо, увидев которое надо отдавать все, все, что у тебя есть... и нет у меня ни сожаления, ни печали, что так все получилось. Только все чаще я ощущаю тяжесть на сердце и не сплю. Но это все потому, что я не знаю, что будет завтра, через год, через час или вот за этим поворотом, за этой скалой.

Когда-то давным-давно милый мальчик Леня Охапкин тоже не спал ночей, писал письма, большие и маленькие. А утром ждал возле барака и, когда я выходила на работу, совал мне эти письма и убегал. Иногда я ходила с ним в театр или в кино. Я не знала, как любил он. При встречах я лишь видела, как преданно лучились его глаза. Я думала — подружусь с ним, и он отвыкнет любить меня. А однажды мы шли пешком из театра (трамваи уже не ходили), и Леня робко поцеловал меня. Потом он закончил техникум и получил направление в Донбасс. Звал с собой и меня. Он уехал и долго еще писал письма вначале из Донбасса, после из Совгавани, где служил. А потом письма стали приходить реже. Видать, устал безответно любить, устал писать. А может быть, все было бы не так, если б он вернулся из Совгавани? Может быть. Все может быть... Но Леня не вернулся в Совгавань из Тихого океана. Иногда ко мне приходит его мама. Садится и, подперев рукой голову, долго смотрит на меня и, тихонько покачиваясь на стуле, неслышно вздыхает. Я тебе о нем не рассказывала. Я тебе вообще ничего не рассказывала. Да ты и не спрашивал...

Топ, топ, топ... В оглохшей тишине Нюра считала свои шаги. Топ, топ... Она то и дело оглядывалась, останавливалась. Чуть позднее останавливался звук ее шагов. И где-то под насыпью, в кустах — то слышался громкий шепот, то крадущийся шаг неведомого зверя. Нюра остановится, зверь тоже. «Чертовщина, — подумала Нюра. — Зачем я так делаю? Почему я иду? Иду ночью, тайгой, одна. Дико? Да, дико, Нюра Павловна, дико. Что это со мной? Пошла бы я вот так к кому-либо другому? А к нему иду. Почему? Люблю? Почему его, за что?

Ведь надо любить за что-то человека. Как же иначе? Может быть, пройдет время, что-то изменится, что-то забудется. Ну-у, голубушка, ты обманываешь себя. Ты можешь обмануть Пегова, уйти от ответа, когда он, якобы полушутя, спрашивает: «А ты поехала б со мной на Север?» А от себя никуда не уйдешь».

Кстати, если бы не Пегов, до сих пор шпыняли бы все Нюру. Пришла она в цех рассыльной. Разнесла по цехам авизовки, сбегала на печь, нашла того, другого — вот и вся работа. А получила паспорт — назначили старшей табельщицей. Девчонка девчонкой — какой с нее спрос — кто накричит, она и плачет. Наругают в отделе кадров завода за прогульщиков, снова плачет.

— Ребеночка приобрели, — говорила расчетчица Мария Степановна, хмуро глядя поверх очков и покачивая длинной головой в мелкой завивке. — Можно было дочку Василия Никаноровича принять, — неуклюже льстила она завконторой.

Василий Никанорович поднимал бледное, измученное лицо от бумаг и укоризненно взглядывал на расчетчицу.

Расчетчица всем жаловалась, что Нюра не справляется с работой, всякий раз доказывая, что все списки-ведомости должны составлять табельщики. Нюра оставалась вечерами составлять списки, молчала, пока не увидел ее в конторе начальник цеха.

— Что-то частенько сидишь вечерами? Отчет?

— Да нет, делаю списки... Вот и осталась, — робко ответила Нюра.

— Ну-к, ну-к!..

Назавтра расчетчица вышла из кабинета начальника заплаканная, а Василий Никанорович прошел молча мимо Нюры, потирая румяный лоб, улыбнулся.

— Гадина! — прошипела Мария Степановна и сгребла бумаги со стола Нюры...

И вот недавно Фофанов, заместитель начальника цеха, попросил ее:

— Дай-ка мне трех женщин. В школе нужно стенку покрасить.

— А как я наряды им выпишу? — поинтересовалась Нюра, зная, что не в школу он их пошлет, а штукатурить собственный гараж.

— Что-нибудь придумаешь, — разрешил Фофанов.

— Пишите распоряжение, — согласилась Нюра.

Фофанов презрительно хмыкнул, на белобрысом лице дрогнуло веко.

Нюра знала, что не станет он писать распоряжение в книгу заданий — Пегов увидит, что люди направлены работать в школу, а директор была в цехе недавно и просила только извести и песка для ремонта и побелки. Известь и песок отвезла туда на днях Нюра. И до покраски было ой как далеко!

Ей надоело всякий раз выдумывать объем работ. Сколько раз налетали на нее женщины? Аванс авансом, а получки чуть-чуть. Ремонт — хорошие наряды. Нет ремонта — уборка мусора. Копейки.

— Не сработаемся мы с тобой, Травушкина, — сожалел Фофанов.

— А и не надо, — смелела Нюра. — Выгоняйте!

— Так я и сделаю, — обещал он.

Выгнать он не мог, а вот ябедничать любил.

— Что за распри у вас с Фофановым, Нюра Павловна? — спрашивал Пегов.

Нюра рассказала.

— А ты, Нюра Павловна, так и действуй, — советовал Пегов. — И никогда не слушай! Смелее, смелее будь, а то заклюют...

...Нюра вздрогнула и остановилась. Метнулось, упало сердце.

Кричала косуля.

Этот утробный рыдающий зов то отдалялся, то взмывал из черного лога и был где-то рядом. И в том густом крике слышался страх за жизнь, за потомство. Какое-то время молчала темная ночь. Потом тоньше, пронзительнее раскалывал тишину крик козленка.

Страх окатывал Нюру. Она догадывалась, что это кричат косули, убегая, спасаясь от мошки, и ничто другое им не грозит: медведи, говорят, отошли из-за шума и грохота поездов, волков извели начисто люди, и, наверное, косули чувствовали, что где-то поблизости люди, пугались их. Да еще рыси. Но рыси есть рыси, кошку бояться — в лесу не жить.

Робко, краешком, из туч выглянула луна. Мелькнул еще столб. Темным комочком прошуркнул крот. И страхи отстали.

Выбираясь из той глухой тишины, Нюра снова принялась думать о себе, об Олеге, о работе и Пегове.

Кое-что о Пегове

Жара здесь была какая-то липкая, влажная. Видимо, потому, что время от времени каменщики поливали из шланга насадку и тут же разбивали ломиками верхние ряды ее. Женщины кидали мокрые, еще горячие кирпичи на маленький транспортер: маленький тянулся к большому, главному, который выплывал за цех к железнодорожной линии, куда обычно ставили думпкары. Иногда свои же рабочие подгоняли машины и увозили этот оплавившийся кирпич для гаражей и садовых домиков.

Пегов вывернулся из шлаковика и споткнулся о груду половья возле мотористки. Главный транспортер дергался и непрерывно останавливался, тогда и опадали с него половинки и мелкий бой, а женщины, подручные каменщиков, ругали мотористку, суетившуюся с железным прутиком, — заедало ролики, а лента была настолько стара, что сквозь нее сыпался мусор и скапливался в барабане.

— Это черт знает что, а не работа, — увидев начальника цеха, запричитала мотористка, тараща злые глаза, — не можете достать какую-то ленту. Бабы меня ругают, а я виноватая, да? Что мне, самой ложиться на эти дыры?

— А что, давай! Вдруг какой осмелится, рядом ляжет, — озорно прокричала чумазая бабенка, выхлопывая о колени пыльные рукавицы. — Может, подобреешь?.. Это она, Никита Ильич, от гордого одиночества злится. Ха-ха-ха!

— А тебе не жалко станет, если я твово Макара соблазню? — озорно спросила мотористка.

— О чем жалеть-то, не сахар — не растает.

— Ну, бабы, ну, бабы! — весело покачал головой Пегов. — Золотые вы мои, хорошие! — и тотчас узнал бедовую плясунью и шутницу Дусю Золотухину.

Дуся в любой компании была — клад. И в работе — клад. Никогда не унывала. Муж, бригадир каменщиков, заядлый доминошник — на людях храбрился, покрикивал на жену. И если кто доносил: мол, Дуська твоя в кустах трели соловушек слушает с кучерявеньким, — отмахивался:

— Враки! Она у меня по одной плашке, на цыпочках... — И выпячивал тщедушную грудь: дескать, знай

наших, дескать, вот как надо жен держать, в ежовых рукавицах, и гордо оглядывал своих напарников, сверкая темными глазами на бледном курносом личике.

— Ну, что у тебя, давай помогу, пока мои отдыхают. — Дуся вытерла «лепестком» чумазое лицо и, бросив лепесток под ноги и надев рукавицы, выдернула у мотористки пруток: — Айда!

Дуся еще недавно работала у мастера Травушкиной грузчицей, а потом перешла в бригаду каменщиков подручной. Имея права, иногда подменяла мотористку. Возле нее все кипело, электрики и слесари не отходили — знали: если что, засмеет на оперативке, мол, такие-сякие, ремонт печи срывают. Да и весело возле нее было: то хаханьки, то такой анекдот ввернет — и время бежит незаметно, и делу лучше. Не зря же Травушкина неделю упиралась, не подписывала заявление на перевод.

Пегов перешел по мостику через транспортер, не различая людей в лицо в зыбучем копотном воздухе, с кем-то здоровался, кто-то ему уступал дорогу, кому-то он. Два могучих вентилятора стояли у колонн — не работали.

«Ну, погоди у меня! — подумал Пегов о своем помощнике по оборудованию. — Опять кому-то глазки строит». И, зная, кому он строит глазки, почувствовал, как кольнуло сердце. Сбавил шаг. «Старый уж я стал. Мне ли тянуться за солнышком. Ведь как попрошайка мечусь за ней: улыбнется — я и рад. Господи-и, сдурел ты, Никита, сдурел». И, понимая это, он знал, что не сможет сдержать себя, потянется увидеть Травушкину, пусть только увидеть. «Ну, погоди у меня, — снова, теперь уже раздражаясь, подумал о Кураеве. — Лента получена, неделю уже в цеховом складе лежит. Что ж он, сукин сын, делает? Сам просил, а теперь неделю тянет. Влеплю выговор!»

Сейчас Пегов специально обошел верх и низ печи, чтобы через час, на оперативке у главного сталеплавильщика, снова завести разговор — сказку про белого бычка: нет того, нет другого. Потому что не успеет он, Пегов, раскрыть рта, как Лавочкин зычно скажет:

— Опять у нас разлад, товарищ Пегов? Мы, товарищи, отстаем от графика с ремонтом седьмой печи на девять часов. Кто виноват? — и будет выжидательно оглядывать всех сидящих, пока не остановит суровый деловитый взгляд на нем, Пегове, вжавшемся в стул.

Пегов не выносил, когда на него кричали — терялся, отвечал невпопад. Дожив до сорока лет, он считал, что

любой деловой разговор должен быть тихим, доказательным. Всякий раз Никита упорно смотрел в темные, лихорадочно блестевшие глаза Лавочкина и пытался понять, уже в который раз, что за человек этот Юрка Лавочкин и как, когда он успел преобразиться из тюхлявого мальчишки-фрезеровщика с мокрым ртом в уверенного, находчивого руководителя, которого подчиненные уважают и побаиваются.

Пегов вспомнил, как однажды при обходе цехов Лавочкин вдруг приказал заменить все двери в конторах стеклянными, видимо, для того, чтобы видеть, кто чем занимается. А все лестницы велел покрасить в радужные цвета — для эстетики. А то вдруг посадит двух-трех человек писать инструкции или делать макет мартеновской печи с огоньками в завалочных окнах с крошечными транспортерами. И этот макет водрузит в передний угол своего кабинета. Приедет какая-нибудь комиссия или высокое начальство — ахают, разглядывают — ему приятно. И, выходя сейчас из цеха к бытовкам, Пегов вяло подумал: «Тщеславный, однако, парень!» — и в сердцах пнул камень.

«Ну, Кураев! Ну, Кураев! Подожди у меня! А может, мы за всякие выдумки, отговорки прячем свою лень? Что помешало исправить вовремя вентиляторы? Опять электрики запоют — нет какой-нибудь лакоткани или болтиков, гаечек. А на самом деле все это есть, просто мы разлентяились — дальше некуда. Кураев обнаглел — и я потакаю ему, а дело страдает. Лавочкин сейчас будет ругать, но не очень! Потому что сам не в ладах с директором. Какая уж тут строгость. Ну что, что он спросит с меня? Разве я сам не знаю, что печь надо сдать в срок? И сдадим в срок! Соберу народ, поговорю, и сдадим. Ну, сейчас отстаем на девять часов, так еще ж трое суток впереди — догоним. Кто виноват, что не хватало кирпича? Кто виноват, что все стараются получить отпуск летом? И многие получают, имея на это право, — то студенты, то спортсмены, то просто романтики, которых ни с того ни с сего потянуло ехать за туманами. И которые запросто суют ему под нос заявления о расчете: если уж, мол, невмоготу дать отпуск, то, пожалуйста, мы люди не гордые... Пятерых вот уговорил остаться — добрые ребята, стоящие. Квартиры пообещал, а где я их возьму? Опять надо идти к директору. Да и ребята правы! Еще как правы! Сейчас вот дымятся на них суконные костю-

мы, горят подошвы валенок, пот разъедает лицо — и хоть бы чуточку свежего воздуха: вентиляторы уже сутки молчат возле опорных колонн, что им, железным!»

Пегов вошел в бытовку и, увидев в открытую дверь сапожной мальчишку-ремесленника с забинтованной рукой, спросил:

— Кураева знаешь?

— Знаю.

— Разыщи, и срочно ко мне!

— Щас, — подхватился мальчишка, цокая по цементному полу подковами узконосых ботинок.

В кабинете Пегов включил вентилятор, повернул от себя, стал рыться в правом ящике стола. «Куда-то опять запропастилась авторучка?» Кураева все не было.

Наконец он вошел — молодой, рослый, уверенный.

— Садись, Олег Николаевич, — радушно показал глазами на стул у стола, направив на него, запыхавшегося, вентилятор. Через минуту, улыбаясь и поправляя очки, спросил:

— Приятно?

— Да. А что?

И еще с минуту Пегов крутил по стеклу на столе ручку, смотрел на нее. Затем, медленно поднимая глаза, тихо и строго сказал:

— Если через полчаса не будут работать под насадкой вентиляторы — сниму премию и влеплю выговор. Вы свободны! — проводил жестким, ничего хорошего не обещающим взглядом.

В дверь легонько постучалась и, чуть помедлив, вошла Аринкина.

— Никита Ильич, подпишите, пожалуйста: это Травушкина просит сто рулонов рубероида — перекрывать крышу на складе огнеупоров. Двадцать пять у нас было, да пятьдесят мы получили на той неделе, хотя я просила сто. Сейчас снова выписываю сто — подпишут пятьдесят... Никита Ильич, у меня к вам две просьбы. Первая — у Горячева завтра день рождения. Может, что-нибудь придумаем? Он нас много раз выручал...

— Выручал, — согласился Пегов, вспомнив, что этот снабженец, если обещал, обязательно делал. Слово для него было делом чести. «Что могу, то могу, — скромно говорил Горячев в ответ на благодарности. — У меня стезя — выручать людей. Может, и меня когда-нибудь кто-нибудь выручит».

Пегов встал, открыл сейф и вынул бутылку армянского.

— Это мне достали для одного случая. Никак домой не унесу. Давайте подарим? Только, Нина Павловна, заверните, пожалуйста.

— Я мигом, я мигом... Там у меня в складе даже ленточка есть и два лимона...

— Ну, а теперь — вашу вторую просьбу, и я — пошел.

— Как-то даже неловко, Никита Ильич, говорить... Я насчет Травушкиной.

— Что такое? — подался Пегов.

— Да я ведь ее когда-то к вам привела во-от такой крохотулькой, а теперь прям все сердце изнылось — бабы болтают разное...

— О-о! — неловко и вроде бы облегченно рассмеялся Пегов. — А вы не слушайте баб. Они наговорят. Хотя говорят — зря не скажут, а?

Аринкина скорбно опустила голову, затеребила карман халатика.

— Да это я так, к слову...

— Вот что, Нина Павловна, поведаю я вам один секрет: что бы ни говорили, что бы ни случилось с Травушкиной, я ее в обиду никому не дам.

Аринкина подняла голову. В глазах мелькнуло что-то лукавое, дескать, вот и я о том же...

— Травушкина прекрасная работница, — добавил Пегов, вздохнул и встал, давая тем самым понять, что на этом разговор надо закончить.— Старый я стал... А вам, Нина Павловна, я очень признателен за участие к Травушкиной и за то, что вы предупредили меня.

— Да ну, мало ли что скажут, — заалела Аринкина и поспешила к двери. — Так я пойду сейчас приготовлю подарок, а завтра утром отнесу. Вы не подумайте, пожалуйста, Никита Ильич, что я из-за сплетен переживаю. Я люблю ее, как сестру. И хочется мне, чтобы личная жизнь ее удалась. Она теперь вон какая, пригожая да деловая, а ну как подвернется какой-нибудь оболтус вроде Лешки Кленова — маета будет. А говорить, что ж... Поговорят — перестанут. Извините меня...

— Ничего, ничего...

Пегов посмотрел на часы и, когда Аринкина вышла, повернулся, подошел и раскрыл окно. Под окном из густого пырея синели васильки. «Слышишь, девочка моя. Сейчас я пойду на совещание — меня будут ругать, креп-

ко ругать. А нам нипочем. Совсем нипочем. Сейчас мы пойдем и сорвем один цветок, может, два».

Пегов спустился вниз и, выйдя из здания, смело шагнул на газон, но, постояв в густой, ухоженной траве перед васильками, нагло синеющими из зелени, повернулся и пошел к главному сталеплавильщику.

Его догнала Травушкина.

— Никита Ильич, — взмолилась она. — Отдайте мне Золотухину.

— Зачем? — удивился Пегов.

— Я сейчас была у нормировщиков, говорят, разрешение пришло на освобожденного бригадира. Лучшей мне не подыскать. Дуся хорошая женщина, хорошая работница...

— У тебя, Нюра Павловна, все хорошие.

— Хорошие, — кивнула Травушкина, почему-то краснея.

Пегов беспомощно заглянул в ее глаза с крапинками вокруг желтых зрачков и, увидев там свое маленькое очкастое лицо в темной непостижимой мгле, протяжно вздохнул, отвернулся.

— Ладно уж, бери... Заготовь приказ...

— ...Что же вы не предупредили меня о разговоре с директором? — обиженно спросил Пегова главный сталеплавильщик, всегда ревниво относящийся к разговорам за своей спиной — все ему казалось, что под него делают подкоп.

— Сергей Иванович вызвал меня сам. Я просил пересмотреть штаты, добавить подручных каменщиков. — Говоря это, Пегов вспомнил, как возмутился директор, когда ему принесли данные о перерасходе по мартеновским цехам по ферросплавам. «Товарищи, — взволновался директор, — зачем заводу такой главный сталеплавильщик? Зачем такой руководитель, который не знает, что такое копейка?..»

Судьба Лавочкина была предрешена.

— ...Что у вас происходит? — распалял себя Лавочкин. — Ремонт печи затянули. А директору жалуетесь, что не хватает рабочих. Я сегодня собственными глазами видел, как ваши люди сидят у печей...

— Юрий Михайлович, хороши ли, плохи ли мои люди, а план есть. Сталь есть. Кто это все делает? Неужели вы и вправду считаете, что в этом ваша или моя заслуга? — спросил Пегов.

— Я не считаю заслуг. Я повторяю, что ваши люди разгильдяйничают и делают брак.

— Мои люди ремонтируют печи. И не надо их укорять в том, что они иногда присядут отдохнуть. Как бы там ни было, а они делают свое дело. И мы в долгу перед ними. Я имею в виду то, что мы мало заботимся об облегчении труда, об отдыхе рабочих, о жилищных условиях, о всем том, что мешает им чувствовать себя спокойно, уверенно...

— Вы демагог!

— А вы прожектер! Вы на прошлой оперативке у директора ратовали за то, чтоб запретить принимать в наш цех женщин. Тяжкая работа. А кто спорит? Но ведь не вы оказались в этом дурацком положении, а я. Ни один мужчина не идет в подручные. Ни один мужчина не желает таскать кирпичи...

— Никита Ильич, — вкрадчиво произнес Лавочкин и медленно добавил: — Я сделаю все возможное, чтобы вашей ноги больше никогда не было в моем кабинете...

— Спасибо за откровенность. Я могу быть свободным, не так ли?

— Да, конечно.

Пегов резко толкнул дверь и вышел.

Нюра догнала его на лестнице:

— Никита Ильич, вы не придавайте значения... Это такой грубиян...

— Чепуха все! — отмахнулся Пегов. — Лавочкин самодур, но, надо отдать должное, организатор он неплохой... Вместе в ФЗО учились, — усмехнулся.

— А что он имел в виду, говоря о том, что сделает все возможное?

— Ничего он не сделает. Так это... Начальственный фортель, — грустно вздохнул Пегов. — Ну, будь! Я побегу во второй мартен. Надо посмотреть миксер.

Нюра знала, что Пегову уже предлагали место Лавочкина. Он отказался. «Почему он отказался? — недоумевала Нюра. — Больше забот, суетности? Неужели он их испугался?»

Под эстакадой, где женщины подавали кирпич по транспортеру на печь, Нюра столкнулась с Кураевым.

— Мне дают отпуск!

— То-то ты радехонек!

— Так что в пятницу едем на озеро, и я там остаюсь! Слышишь?

— Слышу.

— Ребята приглашают в ресторан. Видимо, я сегодня не приду.

— Слышу, — померкшим голосом отозвалась Нюра и шагнула в сторону. «Боюсь, придет время, и я не смогу удержать его. Я тогда с ума сойду. Господи-и, как спастись от этой любви?» — мучительно спрашивала она себя.

Нюра пробралась в глухой угол за штабеля кирпичей, села там на ворох стружек, чтобы хоть на недолгие минуты остаться одной. В глубине души она боялась той минуты, когда придется заставлять себя не вспоминать о том, что никогда не повторится, когда надо будет просыпаться и стараться не думать об этом, работать весь день и не думать об этом, а потом быть одной долгий томительный вечер, ночь и думать только об этом, только о нем.

Ей невыносимо было встать и показаться женщинам. «Глаза-то у меня, наверное, красные?» Надо было переждать, а после уже идти проверять работу, кого-то хвалить, кого-то ругать, кого-то утешать и советовать то, что сама не могла сделать.

Наконец Нюра встала и пошла, крадучись за штабелями кирпичей вдоль стены цеха, за калитку.

Походив и постояв на ветру, Нюра вернулась в цех.

А вечером, подойдя к дому, она увидела Пегова. Он стоял под коряжистым тополем; и то, что стоял он возле ее дома в такое время, и то что было его лицо усталое и жалостное, остановило и испугало ее. «Почему он здесь? Господи-и, да ведь он пришел ко мне!» Ее смутило то, что он пришел к ней. Не тот он человек, чтоб слоняться под чужими окнами, да и наглядеться на нее у него достаточно времени на работе. С другой стороны, она чувствовала, что пришел он сюда только к ней: если б что-нибудь случилось на работе — послать за ней есть кого.

— Что случилось, Никита Ильич? — Нюра затаила дыхание.

— Да вот шел, шел... Мимо шел и неожиданно оказался здесь, — слабо улыбнулся Пегов и отшатнулся от прясла, подался к Нюре. — Был на совещании в прокатных цехах... Опять ругали...

— Идемте, угощу чаем.

«Он просто устал, — подумала Нюра. — У него неприятности. И шел он мимо, а ты, дура, подумала о чело-

веке черт знает что!» — и как можно радушнее пригласила:

— Это мой дворец, идемте...

Открывая дверь домика, она улыбалась Пегову, зная, что в комнатках у нее все в порядке — пол мыла вчера. Чай, хлеб, масло есть.

Нюра провела гостя в горенку, пододвинула стул к столу, прикрытому белой льняной скатертью, переставила со стола букет таволги на подоконник и распахнула створки.

— Вы пока отдохните, Никита Ильич, а я займусь чаем.

— Знаешь, — он огляделся, — у тебя тут прелесть! И одна ты, и книги — царство тишины! — печально вздохнул. — Завидую я тебе.

— А я вам! — выходя из горенки, улыбнулась Нюра.

Пегов сидел в прохладе комнатки, смотрел в окна на огородик и край березового лесочка, на кровать Нюры с пухлыми четырьмя подушками, на простенок с книгами, на мелкие, оставшиеся на скатерти стола лепестки таволги и страстно желал скинуть ботинки, рубашку, выбежать в огородик, облиться водой, а после упасть на эту кровать и слушать, как медленно уходит вечерняя усталость.

— Никита Ильич, чай закипает... Хотите принять душ?

— Душ?

— Настоящий, холодный душ, — засмеялась Нюра, встав на пороге горенки,— молодая, красивая, в простеньком голубеньком сарафанчике. — Сама соорудила... Идемте... Мне потребовалось четыре доски, кусок брезента и ведро, — говорила весело Нюра, идя впереди Пегова к зарослям подсолнухов. — Вот здесь вешалка. Воду я уже налила. За этот вот шнурок дерните, и польется вода, — объясняла Нюра.

— Аннушка, ты — чудо! Я с удовольствием оболью́сь.

— Вот полотенце.

Пегов тщательно оглядел Нюрино сооружение, засмеялся:

— Оформляй рацпредложение... А это что? — увидел на колышке детское платье.

— Это Люды, племянницы. Дочка сестры живет со мной...

— То есть как?

— Сестра с мужем развелась. Где-то года три мыкалась, а теперь укатила в нашу деревню. Может, там найдет свою судьбу, свое место... А девочке уже восемь лет. Она меня любит, я ее — тоже. Сегодня с троюродной теткой поехала в цирк. У нее заночует...

— Ну и ну! — сказал Пегов, пристально разглядывая Нюру, будто решая что-то про себя. — А еще кто в твоем дворце живет? — поинтересовался он осторожно, развязывая галстук.

— Старенькая кошка Настасья да псенок Яшка.

— Богато! — опять засмеялся Пегов, провожая взглядом синицу, взлетевшую в небо с макушки подсолнуха.

— Убегаю — чай там!., Мало будет воды — бочка рядом...

— Спасибо, Аннушка!

А после душа Пегов ел яичницу с колбасой, пил крепкий чай, слушал музыку «Маяка», шутил, смеялся и все думал о том, как хорошо ему здесь. Он уже и не помнил, когда и где ему было так спокойно и просветленно. Все какие-то встречи, необязательные, ненужные дела. И на износ работа, работа...

Нюра, копошась у плиты, думала о Пегове, о его вечной занятости. Иной раз надо полдня пробегать за ним по печам, чтобы подписать срочную бумажку или решить какой-нибудь вопрос. Все ремонты, ремонты... И работа с утра до позднего вечера. И так ли уж часто выпадает ему время остановиться и поглядеть хотя бы на газон или на цветы под окном своего кабинета. А тут сидит, — ни строгости, ни заботы — открытое окно, букетик таволги, чай на столе, глядишь, и отошел человек от дневной сумятицы и дум тревожных — на лице благодушие. Много ли человеку надо!

Нюра остановилась с чайником в руках возле Пегова и стала улыбаться, глядя в одну точку.

А Пегов, в свою очередь, боялся заговорить с ней, не решался получить отказ, который он уже предугадывал, но и молчать не было сил... Он понимал, что она никогда не будет его любить так, как любит он ее. Но если она вдруг пожалеет его, то рано или поздно устанет от его любви и в доме поселится раздражение.

— Ты могла бы, — спросил он ее врасплох, — уехать со мной в какую-нибудь Амдерму?

— Когда? — улыбнулась Нюра, понимая, что этот вопрос для него — как избавление от назойливых дум.

— Сие бы, матушка, зависело от тебя, — голос игривый, а в глазах напряжение. — Плохо мне, — глядя в пол, задумчиво произнес он. — Надо уезжать... Я уже предвижу, как мне будет плохо.

— Шутник вы, Никита Ильич, — натужно проговорила она, чтобы не сказать простое и ясное: нет. — Давайте-ка я вас провожу до трамвая. Темнеет уже...

Несмотря на какую-то смутную недоговоренность, Нюра проникалась к нему все большим сочувствием и нежностью. И в тот миг, когда он уходил, насупив брови и оставляя косую тень на пожухлой траве, когда она проводила взглядом его поникшую спину, когда он оборотился и, слабо улыбнувшись, вяло помахал рукой, у нее возникло желание догнать его, сказать какие-то слова, которые удержали бы, вернули его. Но... Не послушались ноги и вдруг потерялся голос.

Километр третий

Стал виден узкий распадок, затопленный туманом. Из тумана торчали макушки немощных осинок, густо тянувшихся ввысь. И колко взблескивали камни ближней скалы.

Теперь Нюра шла ровно и радовалась: вот ночь, рельсы и она, Нюра, топает да топает, одна во всем мире.

Она не думала о том, что ее заставило ехать сюда за сто километров от города, не думала, что придется выходить из поезда ночью, блуждать в тайге. Она ни о чем не думала.

Вчера утром, на работе, вдруг заныло сердце, хоть кричи, и стало все не мило и опустились руки. Ее потянуло сюда, к нему. Пошла к Пегову и сказала, что у нее много отгулов и что ей нужен день, только день, сходить в больницу к соседке. И когда она стояла у стола Пегова, не смотрела на него, а он пристально заглядывал ей в лицо и спрашивал: «Что-нибудь случилось?» — «Да нет, что вы», — уклонилась она. Он не поверил ей. И глаза его за толстыми очками были тревожными. Он, силясь улыбнуться, сказал:

— Что ж, ты вправе требовать даже неделю отдыха. И я дам тебе этот день, который тебе очень нужен, — и опустил глаза к бумагам.

— Спасибо, — сказала Нюра и пошла к двери. И когда выходила, догнал его голос:

— Зайди к парторгу!

— Нюра Павловна, дай мне список лучших женщин, — попросил парторг.

— Для чего?

— К награде представлять будем. В понедельник бюро.

— Хорошо, я посоветуюсь с девчатами. Василий Никанорович, помогите Карпушиной сменить квартиру. Устала она. Шестеро в одной комнате... К школе соберутся все — содом...

— Помогу, Нюра, — пообещал парторг. — Как ты-то живешь? Замуж, поди, выскочила?

— Нет еще, Василий Никанорович. Женихов нет.

— Нюра Павловна, — два года назад остановил ее парторг, завконторой цеха, — был у нас разговор на партбюро, и скажу по секрету: решили тебя мастером назначить. Профсоюзную работу ведешь — член цехкома. Лет десять, поди, секретаришь на выборах?

— Шесть, — уточнила Нюра.

— Ну вот.

— У меня нет технического образования!

— Дело знаешь, печи знаешь. Пойди в вечерний техникум. А короче — соглашайся. Кстати, Пегов и подсказал тебя мастером назначить...

— Да не справиться мне! — взволновалась Нюра. — Бабы ведь!

— Бригадиром справлялась, а мастером нет? Подумаешь, двадцать женщин добавят. Ты всех знаешь. Тебя все знают...

— Так они же вдвое старше меня...

— А вот и хорошо! Жить тебя научат, а? У каждого своя судьба, свой мир. Свое горе и радости, — грустно добавил Василий Никанорович. — Ничего, бабы хорошие. Справишься.

«Кого же я включу в этот список? — подумала Нюра, глядя под ноги, на шпалы.— Вот задача-то! Я бы всех включила, всех наградила! Прежде всего я назову Карпушину! Лет двадцать, наверное, в цехе — и все бригадиром. Пятеро детей. Тоже жизнь — не сахар. А работать умеет. «Делать так делать!» — говорит. Любит резать правду в глаза... Я скажу ей: «Серафима Ниловна, к Октябрьским праздникам вы получите Почетную грамоту

и премию». А она мне в ответ: «Премию — это хорошо! Спасибо! А вот Почетную грамоту дай кому-нибудь помоложе, — предложит она и добавит: — Не сердись, Нюра, просто у меня затихла душа...» Может, ей и все равно, может, это иногда всплывет какая-нибудь мелкая обида? А остальным девчатам не все равно. Карпушину они уважают... Кого же еще? Катю, Феню? Нет, пожалуй, Люсю Кленову. Эта — надо остаться на вторую смену — останется и свою бригаду оставит, потому что — надо. Люся как бы стыдится своего здоровья, красоты — под дождь — так под дождь, на ветер — так на ветер. Надо кому-то шагнуть вперед, Кленова — первая. Только с мужем у нее нелады. Ссорятся. Он ревнует. На кого посмотрела? Кому улыбнулась?

По-моему, ревность там, где есть любовь, — подумала Нюра.— Нет любви — человек безразличен. А я, почему я ничего не могу поделать с собой — ревную Олега к той рыжеволосой женщине, его жене? Мне больно даже от того, что она есть, живет в этом городе. Почему мне так больно? Я люблю его. Неужели мне всегда так будет больно из-за него? Пусть. Только пусть это будет всегда, всегда. Пусть будет он. Буду я. Вместе...»

Как понять, приостановить это неуловимое мгновение жизни — зарождение чувства? И почему это чувство вдруг вспыхнет, пролетит, удивит, как яркий метеор в темную ночь, когда вдруг взметнется что-то в груди и упадет.

Она не могла и помыслить о том, что все минуемо и однажды на рассвете уйдет любовь.

Если бы он хоть словечком обмолвился о том, как нам жить дальше? А он молчит. Он молчит, и никак нельзя спросить об этом. Страшно. Однажды Нюра попробовала спросить. Была ночь. На стене ее горенки метались тени. И ветки коряжистого тополя скребли крышу. Олег лежал на руке Нюры, курил и щелчком стряхивал пепел на пол. Нюра поняла, что он в этот миг далеко-далеко.

— У тебя неприятности? — спросила она, как будто начала карабкаться на скалу, чтоб увидеть, куда нырять.

— Да так,— нехотя выдавил он и отвернулся, лег на бок.

А ветки тополя все скребли и скребли крышу.

— Сегодня к спортивному магазину подвезли лодки...— Она подумала, что если он скажет: «Давай купим!» — обрадуется и заговорит о том, как станут искать машину

и перевезут эту лодку на озеро. Значит, он все уже решил и думает жить с ней, только еще не сказал ей об этом. Очень хотелось, чтобы он сказал: «Давай купим!»

— Зачем она тебе?

И Нюра ощутила себя так, словно уже вскарабкалась на скалу, посмотрела вниз и замерла. Там холодно и темно блестела вода, кое-где видны были близкие к поверхности камни. И нырять расхотелось. И спрашивать о том, как жить дальше, расхотелось. Нюра испугалась, что не сдержится, выскажет все, станет упрекать, что-то выяснять и разговор будет томительным для обоих. И все кончится. И он уйдет навсегда. Как хороший садовник, почуяв заморозки, кидается спасать драгоценные розы, так и она бросилась спасать свою любовь. Выбралась из-под одеяла, встала:

— Я к Людочке... Вон какой ветер... Девочка, наверное, боится...

«Может, я не права, может, ему плохо, а я вешаюсь ему на шею. Сама. У него есть жена, ребенок. Может быть, прекрасная жена... Но от прекрасных жен не уходят,— почему-то решила Нюра.— Кто она?»

Нюра вышла на кухню, забралась к Людочке на тахту, та полусонная обхватила шею ручонками, чмокнула в подбородок и снова уснула. Или от детской ласки, или от того, что он все-таки здесь, у нее, лежит в горенке, спит или смотрит в окно или на тени на стене, ее самый родной человек, из-за которого ей так неспокойно, Нюра стала думать и представлять свою будущую жизнь с ним.

А утром он был весел. Попив чаю, щелкнул Людочку по носу:

— Вставай, букашка, посмотри на свою тетушку, какая она кислая.

— Ну, что ты, я не кислая,— улыбнулась Нюра его безмятежности, и все спряталось.

— Шевелись, шевелись, на работу опоздаем! — подошел, шлепнул и засмеялся. Засмеялась и она.

Днем на работе к ней подошла Карпушина:

— Что у тебя с ним? — показала глазами на склонившегося над насадкой и что-то говорившего слесарям Кураева. Слесаря устанавливали лебедку.

— Ничего, Ниловна.

— Ой ли! Ты утром с ним шла из поселка. Похоже, не тот сапог ты выбрала. Не по себе... Ребенок у него...

— Он с ней не живет, уже два года,— подняла Нюра умоляющие, растерянные глаза.— Я это знаю...

— А хоть пять. Не развелся ведь... Да ладно, не тужи,— ласково дотронулась до плеча,— может, я и ошибаюсь. В потемки чужой души не заглянешь. В своей-то кавардак, не приведи господи... Возьми его в руки. Так, мол, и так, а не так, так и не так... Что ж! Всяко бывает,— и отошла.

«Ой, Ниловна, Ниловна!..— Нюра шла и шла по шпалам. К нему шла.— Все-то ты, Ниловна, знаешь. У тебя — опыт. И всем-то тебе охота помочь, предупредить девчат от какого-то ненужного шага, только знать бы, где упасть... Как вы там завтра без меня? — подумала Нюра и приостановилась на минутку.— Ничего, Дуся все сделает, только вот дадут ли ей без меня шлаковату и толь?»

Однажды в разнорядочной Нюра услышала шепоток:

— И этого приветила, говорят.

— Да ну! — подивился кто-то.

— А то зря, поди, мастершей назначили? Эку соплюху!

И предостерегающе в углу:

— Тише вы, дуры!

Нюра подняла голову от нарядов, и в тревожной узости глаз ее блеснул огонек, но тут дверь конторки весело распахнулась, и появилась гордая, белоликая Люська с махровым синяком под глазом. Бабы ахнули и кинулись проявлять сочувствие:

— Змей!

— Дай ему пятнадцать суток! Дай!

— Опять? — поникла Нюра, и все тотчас утихли.

За лесом утушка
Все утро крякала,
Ты горько хмурился,
Я горько плакала...—

с чувством пропела Люська, и серый, красивый глаз ее предательски заблестел.— Все, бабоньки, я победила. Он мне хрясь один стакан, я — два, он зеркало, я — приемник. Да кэ-эк... Сразу отрезвел. Кричит: «Люська, ты что, сдурела? Люсенька». А я ему — бах вазу к ногам. Ору — не подходи! А то кэ-эк тяпну по башке... Все равно, думаю, не жись,— все порешу... Притих...

Люська сморщилась в виноватой улыбке, а на реснице подбитого глаза повисла слеза.

— Молодец, Люська! — метнулась обниматься сухопарая Катька Супонина.— Ну-у, я сегодня своему и устрою.

— Ой ли! — подала тоненький голосок Нина Павловна Аринкина, экспедитор.— Да счас бы увидела своего Митеньку и как мыша притихла.

— Это я-то? — оробела Супонина.— Да ты на себяко оглянись, мышка-праведница! — подхватилась кричать Катька. Она по-птичьи крутила головой, прося взглядом вникнуть в этот серьезный разговор: — Чужого мужика увела, и хоть бы хны... От детей болячих увела, от жены увела... У-у, кикимора!

У Супониной были все основания оберегать тихую заводь своего счастья — детей не было, и она боялась, что муж уйдет от нее. Все знали, что Катька одуревала от ревности, бегала, била окна у Фени Волковой. Тихонькая Феня с двумя детишками жила в бараке, и ее окна невинно взирали на голубятню Катькиного мужа, вялогубого, растяпистого каменщика.

— Не уводила я! — взвизгнула Нина Павловна, багровея тугим, маленьким личиком с карими доверчивыми глазищами.— Сам пришел. Пять лет бегал... Я что, виноватая? Бабы, да вы посмотрите на нее! И чего она на меня все время лается?

— Это я-то? — снова обиделась Катька.

— Девки-и, тихо! Начальник идет! — кто-то отпрянул от окна.

Женщины, все в суконных костюмах, в ботинках с железными передками, в касках поверх платков, приняли чинную позу, нахохлились, замерли на лавках, вытянув шеи в сторону двери.

Но никто не вошел.

«Опять углядели,— подумала между тем Нюра.— Господи, ну чего он ходит? Остановится и смотрит, и смотрит. И рабочие нипочем. Стыдно-то как, хоть реви. Господи-и. Скажу я ему сегодня, что неловко мне, да и ему это не к лицу, пожилому, семейному. Бабы уже черт-те че думают... Ах, да скорей бы все разошлись по местам».

Не хотела Нюра признаться себе, что внимание начальника цеха все-таки льстит ей. Потому что Фофанов, заместитель, то ругал на каждой летучке: то думпкары не вовремя поставили, то не тот кирпич на печь подали, то техника безопасности не на высоте, поэтому и часто грузчицы ушибают ноги,— а тут вдруг снизошло умиление,—

на утренней пятиминутке выдал: «Объявить благодарность участку Травушкиной — обеспечили досрочный ремонт пятой печи». Вон как! А то грозил выговорами за отсутствие табличек с фамилиями тех, кто отвечает за пожарную безопасность на складе огнеупоров. Как будто кирпичи вспыхивают сами по себе. Ну и ну!.. Нюра повеселела и скомандовала:

— Давайте-ка по местам! Бригады Супониной, Дорогановой и Кленовой — на выгрузку вагонов МПС, бригада Набросовой на уборку мусора с пятого пути и под эстакадой. А Карпушина на склад за краской — маркировать кирпич.

— А что это мы вечно мусор убираем? — взвилась Набросова, норовистая бабенка с крашеными ресницами.— Как проклятые — все мусор и мусор...

— А ты что хотела? Кто везет, того и погоняют,— поддержал кто-то робким голосом.

— Хорошо, идите на выгрузку,— согласилась Нюра, скрывая раздражение.

— А давайте я пойду на мусор? — встряла Люська.— Мне сегодня нельзя на обозрение. Как, девчата?

— Мы — как ты.

— Ты бригадир, тебе виднее.

— У тебя, Люсенька, таки слова мягки, таки мягки — хоть спать укладывайся,— съязвила Набросова.

— Ну вот, Нюра,— Люська и глазом не повела в сторону говорившей,— видишь, моя бригада меня бережет.— И встала.— Говорить, Поля, не робить, торопиться не надо,— сказала без обиды.— Айда, девчата! — И, направляясь на выход, тихо, для себя запела:

Зачем мы ссорились, зачем мы
спорили?
Зачем, любимый мой, опять
повздорили?

Люська пела в самодеятельности. Иногда ездила от Дворца культуры в подшефные совхозы. Ей хлопали, просили петь еще. Люську любили. Зато рябой, страховитый электрик Алешка Кленов пил, а иногда и побивал Люську — ревновал, значит.

— Ну-у, эта заговорит, лису из норы выманит,— великодушно простила Набросова.

— А ты, Катя, чисто колючка,— подошла к Супониной Нина Павловна.— Я ведь что хотела сказать — что ты уж

больно любишь своего Митеньку. Все Митя да Митя. Завидно даже... А я вот черствая какая-то, а мужики льнут...

— Глаза у тебя, Нина, вон какие... А кому я нужна, дистрофик чистый...— вяло махнула рукой Супонина.

— Да брось ты прибедняться: Митя не любил бы, не жил.

— Бабы, мы и есть бабы,— вздохнула Катька.

— Что это у нас сегодня, все утро про любовь? — спросила Нюра и обвела взглядом сидящих женщин: — Больше говорить не о чем?

— Так ведь ты у нас начальство, тебе и голову ломать. Газеточки бы хоть почитала... А то лекцию про оперное искусство,— ухмыльнулась Набросова.— Я бы, в содружестве с Кленовой, арию исполнила для мадам Супониной...

— Это когда же ей нам газеточки читать-то? — удивилась Карпушина.— Взяла б да и почитала сама, а мы б послушали...

— А что, бабоньки, может, организуем хор?

— Ага, на фоне штабелей кирпича глядеться будем,— рассмеялась Набросова.

— Только нам хора и не хватает до полной радости,— оборвала Люська.

— Давайте в следущий выходной съездим за грибами?

— Лучше кино! Или айдате ко мне в сад. Свежий воздух. Ягодки.

— Были уже. Ягодками там и не пахнет...

— Можно на озеро...

— Трапы новые заказать надо,— попросила Люська,— только полегче и подлиннее. А то поставишь трап к вагону и карабкаешься будто в гору...

— Хорошо, сегодня же закажу,— пообещала Нюра, все продолжая писать наряды и думая вовсе не о трапах.

«Ну вот,— думала Нюра,— одной надо читать газеты, второй организовать вылазку за грибами, третьей подавай лекцию про оперное искусство, четвертая (какая-нибудь из девушек, что пришли после десятилетки) пожелает вести разговор про кибернетику... Что я им смогу дать, кроме организации вылазок, путевок да яслей? Ни-че-го... Вон Золотухина на втором курсе института, а я все еще техникум не могу осилить...»

— А что, Зина,— повернулась Нюра к Набросовой,— может, и в самом деле пригласить нам какого-нибудь артиста? Расскажет о театре...

— Да что ты! — изумилась Супонина.— Это же так она, выпендряется... Слово-то «мама» с тремя ошибками пишет, а туда же — оперное искусство...

Раскатился хохот.

— Пора на рабочие места,— оборвала Нюра.

— Чего расселись как цыпоньки,— весело заорала Супонина на свою бригаду.

Заскрипели скамейки. Стали расходиться. Вскоре голоса и шаги в коридоре поутихли.

— Нина Павловна,— подождав, когда все выйдут, сказала Нюра,— нужен стальной пруток. Штырьков осталось на один ремонт. Нужен рубероид — крыша на складе течет. Сто рулонов. На прошлом обходе решили перекрыть.

— Тэк-тэк,— призадумалась Нина Павловна,— двадцать пять у нас есть. Попробую еще попросить. Пруток подписали. Давай машину, сегодня вывезем.

— Будет машина. А еще мне надо ящик стекла. В новом складе уже навесили двери, замок вставили.

— Травушкина, надо машину? — распахнув дверь, спросил шофер, высоченный парень Боря Цацкин.— А то плотники подмазываются доски возить.

— Нет, нет, Боря, вот Нина Павловна уже идет,— Нюра с облегчением отодвинула наряды.

— Прицеп нужен?

— Нужен.

— Я мигом.

— Нюра, а девки опять тебе Пегова пришивают,— когда захлопнулась дверь, сказала Нина Павловна и вопрошающе подняла на Нюру глаза.

— Нет. Это неправда,— уводя в сторону знобящий взгляд, сказала Нюра, снова берясь за авторучку.

— Я к тому, что начальник все же, греха не оберешься. Уходи ты от него подальше. Падать-то легче, чем вставать. А сплетня, что змея, из-под любого кустика укусит. Молоденькая, всего наговорить можно. Я вон сколько пережила... Мужикам что: их послушаешь — слова-то их так и тают, так и тают,— а нам маета одна...

Зазвонил телефон, и Нина Павловна, застегнув синий отутюженный халатик, вышла.

— Травушкина? Добрый день! Зайди ко мне минут через десять.

— Хорошо, Никита Ильич.

Нюра встала, наскоро пометив себе в блокнот: обойти рабочие места, взять у художника таблички, заглянуть на

склад, на печи. Что-то еще скажет Пегов. И Нюра пошла, вспомнив вопрошающий взгляд Нины Павловны, поежилась, робко подумала: а стоит ли заводить разговор с Пеговым? Ну что она ему скажет: не смотрите на меня, бабы смеются. Так ведь это же чепуха. Ну, смотрит человек — ну и что? А может, у него горькая жизнь и никакой радости? А кому не нужна ласка? Может, он устал от вечных забот, от выговоров, от неурядиц в цехе? Как-никак, в цехе восемьсот человек. И работка тоже — одна печь стоит, у другой свод валится, у третьей кессоны прогорели — тоже не радость. А кто за все отвечает? Он, начальник цеха,— с него спрос. Еще я начну канючить: Никита Ильич, не смотрите на меня, бабы смеются... Тьфу, дуреха! Нюра облегченно вздохнула и рассмеялась.

— Эй! — окликнул ее Алешка Кленов.— Погодь-ка! — догнал. Закинул на плечо переноски и бухту электропровода — глаза шальные, вертючие.— Это ты мою бабу науськала?

Нюра сняла синюю хлопчатобумажную куртку, обшитую кармашками с блестящими кнопками, вытряхнула ее и снова надела, улыбнулась:

— Ну что ты, Алеша.

— Ох и зацелую я тебя за каким-нибудь углом — переполоху буде-ет... Да я шучу, шучу... Вот что: не учи ты Люську уму-разуму — сами разберемся. Ты тоже, поди, не знаешь, в какую степь бежать от такой красивой жизни, а? Полюби меня, убежим вместе, а? На руках носить буду,— замолчал. Побрел рядышком.— Слушай, княгиня, ты зачем живешь, а? Я вот себя все пытаю — зачем живу?

— Иди ты, Алеша, куда шел. И зря ты Люсю охаиваешь, она хорошая женщина — не для тебя, баламута.

— Ну вот, и жена не для меня,— искренне загоревал Алешка.— Кто же для меня, ты, что ли? Так через две минуты украдут...

— Алеша, если тебе хочется поговорить, приходи в обед. Я иду сейчас к шефу.

— Иди, дева, иди... Я ж не держу,— приотстал, сворачивая к своей мастерской.— Вот так и живем...

Вспыхнуло темное цыганское лицо Алешки, осветилось тихим светом. Нюра опустила голову. Ей почудилось что-то уж очень тревожно-горькое в его словах. Любит Алешка Люсю, ревнует и бьет. Как-то на складе Люська упала головой Нюре на колени и зашлась в пла-

че, а после в душевой, переждав всех, синяки показала и, взблеснув, как ножом, сухими голубыми глазами, отрезала: «Брошу я его, паразита. Зачем мне такая жизнь! То бьет, то на руках носит. Каторга!» Жалко Нюре и Люську, и Катьку, и Нину Павловну. Всех жалко. Их тридцать восемь у нее под началом. У каждой своя доля, свои печали. Иногда Нюра, пугаясь, думала: «Старуха я, что ли? Почему они рассказывают мне свои бабские тайны и ждут утешения или совета? Почему? Потому, что я мастер, что ли,— так и бригадиром работала, и раньше в табельной».

Этой весной Нюра явилась на цеховой первомайский вечер в темном платье, с кулоном на шее из хитрых железных завитушек, покрытых чернью, в золотистых туфельках. Волосы раскудрявила, на плечо выпустила.

— Ух ты-ы! — завистливо вздохнули девчата и почему-то застеснялись подходить к ней.

— Кто это? — спросил главный сталеплавильщик, хитро поглаживая висок. Ему сказали.

— Ах, это тот ребенок с трагическими глазами!

Нюре это передали, и она смутилась, танцевать отказывалась и все пыталась, не поднимая глаз, отойти куда-нибудь в уголок.

— Плюнь! — утешала Люська в перерывах между танцами.— У тебя, Нюруша, не глаза, у тебя — очи. Посмотри: Никита Ильич следит как? А Фофанов-то, бедный, измаялся — опять вон бежит на вальс приглашать. Очумели мужики. И мой Алешка прижух — сидит. Ай да Нюра! Так их, паразитов!

— Зачем же так? — слукавила Нюра.— Сами же говорите, что в наш век мужчин беречь надо,— краснея, рассмеялась и танцевать уже больше не отказывалась...

Перед тем как войти в контору, Нюра на мгновение остановилась. На газоне в густо разросшемся пырее мелькнул цветок василька. Окатило давно забытым, далеким светом детства, родными запахами деревни, ее вечерней тихостью. А приведется ли побывать там Нюре, она не ведала. Упала в душу светлая печаль, и захотелось поехать в те родимые края, походить, отдохнуть настрадавшимся сердцем.

— Здравствуйте, Нюра Павловна! — по лестнице спускался Фофанов, приостановился.

— Здравствуйте, Виктор Трофимыч!

— Я у секретаря оставил папку с карточками по тех-

нике безопасности. Твоего участка там же. Возьми. Проверь. Да почитай своим красавицам инструкцию. Ну, будь!

Как-то зимой, выгружая на морозе кирпичи из вагонов, женщины решили погреться — запалили огромный костер из стружек и старых досок. А в это время с Фофановым ходил инспектор по технике безопасности. Увидев костер, инспектор тут же оштрафовал Фофанова, потому что перед этим в железнодорожном цехе сгорело два вагона.

— Это я виновата, Виктор Трофимыч, снимите с меня премию,— сказала Нюра.— А женщины ни при чем. Не надо на них так кричать. Сегодня я им не говорила, что этого делать нельзя.

— Я бы с удовольствием,— Фофанов подошел к ней вплотную,— снял с тебя что-нибудь другое...

— Хам! — тихо, для него одного, сказала Нюра и, повернувшись, прошла мимо. Вначале он вроде бы ухитрялся мстить — ругал и задирал на оперативках по пустякам, а после отчего-то стал заискивать.

Поздоровавшись с Наташей-секретаршей, расписавшись в актах, приказах, Нюра забрала карточки и вошла к Пегову.

— Вот, садись, полюбуйся,— протянул ей бумаги.— Катерина опять у Волковой окна высадила. Придется товарищеским судом действовать. А у Карпушиной двое остались на осень и в школу глаз не кажут. Ты изучай, изучай вывихи своих подопечных.

— Уже изучила. Никита Ильич, Катерину пусть судит товарищеский суд. Женщины ее все равно не осудят. Ну, любит Митю, ну, ревнует... Наверное, когда любишь, то ли еще сделаешь... Хотя глупо, конечно, чужие окна бить,— слабо улыбнулась.

— Глупо,— кивнул Пегов и выключил вентилятор.— Так ведь и любовь-то бывает иногда... Вроде бы все не так, все глупо, а...— развел руками и страдающе улыбнулся.— Ничего не поделаешь. Нет любви, нет покоя...

— У Карпушиной я была, Никита Ильич,— повела Нюра в другую сторону.— У нее их пятеро.— И вспомнила их всех: рыженького, черняувенького, светленьких.— Трудно ей с ними. Все мальчишки. Давайте поговорим, может, двух-трех в интернат устроим. Уж больно она об них печется, а ребятишки не слушаются — избалованы...

— Хорошо, заходите после работы. Потолкуем. Ну, как жизнь? — негромко спросил он.

— В отпуск поманило. В степи. В края родные. Сейчас вон у крыльца на клумбе васильки увидела.

— Завидую я, что какой-то запыленный цветок поманил так далеко. Ах, завидую! — снял очки и закинул руки за голову. Стул хрустнул.— Счастливый ты человек, Нюра! — и посмотрел опечаленно усталыми покрасневшими глазами, и Нюре вдруг захотелось подойти и пригладить взъерошенный вихорок на макушке. «Нет, нельзя, наверное»,— подумала Нюра, вспомнив его визит, когда он ходил у нее по комнаткам, пил чай, купался в огороде под душем и что-то говорил о том, чтобы уехать...

— Ладно, Аннушка, иди. Устал я. Вот и потянуло на лирику. Иди. Мне к директору.

Нюра обошла свои бригады, выгружающие кирпич, заглянула на печь, вдруг да чего не хватает для ремонта, проверила карточки по технике безопасности и, взяв у художника таблички «Ответственный за противопожарное состояние т. Травушкина», отправилась прибивать их.

— Эй, княгиня, пошли вместе! — снова вынырнул Алешка.— Я на печь.

— Не по пути, Алеша, я — на склады.

— Помочь тебе? — Алешка пристроился рядом.

— Что ты! Я сама прибью.

— Начальству не положено.

— Я знаю, что положено, что нет. Ремонт. Все равно мне бы пришлось идти, допустим, с плотниками и показывать, где надо стукнуть два раза молотком.

— Мне бы такое начальство. А то вот сейчас прибежали с печи: свету под насадкой нет. Могли бы и сами сделать — нельзя, не положено. И тебе, между прочим, не положено молотком махать. Палец еще оттяпаешь, А Зоренька моя где, не знаешь?

— Соскучился?

— Да есть маленько.

— Мусор убирает твоя Зоренька под эстакадой.

— Ну ладно, я пошел.

— Давай, Алеша!

Алешка с печи не вернулся. Ударило током.

Нюра кинулась к Люське в мартеновский цех, где та со своими девчатами убирала мусор. Когда прибежала, Люськи уже не было. Она пыталась догнать машину, увозившую Алешку, и кричала страшно, потерянно.

А Олега и Пегова тотчас же вызвал Лавочкин, и Нюра поняла, что Олегу несдобровать — в его хозяйстве слу-

чилось. И неизвестно, что с ним, с Алешкой. Нюра представила, как Алешка с переносной лампой спустился в боров, где влажная жара, потому что в насадку льют воду, чтобы охладить кладку и ломать, где пылища и темень, где Алешке надо было сделать свет, чтобы каменщикам было видно, как сгребать в коробку лопатами мусор — обломки кирпичей, окалину, пыль. Два года назад на этой же печи оборвалась коробка в насадку — сгорели кронштейны лебедки. Оборвалась коробка и ушибла подручную каменщиков Люсю Потапову. За это помощника по оборудованию, властного, рослого дядьку, понизили в должности — перевели в другой цех механиком. Пегову объявили строгий выговор. Вот тогда-то и пришел в цех Олег Кураев. И поначалу Нюра не приглядывалась к этому новому начальнику — с ним она почти дел не имела. А так, что же, парень как парень, высокий, молодой, образованный. Гоняет на мотоцикле. И только раз за эти два года Нюра потанцевала с ним на поздней вечеринке после выборной кампании. Ничего, мило потанцевала и прошла мимо — не приметило сердце. Да еще в начале этого лета подвез он ее на мотоцикле, когда возвращалась с озера,— поломался автобус, и все пошли пешком к тракту, чтобы добраться до города на проходящих автобусах. Нюра тогда, не задумываясь, села на заднее сиденье, обняла Олега за талию и приникла к его спине.

Были скорость и колкий ветер, и была радость, от которой показался этот человек родным. Эта радость жила в ней долго, как живет память о нежданном госте — шальном снегире, который, обалдев от весенних ветров, вдруг слетел с ветки стылой рябинки и уселся на открытую форточку кабинета Пегова: вот, мол, я — любуйтесь и помните! В кабинете были Пегов и Нюра и больше никого не было. Пегов сказал: «Это на наше счастье! — рассмеялся, как мальчишка, а потом вдруг замолчал, посмотрев искоса на Нюру: — Нет, я ошибся, Аннушка, это на твое счастье!..»

А теперь вот, уже узнав, что Алешка будет жить, она все сидела за столом у себя в конторке, ждала Олега. Ждала вести, хотя понимала, что мера наказания решится, когда комиссия по расследованию несчастного случая составит акт, но акт актом, а для Лавочкина сейчас удачный момент, чтоб разделаться с Пеговым. А может быть, он уже знает, что Пегову предлагали его кресло, и не захочет плевать в колодец или, наоборот, постарается вну-

шить директору, что Пегов как начальник цеха несостоятелен? Сколько неурядиц в цехе. А что с Олегом? «Господи-и,— подумала Нюра,— я ломаю голову, кого из них снимут с работы, кому влетит выговор, и совсем не думаю, каково там Люсе с Алешкой. Лишь бы он был здоров, этот баламутный электрик, ревнивый муж Люси Кленовой, а все остальное как-нибудь образуется».

Нюра дождалась Олега.

— Ну что? — спросила.

— Три месяца — сто процентов премии.

— Ну и шут с ней, с премией.

Он промолчал. Нахмурившись, прошел к телефону. Набрал номер.

— Сейчас будешь дома? — спросил.— Я приду часа через полтора. Есть дело...

— Кто это? — чужим голосом спросила Нюра, услышав далекий женский голос.

— Знакомый юрист.

— Зачем он тебе?

— Значит, нужен,— отрезал и ушел, хлопнув дверью.

«Видать, крепко им попало обоим»,— решила Нюра и непроизвольно потянулась к телефону, набрала номер Пегова.

— Никита Ильич, это я — Нюра. Что Лавочкин?

— Ты где?

— У себя.

— Зайди ко мне.

У Пегова сидели парторг, Олег, механик, бригадир электриков, старшие мастера.

— Вот что, товарищи, хотите — идите домой, хотите — ночуйте в цехе, но чтобы к девяти часам утра у всех был порядок. Обход. Комиссия по технике безопасности во главе с Лавочкиным. Ясно? Все свободны. Останутся парторг, предцехкома и Травушкина.

Все вышли. Остались названные.

— Надо организовать дежурство в больнице. Денежную помощь жене. Кроме того, Нюра Павловна, освободи Кленову от работы... Включите ее в список дежурных. Оплата по среднему. Заготовьте приказ.

— Хорошо,— сказала Нюра.

— Товарищ Филиппов,— обратился он к предцехкома, маленькому, подвижному бригадиру слесарей, выдвинутому на эту работу после операции,— займитесь всем остальным, обговорите с парторгом у себя. Вы свободны.

— Я могу идти? — поднялась Нюра.
— Я разве сказал?
Нюра села. Пегов снял очки, крепко помял лицо и потянулся к столу. От графина с водой взял два стакана, налил газировки, протянул Нюре. Сам выпил одним глотком и вытянул руки на стол, опустил на них голову.
— Извини, устал. Если не затруднит, включи на самый тихий радиолу. Там Григ...
— Пожалуйста, я включу...— Нюра встала и, проверив, та ли пластинка на диске, включила радиолу на самый тихий и, чуть помедлив, вернулась на место.
— Что я еще могу сделать?
Пегов раскрыл пасмурные глаза, устало улыбнулся:
— Спасибо, Аннушка. Больше ты не сможешь мне помочь... Если хочешь, можешь быть свободной...
«Человеку с такой работой, как у него, нужна разрядка»,— подумала она и сказала:
— Все, что ни делается, Никита Ильич, все к лучшему.
— Господи, ты-то хоть не изрекай сентенций! — взмолился Пегов.
— Больше не буду! — пообещала Нюра.
Пегов закрыл глаза рукой и, покачиваясь, долго молчал.
— Я, пожалуй, пойду,— поднялась Нюра.
— Ах да, да,— торопливо сказал он, повернулся и толкнул ладонью окно. Потянуло прохладой, сумерками.
— До свидания, Никита Ильич!
— Да, да, до завтра!

Километр четвертый

Туман поднимался к насыпи медленно и осторожно, веяло от него сыростью и болотной прелью. Потускнели рельсы, замолчали сверчки. Нюра шла и вспоминала прошлый выходной.
В тот день с утра дождь замутил озеро, а после ненадолго взошло солнце.
Олег шагнул к воде, сел на гранитный окатыш.
— Садись, Нюра,— сказал.— Послушай волны. Подыши озоном. Знаешь, только я присяду вот так, сразу понимаю, что я букашка. Вот лежит он,— Олег весело пошлепал загорелой ручищей гладкий, холодный лоб камня,

поросший в трещинах зеленым мошком,— сколько он лежит здесь? Ужас! А что мы? Придем, уйдем... Миг...—Олег встал.— А давай-ка поедем вокруг озера, посмотрим сеть — должна быть рыба. И там найдем рогоз. Может, щуку поймаем, а вечером сделаем уху. Поедем?

— Поедем.

Ехали вдоль бережка, постоянно цепляясь дорожкой за траву и вспугивая притихших уток. Иногда останавливались, он разгибал голенища болотных сапог и, чуть приседая, метко прыгал с кочки на кочку по лабазам. Проваливался и брел в камыши, надолго исчезая там, выбирая самые красивые, бурые с проседью, шишки. А Нюра сидела в лодке, замирая, слушала шорох, бульканье, чавканье. Нюра была счастлива. После того как Олег нарезал и вручил ей букет бархатистых коричневых шишек рогоза, поехали чистой водой и пристали к берегу, пошли светлым, пнистым березнячком. Кое-где розовато-желтыми шапками красовались на пнях опята.

— Нарежем опят? — предложила она.— К вечеру нажарим.

— Давай,— сказал он и вдруг молча свернул в укромный, густой подлесок.

— Иди сюда,— хрипло позвал он, заглядывая в лиловеющий сумрак шалаша.

— Чей-то шалаш! — почти шепотом сказала она и тоже заглянула вовнутрь.— Тихо-то как! — и, ощутив запах сена, вздрогнула.

Над шалашом печально поцвиркивали птицы, с мягким шорохом падали еще редкие желтеющие листья, высоко и глухо урчал в небе самолет.

— Олежка, я тебя люблю,— решительно прошептала она, потираясь щекой о его опаленные губы. И, заглянув в его глаза, окончательно поняла, что она будет с ним на веки вечные, что бы ни случилось. И не потому, что она сказала эти слова, просто почуяла сердцем, что это серьезно и навсегда. И, боясь, что не вынесет этого счастья, она тихо засмеялась и, роняя голову на его руки, прошептала:

— Маленький мой, маленький...

Позднее они вернулись к берегу, где в камышах стояла лодка. Олег оживленно стал собирать дрова, а Нюра выбрала под кустами за ветром ровное место и поставила треногу, повесила котелок с водой для чая. Развела огонь из сухого камыша, намытого на берег в яроводье.

— Я за сетью,— оттолкнув лодку, сказал Олег.

Из камышей, со своих гнездовий, поднялись чайки и принялись хрипло, визгливо кричать над ним и ронять на лету белый помет.

Нюра подошла к воде и, встретив Олега, кинулась смотреть рыбу — там были золотистые караси и лини.

— Я вот этого карасика выпущу, он совсем маленький — одна голова. На уху нам хватит.

— Что-то ты вдруг стала жалостливая.

— Все счастливые люди, наверное, жалостливые.

— Ну давай твоего карасенка, отпущу в воду.

Олег снял котелок с чаем и, обстругав ножом несколько веток, стал готовить шашлык из карасей с чесноком и луком. Он ждал, пока караси подрумянятся, затем снимал их в тарелку и, полив майонезом, закрывал сверху и ставил на слабые угли.

...Нюра улыбнулась и, увидев, что осталось идти всего четыре километра, повеселела.

— Эх ты-ы,— сказала она луне,— все не можешь выбраться из-за туч. А я вот иду, иду... Шагаю..,

И еще вспомнилась Нюре другая ночь...

* * *

Весь день, вечер и ночь прошли для Нюры в беге вокруг печи, от железнодорожников на склады и обратно. И лишь под утро спало напряжение — разбрелись, кто в красный уголок, кто в разнарядочные.

Нюра еще сидела на скамье, положив рядом суконную куртку, а Фофанов, потушив свет, все ползал по длинному столу перед замызганными скамейками в разнарядочной. Он собирал папки с приказами, чтоб соорудить изголовье. Тут и вошел Пегов.

— Безобразие,— горячо сказал он.— Нюра Павловна, думпкары-то так и не поставили. Как ремонт, так ругань с железнодорожниками. Завтра буду директору докладывать...

— Не надо,— вяло сказал Олег Кураев,— давайте вздремнем немного. День будет ой-е-е...

— А я что говорю? — Пегов подошел к Кураеву, сел на теннисный стол.— Ну-к, подвинься.

Кураев поднялся, слез со стола.

— Куда ты?

— А я, Никита Ильич, ночью дрыгаюсь.

— А днем? — засмеялся Пегов.

— Тоже.

— Никита Ильич, может, мне сейчас сходить на станцию? — спросила Нюра.

— А, бесполезно. Можно утром.

Нюра встала, раскинула куртку на пол у батареи, легла. От батареи веяло теплом, пахло мокрой пылью, вымытым полом.

Когда проходил состав, здание подрагивало, качалось. Под окном стоял башенный кран, и, когда разворачивалась стрелка, в окно бил яркий свет прожектора, Нюра видела на стене разнарядочной стенд с плакатами: как нужно держать резак и куда бить слесарным молотком. А за стенкой шла реконструкция второго мартеновского цеха, строители работали днем и ночью — видать, тоже поджимал план.

«Надо заснуть»,— приказала себе Нюра и зажмурила глаза. Но стали наплывать то девятая печь и вся суета возле нее, то седьмая с обвалившимся сводом, то восьмая с ушедшей плавкой. И целый день — мастер туда, мастер сюда, мастера зовут во-он туда, а людей не хватает. Приехал директор.

— Товарищи, надо закончить девятую печь. Премию обещаю,— и как вертелся перед директором Фофанов, елейно говорил:

— Хорошо, Сергей Иванович, все, все сделаем... Не беспокойтесь... Сергей Иванович...

Нюре было стыдно за заместителя, отводила глаза и краснела. Директор собрался уходить из цеха, Фофанов приотстал и, делая важное лицо и закинув руки за спину, прошипел:

— Слышали? Чуть что, головы снесу...— и побежал вслед за директором.

Рабочие остались на вторую смену, мастера на третью.

— Тебе опять везет! — встретившись в пролете возле печи, сказал Олег.

— Почему везет?

— Говорят, тебе хорошую премию дадут.

— За что?

— Тыщи наэкономила за счет старого кирпича.

— Я всегда экономлю. Потому что каждый день хожу мимо отвала и вижу, чего только туда не сваливают. Что там тыщи! Миллионы завалили!.. Слушай-ка, мне мартеновский механик кран не дает...

— А этот что?

— Сломался. Он мне говорит: «Иди ты к рыжей Фене!» — и убежал. А мне надо подать на свод штырьки и пластинки. Там чуть-чуть осталось. Попроси его, а? Все равно же свое оборудование будешь убирать, а я тебе сейчас же пригоню платформу.

— Тогда попрошу.

— А премия, это хорошо! Лодку купим!

Он глянул насмешливо:

— Ну-у!..

— Лавочкин здорово ругал? — спросила Нюра, не заметив усмешки.

— Ругал — не то слово. Он ругать не умеет. Он — орет... Я тоже орал. «Во-он! Во-он! — он мне сказал, но «сказал» это тоже не то слово.— Ви-игоню-ю!» — он мне добавил. И меня из кабинета унесло, как осиновый листик. В акте записали: «Виноват пострадавший...»

— Олег, у тебя жена здесь?

— А что?

— Я была у твоих мастеров — просила слесаря. Зазвонил телефон. Я подняла трубку и спросила: «Кто спрашивает?» — «Кураева»,— она ответила. Я сказала, что ты на печи, и спросила, что тебе передать. «Спасибо! Не нужно»,— сказала она и повесила трубку.

— Это сестренка,— небрежно бросил Олег и шагнул было от нее.

— Да? — глядя прямо, но неуверенно, остановила его Нюра.— А где же она?

— Живет в Копейске. Наверное, приехала.

— Что же не познакомишь?

— Зачем? — резко глянул он. И было в этом взгляде то, чего не договорил он.

— Как-нибудь в другой раз,— торопливо пообещал он.— Ну, я пошел. Давай свои пластинки и платформу. Все равно мне нужен их механик...

«Зачем я его пытаю? Дура я, дура...» — бичевала она себя.

Опять прошел тяжелый состав, задребезжали стекла. Нюра перевернулась на бок. Ныли ноги. Убегалась. То нет одной марки кирпича, то другой, то пластин. Подают женщины по транспортеру сводовый кирпич — тяжело. Стала помогать. Забегала туда-сюда, от платформы к транспортеру — жарко стало.

Оборвал Фофанов:

— Что, на большее ума не хватает? А ну, марш на рабочее место!

Нюра выронила кирпич, медленно вытряхнула рукавицы и молча пошла к печам. Не годится Нюра в начальство. Где надо бы скомандовать, лезет сама.

Нюра подумала о том, что, наверное, Фофанов не так уж плох. Просто она, Нюра, чего-то не понимает в людях. Оттого, что стала много бродяжить, все свободное от работы время жить у озер, рыбачить, охотиться, оттого, что ушла в себя, в свое чувство к Олегу.

«Надо бы заснуть,— подумала Нюра.— Теперь бояться нечего. Верх девятой печи закончили на восемь часов раньше графика». Но не спится, Олег тоже не спит. И мысли о нем странные, тревожные.

Нюра стала задремывать, смутно прислушиваясь к голосу Фофанова, рассказывающего что-то пустячное.

Но вот кто-то зашевелился, встал, чиркнул спичкой. Нюра поняла — Олег. Он вышел. Чуть подождав, Нюра тоже встала и, бесшумно приоткрыв дверь, просунулась в коридор. Подошла к лестничному окну, решила смотреть: выйдет, не выйдет и куда пойдет, чтобы догнать, поговорить. Ей показалось давеча, в столовой, что он рассеян и что взгляд его какой-то отсутствующий. Ел он так себе, поковырял вилкой второе, выпил компот и вышел.

«И все-таки звонила жена»,— все больше убеждалась Нюра.

На душе у нее было смутно, зарождалась неприязнь к его жене, которую она видела лишь мельком,— шли с Олегом в кино, и она, жена Олега, прошла чуть в стороне, броская, рыжеволосая.

Нюра тогда позавидовала, потосковала, что как бы ни оделась, а все чувствует себя неуверенно и неловко. Наверное, привыкла к брюкам, курткам, ботинкам. И еще она тогда подумала, что никогда не научится ходить на высоких каблуках легко, свободно, как та, рыжеволосая.

Нюра глянула вниз, за окно. Да так и замерла. Олег сидел у входа, обхватив руками голову, раскачивался.

Качался перед дверью круг света, качались топольки, и чуть шумели опаленные дневной горячей пылью, а теперь отяжеленные слабой росой листья.

Олег все сидел. Внизу, в мастерских, слабо потрескивала сварка, где-то хлопали двери, сигналил кран, проходили машины, а он все сидел.

Нюра не сошла с места, не подошла к нему — боялась быть назойливой.

Кое-что о Кураеве

Конечно же, Олег ни на какую печь не пошел. Он сел у бытовки на скамью перед газоном, закурил. Просто он не мог уснуть на полу — не привык. И потом, он вдруг сделал для себя открытие, что его, как когда-то давно, снова потянуло к жене, к ее уюту, к сыну, который ни с того ни с сего спросил его вчера:

— Ну, как живешь, папа?

И тон, продуманные жесты, улыбки полетели кувырком, потому что он, этот сопляшник, семи лет от роду, непререкаемым тоном, улыбнувшись открыто и простодушно, спросил:

— Ну, как живешь, папа?

— Андрей, ты собирался погулять? Ступай! — И, недобро взглянув на Олега, Августа сказала, понизив голос: — Безотцовщина!

Олега удивило это откровение.

«У мальчика есть я,— говорила Августа при нем своим родителям.— Без отца? Что ж, не он первый, не он последний...»

Она была все такой же уверенной, элегантной, с чувством превосходства над окружающими. Дочка начфина областного управления милиции. Стояла в черных брюках и голубой вязаной кофточке, с обнаженными белыми руками.

— Ты все, милый, котуешь? Видела твою новую кошечку. Ничего, но — деревня. Мог бы подыскать поинтеллигентнее...

— Зачем же? Она меня любит, не в пример некоторым. И я ее люблю...

— Тогда что привело тебя к моему порогу?

— Только не ты.

Олег сидел в кресле, уронив руки на подлокотники, и смотрел вниз на новый дорогой ковер, на железный пистолет и пластмассовый автомат, валявшийся на ковре.

Что-то сдвинулось в груди. Но скоро все прошло, и Олег почувствовал только усталость, раздражение и сожаление, что пришел сюда. Зачем, для чего?

— Ты, ты...— задыхаясь и округляя темные глаза, закричала Августа.— Ты, ничтожество! Ты никогда не приходи ко мне, никогда. Я тебя ненавижу вместе со всеми твоими девками... Пришел, сына вспомнил... А там, на Севере, когда стрелял для своей Иволги белых лебедей, т-ты... Когда Андрюшка умирал тут, у меня на руках... Ты-ы, ты его вспомнил? Не-ет, ты убивал не серых, ты только белых убивал лебедей. На белую шапочку Иволге. Мне все, все рассказали... Ты эгоист, хлыщ... Немедленно уходи... Уходи-и! Как я тебя ненавижу!.. Почему ты сидишь?

— Не кричи! — морщась, попросил Олег, все так же глядя на ковер.— И хоть дома оставь свою профессиональную привычку — читать нотации.

— Да? — спросила она чуть не шепотом.— Я всего лишь учительница... И, конечно же, в шансонетки не гожусь. Я не Иволга. Вот что: я подала на развод! Слышишь? Чтобы никогда не видеть тебя... Никогда! Господи-и! Ты всю жизнь устраиваешься, как бы получше да поспокойнее. Ты предал Женьку Хохлова, своего лучшего друга, который верил тебе. Ты натравил его на директора института, а сам смылся. Механик или кто ты теперь? Какой из тебя механик? Что ты в этом смыслишь, кроме болтов да гаек? Что ты знаешь о жизни, что ты знаешь о людях? Ты даже родному отцу помог умереть... Да, помог. Старик бы сидел и сидел у озера, удил рыбу — жил, а ты со своей мамашей упрятал деда в больницу... Это вы сумасшедшие, а не он... Господи-и! Дед так любил Андрюшку! Вот был человек! А ты? Не-ет,— жестоко, мстительно сказала она.— Это надо же! Дед, который четыре года просидел в Освенциме! Всему есть предел... Да,— остановилась она перед ним,— а тебе-то я зачем все это говорю? Тебе ведь не до этого. У тебя девчонки, рестораны, рыбалка и еще ч-черт знает что... Тебе даже некогда было сообщить мне, что дед в больнице. Андрюшка так и не увидел его, не простился... Да что теперь,— махнула рукой и села напротив в кресло.— Жить-то как думаешь?

Олег молчал, якобы разглядывал игрушку-автомат.

— Что ты все молчишь, приходишь и молчишь? Зачем ты приходишь?

— Прихожу услышать твой голос.

— Утешил. Голос ты можешь услышать и по телефо-

ну... Ты прекрасно знал, что терял, а теперь что же — снявши голову, по кудрям не плачут.

Из второй комнаты, где была спальня, слышалась легкая музыка. И Олег вспоминал ночи в этой спальне, где над тахтой на ковре висела гитара, а на прикроватной тумбочке всегда стоял кувшин холодного компота или кваса, где стоял сделанный им подсвечник из уродливого сучка сосны и на веточке которого висел чертик со смешной и счастливой мордочкой. Хитрый чертик, он всегда все видел. В этой спальне Олег вот эту маленькую рыжеволосую женщину любил и звал нежно Ава, Авушка. И еще он вспомнил тот день, когда отец Августы дал им приличную сумму на приобретение мебели, как ездили на папиной машине по магазинам, выбирали и оплачивали, а после, расставив все в двухкомнатной квартире, тоже подаренной папой, неловко сели в кресла, и был тот миг, ради которого копошатся, экономят на хлебе, чтобы купить какой-то блестящий ящик и сесть вот так, посмотреть на него, на свою собственность. Но они не экономили и не копили, все, что было здесь,— все сбережения и усилия отца Августы. Расставив шкафы, тумбочки, холодильник и телевизор, у него не было радости приобретения. И сидеть тогда ему в новом кресле было неловко. Но потом пообвык.

«Каждый вертится и копошится в своем маленьком ничтожном мирке, вырывается и снова возвращается на круги своя»,— подумал Олег и взглянул украдкой на жену. И тотчас же вспомнил юг, теплые дожди, плавание на лодке и купание в море при луне, беседку с черным виноградом, где спали на поролоновом матрасе, ее мокрые волосы, жадный рот, томительную, сонливую темноту, неугомонную песню цикад, а днем голубой покой неба и море, море... Была ясность, счастье. Как все это забылось? Когда потерялось?..

Из комнатки все также текла мелодия вальса. Августа смотрела презрительно и холодно. Олег зачем-то сказал:

— У меня сегодня ударило током человека.

— И ты пришел мне это сказать? — В глазах мелькнуло не то сочувствие, не то испуг. Выпрямилась в кресле, напряглась.

— Да. И еще то, что меня лишат премии на три месяца...

— Ах, вон что тебя волнует! Как я радуюсь своей проницательности — ты действительно подонок! А я-то уж по-

думала — человек пришел с горем. Оказывается, у него не будет денег пересылать сыну, да к тому же не сможет отложить на книжку ежемесячно пятьдесят рублей, на машину... Я правильно тебя поняла?

— Почти.

— Не знаю, не знаю... Мы с Андрюшкой едем на юг...

— Хорошо, я сниму с книжки и принесу за три месяца.

— Я беру развод. И ты мне его дашь.

— Хорошо,— сказал он,— если он тебе очень нужен.— И, помешкав, добавил: — Хорошо. Всего тебе!..

Она тоже встала, пошла за ним к двери и неожиданно придержала рукой за плечо:

— И еще вот что: если у тебя есть какое-то, пусть еще немощное чувство к этой девочке — женись. Она, видать, тебя любит и будет вечно любить — святая простота! Не надо быть насекомыми, не надо быть подонками. Ради бога, будьте вы людьми! Я тебя очень прошу об этом. Я прошу не для себя, не для всех, которые у тебя были, и не для нее, которую я даже не знаю, может быть, она и прекрасная девушка. Я прошу для Андрюшки. Когда ты уходишь, он целует мне руки, и глаза у него не детские, и он говорит мне: «Роднуленькая, ты не плачь. Ты самая у меня пресамая... Я всегда буду с тобой и всегда буду тебя любить и слушаться...» Вот и все. Будь счастлив!

— Спасибо и на этом!

Он вышел, постоял у подъезда, высматривая сына, и, не увидев его, пошел к общежитию.

«Развод так развод. Наверное, так будет лучше,— подумал он.— Зачем, для чего меня, как завороженного, тянет взглянуть на пепелище? Что можно выцарапать из-под золы? Любовь? Но сколько ни тяни эту ниточку, все равно порвется, потому что где-то перегорела. Вернуться — снова будет ежедневный комок нервов — где был, с кем был, дыхни... А уйти навсегда, нет-нет да и заскребется тонким ноготком сомнение, и попробуй — спрячься. Почему мы идем туда, откуда надо бежать без оглядки?»

Олег не заметил, как подошел к общежитию, и, круто повернувшись и взглянув на часы, устремился к трамваю. Он уже знал, что поедет в поселок к застенчивой и диковатой девчонке, которая, быть может, спросит, а быть может, и нет: где был, с кем был? Он ехал трамваем долго и под стук колес мрачно думал и вспоминал о себе.

До войны было все так хорошо и был он настолько мал еще, что ничего и не вспомнилось. Отец — директор десятилетней школы в небольшом горном городочке, знаменитом на весь мир своим чугунным литьем, мать — учительница, и он, единственный, забалованный сын. О своем городочке он говорил так: «Я родился и вырос там, где бычьим стадом камни легли у синей стужи озер».

В войну отец на фронте, мать с утра и до вечера в школе — теперь она директор. Траву не ели, и в общем-то заметных перемен он не ощутил, война казалась далекой, и если бы не письма отца, то и нереальной. Но писем оттуда пришло немного. Последнее: «Пропал без вести». Мать горевала. Но скоро в доме появился отчим, а чуть позднее сразу два брата. С тех пор он помнил все четко, но как раз этого-то и не хотелось помнить.

Через десять лет после войны отец пришел чужой, больной и никому не нужный. С трудом устроился на работу слесарем в домоуправление. Мать встретиться и чем-то помочь отцу своего первого ребенка не пожелала. Нет. Нет. Как же — она директор школы. «У него было время написать о себе намного раньше,— говорила она, как бы оправдывая себя.— И тем более, еще неизвестно, где он был? Это чужой человек. Встречаться с ним — запрещаю...»

Олег вначале тайком виделся с отцом, но не было у него сыновнего чувства к этому человеку. Да он просто и не помнил его, а теперь стыдился — худого, бедно одетого. «Сынок, ты должен понять меня,— хрипло говорил человек своему сыну.— Плен. Я жил под чужой фамилией. Лагеря. Побеги... Скитания... Я всегда помнил о вас...»

Что он мог тогда понять, глупый, самоуверенный мальчишка? После, когда он уже учился в институте, вдруг в газетах стали печатать об отце — сколько он спас людей, скольким помог убежать из плена. Подвиг. Мужество. Геройство. И снимки, снимки... В книгах мемуаров стали упоминать работу подполья в лагерях под руководством таких-то... Кураев... Кураев... Ему вручили награды, восстановили в партии. Снова предложили работать директором школы — почет, уважение и раскаяние единственной, которая когда-то его отвергла. Примирения не получилось.

И лишь когда хоронили отца, Олег испытал некую неудовлетворенность собой — ведь могло бы быть все иначе, и был бы родной человек, к которому бы пришел, заранее зная его участливость, и сказал: «Мне худо, отец... Что-то я делаю не так... Живу не так...»

Колеса стучали. Стучались строчки поэта: «И про отца родного своего мы, зная все, не знаем ничего...»

И вот прошел день, вечер, ночь и скоро утро, а они все еще в цехе. День начался так никудышно, что тянуло послать всех к черту и уйти навсегда из этого цеха, от этих людей. Ему было противно ходить и выслушивать:

— Мусор! Здесь нет габарита! Кислородная будка? Убрать! В гараже — грязь!..

Так ходили часа два. Лавочкин то и дело поднимал указующий перст: «Убрать! За это штраф десять рублей! А вот за это пятьдесят начальнику! Да, да! Пятьдесят рубликов! И все сжечь! Немедленно!»

Возле склада горючих материалов, рядом со свалкой бракованных слитков, старых тележек, изложниц, доживали последний свой миг старые кружала и опалубки. Они лежали тут так долго, что в отверстия и щели успела прорасти и зацвести полынь, а сами доски пообвил вьюнок. В уголке одного кружала осталось уютное синичье гнездышко. И давно уже отпаровались птички, вывели горластых синичат, выкормили и отправили в мир странствий.

Лавочкин все говорил и говорил, а Пегов стоял перед этими кружалами, задумчиво смотрел на пустое гнездо. И казалось, что был он так далеко от всех этих людей, от пыли и грохота, от приказаний и шрафов, что Олег позавидовал ему.

«Чем живет человек? С утра до ночи крутится в цехе, вроде бы всегда бодр. Что же, в семье хорошо и — все понятно. Понятно ему. Понятно ей. Отсюда уважение, взаимопонимание. И ладится работа. А у меня? Ни дома, ни семьи. И работа опротивела — тошнит. Одно утешение — милая, добрая Нюра. Любит, видимо. Зачем? Что я ей дам?»

Так он думал утром, когда ходили с обходом по технике безопасности. Днем было тоже мрачное состояние,— хотелось кусаться. А теперь вот и вовсе. Что-то надо делать, не сидеть же тут вечно на лавочке. Скоро пойдут рабочие на пересменку, скажут, что это он сидит не у дела. Ему хотелось, чтобы кто-то сейчас подошел к нему, сел рядом, поговорил, успокоил. Где же она, добрая душа? «Я, наверное, сволочь. Морочу голову девчонке, а что, поди, она видела? Правда, такие деревенские девчонки крепки духом и непритязательны, они умеют работать, варить борщи, жарить картошку, любят полевые цветы, читают Тургенева и плачут, а чай пьют с блюдечек. Нюра, Нюра! Добрая ты душа. Жить-то как? Так и бегать изо дня в день на работу? Во-

зиться в смазке, в грязи? Нет. Хватит. Надо куда-то в институт, чтоб ежедневно в чистой рубашечке, с интересными людьми, с красивыми умными женщинами, чтобы — блеск, остроумие, карьера... А тут можно навсегда захиреть и пропитаться маслом так, что ни одна даже московская баня за неделю не отмоет. Да-а... Надо бы сходить на печь. Водопроводчики должны все закончить, монтажники разве что еще возятся с кессонами, а слесаря еще только что начали разбирать транспортеры и грузить на платформы... Что-то еще барахлил растворный узел. Посмотреть бы... Ну, да бог с ним. Ладно, пойду-ка я тоже подремлю чуть-чуть...»

Километр пятый

Нюра с улыбкой вспомнила, как увидела впервые завод, увидела Пегова. Нина Аринкина привела Нюру в контору цеха и оставила в коридоре. Из раздевалки шли и шли рабочие, все в одинаковых спецовках. Молодые парни оглядывались. Нюра стояла в коридоре, прижавшись к подоконнику, и, волнуясь, ждала Аринкину,— та беседовала с начальником цеха. Скоро Аринкина открыла дверь, позвала Нюру и ввела в кабинет, выкрашенный от пола до потолка бледно-голубой краской. Вдоль стен — стулья. На сейфе пышная герань. Пожухлые алые лепестки герани осыпались на белую салфетку. Нюра, увидев этот деревенский цветок, почувствовала себя легче и взглянула на человека за столом — он показался ей очень уж молодым для начальника и строгим, но глаза его за очками были добрыми, и Нюра успокоилась.

— Садись, Анна Павловна,— пригласил Пегов, читая свидетельство о рождении Нюры.— Два года до паспорта! — поднял голову от стола и посмотрел в угол кабинета, будто решая — брать, не брать.— Долго очень — два года...—глянул на Нюру.

— Долго,— согласно кивнула Нюра.

Нюре очень хотелось, чтоб этот молодой дядька, назвавший ее Анной Павловной, понял, что ей просто некуда деться.

Наконец он поднял трубку телефона и стал кому-то звонить:

— Я прошу оформить в мой цех девочку... Рассыльной... Лет? Скоро четырнадцать... Да. Нет. Да... Я вас очень про-

шу... А кто виноват? Да. Я обещаю... Хорошо, я вам это сделаю... Значит, можно ей прийти?..

Нюра, вытянув шею, ловила слова.

— Спасибо,— сказал кому-то Пегов и, положив трубку, облегченно вздохнул, снял очки:— Повезло тебе, Нюра Павловна. Иди в отдел кадров. К начальнику и обратно. Ко мне.

— Спасибо вам, Никита Ильич,— кинулась благодарить Аринкина и торопливо, словно боясь, что вдруг передумают, потянула Нюру за рукав к выходу.

— Спасибо!— успела промямлить Нюра.

— Ты не пугайся,— Аринкина ловила Нюру за руку — та шарахалась от любого шума,— это же завод!

— Теперь вижу, что завод,— радовалась Нюра и тормошила Аринкину,— что это, а это?

Аринкина добросовестно рассказывала и водила Нюру по цеху, со всеми здоровалась и мимоходом объясняла:

— ...Это мастер уплотнителей — Гаврил Гаврилыч Ларин. Дядька ничего, только плохого никому и добра тоже — сам для себя. Любит свой сад. Видишь, держится как фараон египетский — предцехкома. А этот старший мастер — Корнила Ильич Рябицев. Добрый человек, всех по имени-отчеству и инженер, говорят, путный, но уж если разведет тягомотину про охоту, скоро не остановишь. Вот-вот уйдет на пенсию, а на его место назначат во-он того, в новой фуфайке — Виктор Трофимыч Фофанов. Видишь, усишки отращивает...

— Вон идет Никанорыч, начальник смены. Четыре класса образования, а с ним советуются все. Рыженький, хиленький, а поди ты! Да, а в конторе баб не слушай,— поучала Аринкина.— Они друг на друга такое наговорят, и тут же: «Ах, Нина Сергеевна, ах, Мария Степановна!» Ты молчи — пусть себе тешатся... Говори: хорошо, сделаю. Да. Нет. Не знаю. Не видела. Не слышала... Поняла?

— Поняла, тетя Нина.

— Опять — тетя!

— Больше не буду, тетя Нина,— сказала и расхохоталась Нюра.

— Тьфу!.. А вон сидит на кирпичах, что-то очень уж понурая, Сима Карпушина. Лучшая бригадирша подсобниц...

Нюра повернулась в сторону пультуправления, увидела женщину в черном суконном костюме — женщина, как все женщины. Нюра и подумать не могла, что потом,

через несколько лет, она придет принимать у этой женщины бригаду. Карпушина повернется к своей бригаде и скажет:

— Пегов обалдел, что ли? Какой же из нее бригадир? Детский сад...

«Вот тебе и «детский сад»,— весело думала Нюра, все шагая по шпалам глухой дороги, по которой ходили старые паровозы два-три раза в сутки.— Хорошо-то как! Будут падать и уплывать листья, будут кричать усталые ветры, а эта ночь останется в моей жизни. Со мной. И так ли длинна эта ночь?— засомневалась Нюра.— И так ли уж горька была короткая, тихая жизнь? Было детство — не сахар... А сейчас, что же? Есть добрая работа. Девчата. И есть вот эта неизбежная дорога, в конце которой будет два счастливейших дня».

И повела Нюру память — в далекое горькое время.

* * *

В тот давний день, когда Нюра появилась в городе, с тополей опадали сухие сережки и хрустели под ногами. В знойном воздухе парил пух. Ребятишки ловили его, взрослые не зло отмахивались. У бараков с утра расцвела гулянка — слесарь Васильев пропивал неродную дочь Варьку, вертлявую рыжую девку. Был рад зятю, немного странноватому, но работящему парню. Захмелев, Васильев вынес на улицу баян и ловко стал шарить короткими пухлыми пальцами по клавишам:

Ты забава, ты забава,
Ты зачем забавила?
В ночки темные осенние
Страдать заставила...

— Ох ты, да эх ты!— озорно выкрикивал он. И белый венчик реденьких, пушистых волос вокруг лысой макушки сиял солнечным ореолом.

Подвыпившие бабы выбивали каблуками из потрескавшейся земли горячую пыль, суматошно кричали частушки. Голуби на ветхих сарайках беспокойно крутили головами.

Галька Бусыгина, соседка Васильевых, весело ходила по кругу с ведром в одной руке и с кружкой в другой, потчуя гостей бражкой, от которой, как назло, никто не пьянел.

— Ох и жгет!— притворно морщились мужики.

— Жгет, другу ждет,— ласково смотрела Галя и снова подносила.

Иногда Галя ставила ведро с утонувшей кружкой к ногам Васильева, топала жилистой ногой и добросовестно выкрикивала:

— И-их! Бабоньки-и!..

На тонкой шее набухали синие вены, смелела:

Я не выпила, не выпила
Нисколечко вина.
Это милова изменушка
Покачиват меня...

Молодые сидели чин чинарем на лавочке у окна барака: она в голубеньком крепдешиновом платьице с белым бумажным цветком в волосах, он в синем шевиотовом костюме — изнывали от жары и любопытствующих взглядов. Тянуть со свадьбой было некуда — на носу Варьки прыгали подозрительные веснушки, причину которых знала только мать Варьки, толстенькая коротышка Ульяна, с зырливыми, колючими глазами на усохшем завистливом личике,— она сидела рядом с мужем и считала, кто сколько выпьет: одного сахара пятнадцать килограммов, полмешка вермишели, два ведра винегрета да молодой поросенок — шутка ли!

На всю суматоху заинтересованно поглядывала диковатыми темно-желтыми глазищами несмелая девушка. Она сидела на фанерном чемоданишке, притулившись спиной к теплому, залатанному старыми дощечками боку кривой сараюшки. На девчонке были белые спортивные тапочки, натертые зубным порошком, и застиранное зеленое платьице с букетом тряпичных цветов у ворота. Девчушка, накрепко зажав в коленях узелок с гостинцами: пяток раздавленных яиц, свежие огурцы да моркошку и брюкву — жадно ловила голоса орущих баб, выискивала в них родной голос сестры, до боли и растерянности вспоминая свою деревню, избу, низкую печь с теплыми боками и кошку Настасью. И тот день, когда вышла в огород и хотела повеситься на хилом огородном кресте, на котором в желтых венках подсолнухов торчало пугало. Но передумала и пошла в избу и написала отчаянное, горячее письмо сестре Томке.

Из города мигом пришел ответ: «Сей минут,— размашисто писала сестра,— бросай все шмотки и жарь ко мне. Найдем и тут дело. Тамара».

В почерке сестры Нюра сильно усомнилась, но, подумав, что почерк может измениться, Нюра закрыла свою избу на ржавый замок, кошку отнесла подружке Нине, корову наказала доить Нининой матери, тете Маше, и, замирая сердцем, отважилась на поездку.

А перед этим, прочитав письмо, Нюра явилась к председателю, который двенадцатилетнюю Нюру устроил на работу посыльной и уборщицей в правление колхоза.

— Фаин Иванович, здрасте,— сказала она бойко с порога. Лицо у председателя вмиг стало багровым, и Нюра догадалась, что спорола чепуху. Вообще-то он не Фаин Иванович, а Фома Иванович.

— Ну,— неожиданно ласково сказал он,— чего шею вытянула, проходи.

Нюра крутила ручку двери, словно намеревалась вырвать ее, и соображала, что председатель сильно на нее в обиде — сынок его, двухметровый верзила Колька Выдрин, недавно ущипнул ее за интересное место и загоготал. Нюра не вынесла такого внимания к себе, поставила ведро с водой наземь и огрела Кольку коромыслом. На лоб парня выплыла румяная шишка. Фаина Ястребовна, мать Кольки, баламутная жена председателя колхоза, растрепав космы, с пеной на губах, прилетела вскоре бить Нюру.

— Только тронь!— зашипела Нюра.— Ошпарю!— и решительно кинулась к шестку, ухватилась за пустой чугунок.

Фаина Ястребовна выметнулась в ограду и на всю улицу обозвала Нюру бездомной собакой и прочими «красивыми» словами. Этому страшно обрадовалась Серафима, соседка Нюры, все еще ревновавшая своего расхристанного мужа к покойной матери Нюры, и еще потому, что перед этим Нюрина кошка Настасья поцарапала Серафиминой дворняге чистых кровей желтый нахальный глаз. Серафима высоко взвизгнула:

— И-и, люди добрые, ну и семейка шатучая!.. Всю-ю-то мне жисть изнахратили... мужика отманивали, на сына порчу нагнали... Теперь вот и собаку извели...

— К сестре я надумала, Фома Иванович.

— А полы за тебя кто мыть будет?

— Так я вернусь,— сказала Нюра.

— Тэк, тэк, тэк,— пощипал бурый прокуренный ус.— Ну, давай, катись на недельку... А тут пусть Серафима холку помнет, побегает.

И Нюра покатила — втайне надеясь, навсегда — из этих мест.

И вот приехала, загляделась на чужое, суматошное веселье, присела у сарайки, подозревая, что сестру ей сейчас среди бела дня не застать: на работе, поди, а до вечера еще ой как далеко! Нюра принялась тосковать о доме, о таинственных дебрях лебеды и конопли у маслозавода, о замкнутой речушке Курейке с темными, рясными разводьями воды, с илистыми ивняковыми берегами и о лучших временах, когда она была с матерью.

* * *

Родилась Нюра на покосе, за таловой стороной у речки, семимесячной. И рассказывала мать, что была у Нюры большая черноволосая голова да синие опухлые пятки. Сквозь кожицу просвечивали ребрышки. Мать Нюры, спрятавшись в таловых кустах на берегу речки, измученно смотрела на дите. Может, желала ей смерти? Нюра лежала на тряпке и судорожно кривила молчаливый рот да таращила еще мутные глазищи в длинных темных ресницах на голубое, веселое небо. Нюру спасли подбежавшие купаться бабы. Они отшлепали ее по заднице и заставили закричать, заставили жить. Своего отца Нюра не помнила. И фотографии у нее не было. Из того счастливого времени она явственно помнила шершавость напильников, ларь с инструментом, от которого вечно несло мышиным запахом. В то время сестра привязывала Нюру веревкой к ножке кровати, закрывала дом и убегала за ограду, на завалинку перед сиреневым садочком бренчать на балалайке. Тамаре, тогда десятилетней, нельзя было никак отвлечься от новенькой, звонкой балалайки. До сестренки ли, капризной и нелюбимой. Это было то время, когда не стало отца, когда двухлетняя Нюра умудрилась выпасть из окна. Были синяки, рассеченная губа и самый несправедливый суд — разбитая о пол балалайка сестры. И еще Нюра помнила безумный свой поступок. После него взрослые удивлялись и смотрели на Нюру пристально, будто пытались проникнуть в помыслы и душу ребенка. А Нюра смотрела на взрослых и упорно не отводила своих желтых, уже тогда диковатых глаз. День был ясным и очень снежным. Хотелось Нюре выбежать на улицу, схватить санки и взобраться на крышу колхозного овощехранилища и слететь с него да-

леко-о-далеко-о. Помешала пузатая кринка, полная сметаны. Мать поставила ее на стол, чтоб потом спустить в подполье. Нюра стояла у стола, держась за угол клеенки, и канючила, просилась на улицу.

— Сиди дома!— отрезала сестра и влепила увесистый подзатыльник.

Нюра кинулась на сестру с кулачонками и рванула за собой клеенку. Кринка со сметаной брякнулась на пол.

Нюру били. Нюре было четыре года.

— Господи, хоть утопись! Да за что мне мука такая? И продать-то теперь нечего будет...— причитала мать.— Что жрать-то будем завтра?

— Я сама утоплюсь!— перестав всхлипывать и тереть глаза, тихо сказала Нюра, с тоской глядя на белую лужу сметаны возле стола.— Не хочу я с вами жить. Не хочу...

— Иди, топись. Вон прорубь широкая,— сгоряча сказала мать.

Нюра молча натянула пальтецо и стала искать варежки. Варежки куда-то запропастились. Искала их Нюра долго. Тогда мать посоветовала погодить топиться, потому что без варежек идти до проруби холодно...

Возле поселка, обогнув его коромыслом и распоров глинистую корку земли, текли мутные воды Тобола с омутами, водоворотами. В жаркие дни ребятишки мутили воду у обрывистого левого берега, валялись на речном приплеске, правый — пологий, заросший кувшинками и красным лозняком, сразу переходил в сочные заливные луга. В гибельные весны войны этот луг, когда еще не выметывалась крапива и лебеда, был раем ребятишек — рвали дикий лук. Во время таяния снегов Тобол выходил из берегов, молочно мутнел, выбрасывая на берега дохлую рыбу, камешки, доски и бревна.

Иногда проносные воды подхватывали какой-нибудь легкий домишко с опавшими шторками, с трубой на макушке и несли его куда-то далеко-далеко, может, к морю.

Однажды весной, в половодье, она увидела беленький домик, который величаво, чуть скосившись, плыл по реке, а на коньке металась одичавшая кошка. И Нюра подхватилась и долго бежала вдоль берега и все звала: «Кис, кис, кис!» Кошка была, видать, глупая, в воду не прыгала. Вскоре берег кончился, только вода и вода, и домик с кошкой уплыл дальше, скрылся неведомо куда, а Нюра села у воды и заплакала, представив, как там, где-то да-

леко-далеко, будут еще долго кричать кискины глаза с крыши домика, звать ее, Нюру.

Недели через две вода заметно спадала. На прогалинах вылазила сочная травка, а почерневший лозняк окутывался в зеленую дымку. В низинах вода оставалась на все лето, зацветала и кисла. Ребятишки бродили в ней, вылавливали маленькими бредешками мелкую рыбу, а то с продолговатыми корзинками перебирались через Тобол на просмоленных плоскодонках (мост успевали поднять только к сенокосу) и выискивали в осклизших от осевшей тины кустах дикий лук с жестковатыми, как непросохшее сено, стрелками. Иногда им удавалось поживиться на маслозаводе. Прятались в высокой конопле, выглядывали, как зверьки, пережидали, когда хромой сторож Тихомолков отвернется, и резво выбегали к длинным рядам с холщовыми противнями, на которых сушили обезжиренный творог-казеин, хватали пригоршнями в подолы платьишек и рубашонок и удирали обратно в травы за колхозное овощехранилище. Поев, смеялись и принимались за игры. Сторож Тихомолков, точно дождавшись детского смеха, возвращался, шел заметать следы своего недоглядства. Единственной правой рукой, помятой в кисти, он ворошил творог и думал, видать, о своей семье, оставленной в пригороде Ленинграда в 1941 году. Поговаривали, что девочка его эвакуировалась с детским домом да и осталась в этом зауральском селе, на кладбище. Каждый раз, заслышав таинственные шорохи в лебеде, Тихомолков отправлялся на другой конец рядов. Обратно ковылял с виноватыми, влажными глазами и снова ворошил казеин. Ближе к осени поспевали овощи, и жизнь улыбалась детворе.

Так и росла Нюра, пока не ушибло ее горе. Разбилась мать, оступившись с крыши нового коровника. Коровник покрывали снопами камыша, а сверху обливали жидкой глиной.

Когда хоронили мать, Нюра шла за гробом. Тамарка почему-то не приехала, хотя ей посылали телеграмму. Нюра шла, опустив потемневшие диковатые глаза, изредка отмахиваясь от неутомимо летящих паутин — царило бабье лето. От дворов веяло запахом чеснока, укропа и горькой жженой ботвой. Выли бабы. Впереди, перелетая через дорогу от дома к дому, вились ласточки. На белых рушниках плыл гроб. Взглядывая туда, Нюра видела русую шевелящуюся прядку волос, руки матери,

когда-то гибкие, нежные, теперь поникло лежащие под чем-то белым, лицо с побелевшими веснушками, ставшее вдруг чужим, значимым. И не могла понять Нюра, зачем она идет, куда?

А после тосковала ночами.

— Пусти каку-нито девку на квартиру. Вовсе ведь одичаешь,— сочувственно говорили соседки.

— Нет,— отрезала Нюра и жила одна, мыла полы в правлении, а в зиму пошла в школу в пятый класс. Близкой родни у нее в селе не было, а дальняя не привечала. Этим летом Нюра ухитрилась работать еще и поденно на молокозаводе, на подхвате: то выгружать бруски брынзы, то ворошить сохнущий творог-казеин. Она задумала подкопить денег и купить новую фуфайку, а кроме фуфайки надо было запасти ботинки на осень. Сено колхоз обязался выделить и дров привезти. Да вот нежданно-негаданно накатила обида на Фаину Ястребовну, на соседку Серафиму. И оказалась Нюра в шумном, непривычном месте, притулилась к теплому боку сарайки и стала ждать скорого вечера. Хотелось есть. Развязала узелок и, зажав в руке огурец, робко хрумкнула...

— Галя!— прибежав с двумя сетками бутылок, позвала Нина Аринкина.— Вон у сарайки сидит какая-то кроха, шибко на Томку смахивает. Спроси-к, а я с Людочкой посижу... Похоже, сестренка, Томка-т узнает, что мы написали, орать, поди, будет, злюка она. Сама себя и то не любит. И где ее Юрка выхватил? Это надо же, о родной сестре: «Не сахарная! Подумаешь, обозвали».

Нина жила скромно. Уходила на завод, с завода в барак. Иногда, как великую роскошь, позволяла себе кино, остальное время нянчилась с Тамаркиной дочкой, вышивала, вязала кружева и круглые, цветные половички.

— Ладно, неси Ульяне бутылки, я счас гляну,— и, подхватив на руки из кровати пухленькую девчушку, Галя быстро вышла.

— Девочка, а девочка?— Галя принялась тормошить задремавшую Нюру.— Ты кого ждешь? Чья ты?

— Я к сестре... Тамаре... Здравствуйте, это я — Нюра.

— Так что же ты, Нюра, сидишь тут? А ну-ка пошли домой.

— Я думала, она на работе...

— Пошли, пошли. Вот бери-ка свою племянницу, давай чемодан. Людочка, ты не бойся, это твоя тетя. Ишь какая красивая тетя. Иди к ней, моя хорошая.

Нюра улыбнулась и протянула руки к ребенку.

...Засыпая на краешке Галиной кровати, она все же услышала, как кричала на кого-то Галя. Однако крик этот скоро забылся, приглох в радужной, нежной дреме.

Сестра, придя с работы и увидев спящую Нюру, скупо обрадовалась, разбудила, нерешительно приобняла и тотчас заохала, слезу выпустила, и не учуяла Нюра за всем этим теплоты, родной участливости,— непрочно все, неуютно ей показалось после своей избы в этой маленькой комнатке с четырьмя кроватями вдоль стен, с железной решеткой в окне. И Нюра стала пытать себя сомнениями, не зря ли поехала: у сестры теперь другая жизнь, девочка вон, до Нюры ли ей, если забыла дом, деревню родимую, мать. Может, так крепко устает на заводе, может, обидел кто и — оглохло сердце. А может, умная шибко стала. «Умные-то быстро черствеют»,— решила Нюра и слегка отошла душой. На лбу разгладились морщинки, и боль в глазах притушилась. Уселась на свой чемоданчик Нюра, руки в колени зажала — сирота горькая.

А Галя то копошилась возле электроплитки, отваривала вермишель, то все бегала в коридор, к соседям, унимая жениха, кричавшего:

— Стой, стрелять буду! Эй, слушай меня!

Жених ерепенился, рвал чужие двери. Варька, жена молодая, цеплялась, мягко упрашивала:

— Гена, Гена, успокойся!.. Ну, что ты! Ведь люди...

— Наплюй и забудь!— осмысленно отрезал Гена и истошно орал: — Стой, кто идет? — в его дымчатых глазах билось безумие.

— Высока у хмеля голова, да ноги жиденьки,— изрек слесарь Васильев и скорбно покачал головой.

Еще днем, когда Галя вела Нюру в барак, жених вдруг соскочил с лавочки, подлетел к Гале:

— Чья пацанка?— спросил.

— Сестренка Тамарина, а что?

— Да так... Похожа на мою сестренку,— и отошел, все оглядываясь. А вечером разбуянился, и мужики еле связали. Связывая, кто-то умудрился хватить по зубам, и парень плевался розовой пеной, кричал и все не мог угомониться:— Стой, кто идет?

Варька с банкой молока растолкала всех, завизжала:

— Не подходите! Не трогайте! Вы.., вы... Его немцы били... и вы...

И всю ночь кто-то бегал по коридору, кричал, и хлопали двери, а Нюра спала.

Дня через три Тамара отпросилась с работы, и они поехали в свое село, на родину, и продали избу, и коровенку, и мелочь всякую. И лишь старое зеркало с мутным пятном посредине от горячего самовара, вечно стоявшего на столе, книги да кошку Настасью Нюра упорно не хотела оставить и волокла за собой в город.

В городе, в рабочем поселке, далеко за металлургическим заводом, уговорились купить утлый, засыпной домишко. Отдали Тамарины долги, а на толкучке за полторы тысячи купили зимнее бостоновое пальто в талию с высокими плечами, с пышным мехом на воротнике. Тамара была в нем красивой. А еще приобрели детскую кроватку и шифоньер, ловко выкрашенный лаком, с зеркалом в дверце. На остальные деньги принялись шиковать, чай пили теперь только с конфетами — ягодной карамелью, варили духовитый борщ с обрезью, до хруста поджаривали вермишель на маргарине.

Освоившись в бараке, Нюра подружилась с Варькой. Варька была мастерица вышивать крестиком. Дома у нее все стены были увешаны картинками в рамках под стеклом: бегущие олени, цветы в вазах, кошечка, грустная Аленушка на бережочке.

Варька гордилась интересным положением и целыми днями сидела у барака на лавочке, вышивала. Иногда она звала Нюру с собой в лес. Уходили далеко, в места глухие. Варька старалась не очень-то наклоняться, собирала только цветы, а Нюра грибы.

— Ты зачем позволила ей все деньги на себя потратить?— строго спросила как-то Варька.

— Так ведь пальто одно. Мы скоро в дом свой переедем. Вот пропишут...

— А в школу в чем пойдешь?

— Я еще дома фуфайку купила.

— Квашня ты, Нюрка. Мои старики по ночам ругаются. Они думают, я не знаю, что не родная им? Знаешь, меня маманя отказалась взять из роддома. Может быть, непутевая была, может, так худо пришлось, что жизнь возненавидела. Только ведь давно это было, когда еще война и не снилась. И до войны откуда горе?

— А ты поищи ее. А вдруг да она хорошая и ей до сих пор плохо,— посоветовала Нюра с высоты своего житейского опыта.

Варька, быстро взглянув, облизала пересохшие губы и круто остановилась.

— Правда ведь! — заметила Варька, а после, отвернувшись, тяжело, по-старушечьи сгорбившись, пошла меж деревьев, по веселым полянам, по цветам и теням. Нюра ее не тревожила, собирала грибы и думала о том, как пойдет в школу, как станут они жить семьей в своем доме. Подрастет Людочка, вернется из армии Юрка — хорошо заживут.

И сама вот-вот подрастет и будет уходить с рюкзаком в леса, в горы, к озерам, как Генка Братишкин, муж Вари. Генка каждый выходной ездит куда-то к озеру и там плавает на яхте, потому что Генка родился у моря и сызмала ходил с отцом рыбачить. И теперь на Урале, видать, тоскует по тому теплому, далекому морю, по давней счастливой радости детства, бегает к стылым уральским озеркам, к яхтам.

Размышляя так, Нюра недоуменно остановилась на полянке. Из переплети коротких бледных травинок густо выглядывали розоватые шляпки волнушек. Грибы тянулись цепочкой, и Нюра пошла за ними и скоро вернулась на прежнее место. Грибы росли строго по кругу. Успокоившись, Нюра стала аккуратно срезать эти пушистенькие холодные грибочки — мал мала меньше — и нарезала их чуть не полную корзинку. Больше она не металась, не совалась под каждый кустик, села на траву и, попив из бутылки теплого квасу, стала ждать Варю.

Вернувшись домой за полдень, Нюра отобрала обабки и синявки жарить, а остальные, сбегав к колонке за водой, залила в корыто, стала их мыть.

Нина где-то гуляла с Людочкой, у нее был выходной. Помыв и прополоскав грибы, Нюра принялась укладывать и солить их в ведерную глиняную корчажку. После положила сверху чесноку и укропу, придавила плоским блюдцем, а сверху водрузила два кирпича из-под керосинки, утюг и снова принялась давить. Корчажка не вынесла тяжести, лопнула. Грибы растеклись по полу, разнося вкусную духовитость.

Нюра испугалась, упала на колени, стала собирать торопливо пригоршнями грибы и скидывать их в ведро. Дверь дернулась. Пришла с работы сестра.

— Эт-то еще что?

— Я... я посолить хотела... разда-ави-илась!

— Да ты что же это наделала, лихоманка паршивая,

а? — истово закричала сестра. — Корчажка-то Галина... И так живем в тесноте этой за спасибо... Бестолочь ты, бестолочь! — Сестра долго бранилась.

Нюра, увидев накалившееся злостью лицо сестры, замигала и принялась реветь, горько, со всхлипами.

— Замолчи счас же! — негодовала сестра.

Нюра так и сидела на полу. Ей становилось все горше и горше, слезы душили, не могли остановиться, опустошить горячую обиду.

— Замолчишь или нет? — и больно стукнула кулаком по голове.

Нюра не уклонилась, покорно смолкла. Лишь посмотрела сквозь слезы на сестру грустно, с укором.

Обе они не слышали, как вошла Галя.

— Ты что на нее орешь?.. За что ты на нее орешь? — На шее Гали надулись вены. — За эту дохлую кринку?.. Да провались она пропадом... Ты посмотрись в зеркало — с жиру ведь бесишься. А девка — сморчок, горе горькое... Ты только тронь ее пальцем, все глаза выцарапаю...

Чуть погодя спросила:

— Че взбесилась-то?

Тамара сидела на кровати, терла кулаком глаза. Нюра ползала, собирала черенки и все не могла остановить слезы, они падали на пол, и не унималась икота.

— Разряд сняли...

— Ну и что?

— Так обидно — сил нет.

— За что?

— Мастеру нагрубила.

— А он что, такой нежный?

— Нежный, только пришел. Культурный. Я детали точила. Он глядел и говорит: «Брак, Травушкина, чешешь!» А деталь как зеркало. Ну, я и сказала ему коечто...

— Ну и правильно. И нечего кукситься. Умойтесь хоть обе. Сейчас будем грибы жарить. Хахаль один вот-вот заявится — сватать...

— Да ну! — соскочила Тамара. — Ой, давай я хоть пол вымою. Неуж пойдешь?

Галя весело хмыкнула:

— А зачем?

— Так одна-то вовсе засохнешь. Все кто-то пожалеет, слово ласковое скажет. Много ли нам, бабам, надо?

— Ну-у, тебе-то...

— А-а,— прервала Тамара,— все не то. Все хохмочки. Юрка вот придет, зарегистрируемся, жить будем... Кому нужен чужой ребенок?

Тамара сняла тесное платье, накинула розовый халатик и, громыхнув ведром, толкнула дверь.

— За водой я.

— Давай! — разрешила Галя, разглядывая в зеркало свое длинное, худое лицо с добрыми веселыми глазами.

— Страшная! — заключила Галя и, ухватившись за пинцет, мужественно принялась выщипывать брови, взбивать жидкие волосы, колдовать над румянами.

Галя иногда устраивала парады сватовства, воодушевлялась, хорошела. Жениха называла на «вы». Радушно угощала, смотрела ласково на него, уже уверившегося, снимала пушинку с его горячего вздрогнувшего плеча и — отказывала.

— А я их всех люблю, — похихикивая, говорила она после и смотрела робко, покойно. — Этот пришел хороший, а может, другой-то придет лучше. Так зачем я ему буду изменять, хорошему-то?

— Тетя Галя, а он красивый? — помешивая грибы, спросила Нюра.

— Очень! Иди сюда, букашка, на́ конфетку, — вынула из сумочки. — Другую спрячь Людочке. А про корчажку забудь. Тут вся жизнь у многих на черепки разваливается — не жалеют. Дура Томка. Красивая, а дура. Ты, Нюра, умница, только береги душу, не давай оплевывать. Ни богу, ни черту, ни дьяволу. Ох, худо тебе придется. А ты потихоньку ожесточайся... Иначе пропадешь, заклюют... Ишь, Томка-то мастеру нагрубила, и хоть бы хны... Разряд пожалела... А что разряд? Тьфу!..

Когда-то у Гали была страсть. Немало таясь, она поворaживала девкам про женихов. Девки приносили ей конфеты, а то вынимали отпотевшие трояки из лифчиков. Трояки Галя не брала. Всем нелюбимым она проникновенно обещала скорое счастье.

— Да кто он такой? А? Какой такой прынц? Тьфу! Шибздик он!.. А ты-то, ты-то писаная королева! Да он у твоих пяток валяться будет. Чесслово! Ты потерпи чуть...

Но однажды Галю чей-то любимый угостил синяком, и сразу же всех как волной смыло. Мужа Галя не имела. Детей тоже. Себе на беду она имела добрую душу, да нешибко часто, но любила посидеть за веселым суматош-

ным застольем, попеть проголосные старинные песни. Галя всех привечала. Был ли то троюродный брат или родня дальней тетушки, а то просто чужой человек, какой-нибудь несмелый мальчишечка, растерявшийся в городской сутолоке.

Теперь в ее барачной хоромине — два на три — квартировали двое: Нина Аринкина, подручная каменщица, и жена племянника Тамара с маленькой дочкой. Племянник стерег границу, письма писал бравые и обещал вот-вот явиться на побывку.

Через неделю Травушкины перебрались в свой домик. Домик, утонув до окошек в землю, стоял у дороги, за бараками, в молодой березовой рощице. В домике было две маленькие комнатки, в них пахло сыростью, по углам ползали мокруши. Зато перед окнами веселилась грядка астр, маленький огород за ними, а в дальней сини грядой высился шлакоотвал и трубы завода.

День был ласковым. В рощице неслышно опадали пожелтевшие листья, в тенетнике грели на солнце свои бока серые глазастые пауки.

Нюра затопила плиту и стала мыть полы. Галя с Тамарой белили стены внутри, Нина снаружи. Все были довольны. Тамара уехала сюда загодя и встретила их с вином, хлебом и солью. Все выпили по стопочке и закусили травинками зеленого лука. Генка Братишкин отказался пить, сгрузил вещи.

— Мы с Варюхой в следующий выходной заявимся, — сказал он на прощанье и сунул Нюре кулек карамели: — Ждут меня на работе, — гуднул и укатил.

Кошка Настасья, обследовав свое царство, пушила хвост, горбила спину, терлась у всех под ногами, мурчала.

Вымыв полы, Нюра распахнула створки, чтоб быстрее все просохло, а Галя уже засуетилась, стала вешать зеркало и заносить чемоданы, табуретку, которую подарила сестрам на новоселье, железную кровать. Нина начала прилаживать на окна саморучно вышитые задергушки, кровать охорашивать. Потом все бросились за шифоньером, заволокли в горенку, установили.

И такая красота вдруг стала проглядывать, какая Нюре и не снилась. Не было лишь стола на кухне да кровати для Нюры. Но она тут же вспомнила, что в сенях стоят какие-то доски, даже щит какой или крышка. Метнулась туда. Точно, крышка с ящика. Как раз на стол. Нашла ведро с ржавыми гвоздями, напильниками, топор затуп-

ленный и ржавую ножовку. Выбрала из досок брусочки и, примерив к подоконнику, отпилила под него ножки. Когда застелили это сооружение скатертью, а после клеенкой,— то ничего, стол получился даже приличный и прочный, и все заахали, какая, мол, мастерица Нюра и хозяюшка. Они забыли, может, и не ведали, что Нюра давным-давно сама хозяйствовала там, в родном доме. Наверное, не ведали.

И так же неспешно принялась она строить себе кровать, и пока чистили и жарили картошку, огурцы мыли пупырчатые с собственного огорода, кровать была почти готова, и теперь Нюра ломала голову — чем ее умягчить. Матраса не было, и она представила, как бы хороши были здесь проданные в деревне перина и подушки.

— Ладно, матрас купим, — великодушно пообещала сестра, — а подушек у нас две, на ночь брать будешь.

Нюра согласилась, кивнула и, расстелив все старые тряпки и одежки, прикрыла свое ложе свалявшимся байковым одеялом. Но странно, ни обиды, ни сожаления она не испытывала.

Нюра была счастлива. Как же, у себя дома, под защитой старшей сестры, и пусть попробует сунется какой-нибудь обидчик — плохо будет. Вот скоро подрастет она, Нюра, выучится, расфуфырится, купит себе такое же пальто, как у Тамары, и наведается домой, в деревню, покажется, не жалко. Вот, мол, я какая стала.

Новоселье прошло отменно. Была жареная картошка, бутылка кагора, салат из свежих огурцов и кастрюля компоту. Долго пели длинные, грустные песни.

К вечеру Галя с Ниной собрались уходить, и Тамара отправилась их провожать.

— Закрой окна и двери, никому не открывай! — наставляла Галя, смешно покачиваясь. — А я, букашка, опьянела... Дай я тебя обниму, приласкаю, горькую мою...

Нюра потянулась, ответила на ласку, обрадовалась. Ой, как давно ее никто не голубил! Вспыхнула, смешалась Нюра и взяла на руки Людочку, маленького беззащитного человечка. И человечек прижался к Нюре, обхватил шею ручонками и тотчас опрудил.

А ночью Нюра ерзала бедром, устраивалась помягче на жестком новом месте, видела какие-то невнятные сны, куда-то бежала, догоняла кого-то.

Среди ночи ей вдруг показалось, будто лезет кто-то в окно — тягуче-нежно скрипнула створка. Нюра подня-

лась и подошла к горенке, поскреблась в замкнутую на крючок дверь, шепотом позвала:

— Том, а Том, спишь? Кто-то под окном ходит...

— Спи, спи, — недовольно буркнула сестра, — это ветер.

Этот ветер прижился у них в домике, иногда в полночь и под утро воровато топтался и вздыхал под окнами горенки.

Но не вышло, не получилось у Нюры жизни на этом новом месте. Осенью, когда подоспела пора идти в школу, сестра Тамара вздернула губу:

— Так я что же, тебя кормить стану да еще нанимать няньку? Сама я шесть классов кончила, и тебе ни к чему больше... И этого хватит...

Скорбно промолчала Нюра, а тут подвернулся случай, приехала погостить мать Юрки. Чернявая, верткая старушонка. Видать, приглянулось ей тут, выпалила:

— Давай-ко, сношенька, жить я у тебя стану... Поладим мы с тобой, шибко поладим... Ишь, как славно у тебя... огородик, цветочки. А это чья така хорошавка?

— Сестра, — суетливо-угодливо доложила Тамара.

— Ниче девка, ниче, справна... Обнимать уж можно... А робит-то где?

В тот же вечер Нюра собрала свой чемоданчик, оглянулась с порога и ушла в ночь. Сестра промолчала, не удержала, и куда она, Нюра, направилась на ночь глядя, не спросила.

Нюра, наплакавшись в поникших от росы травах в рощице у домика и поплутав по городу, явилась к Гале и, опустив к ногам чемоданишко, понуро встала у порога, накрепко прижав к себе, увернутую в платок, Настасью.

— Ты только не реви! — Галя вскочила с постели, одернула хилую рубашечку. — Не реви! Ну, ну...

— Нет, — сказала Нюра, — я вовсе не плачу, — и, выронив кошку, припала к плоской груди Гали.

Назавтра зашли Генка и Варя Братишкины и заявили, что они остаются жить здесь, в бараке, а старики получают комнату в новом доме и что она, Нюра, может запросто жить у них, Братишкиных. Правда, скоро маленький появится. Ну так что! Они будут работать, а Нюра домовничать.

— Я эту старую змеищу на порог не пущу! — гневно пообещала Галя. — И сестрицу твою тоже... Загубивицы несчастные...

— Ничего, Нюра, пойдешь ты в школу, не горюй. Мы с Галей тебе поможем. Вырастешь, расквитаемся, — сказала Нина Аринкина.

— Наплюй и забудь! — рубанул Генка. — Будешь жить у меня! Все слышали? — встал, длинный, худой, заходил от окна до двери. — Во-первых, у меня станешь учиться, во-вторых, я из тебя сделаю классного моряка и в-третьих, выращу и выдам замуж за порядочного человека. А, каково? — оглядев всех, рассмеялся и поскреб белесый чубчик.— Бабы, все за мной! Покормлю мороженым и свожу всех в кино... А, каково?

Километр шестой

В темном окне меж туч косо пролетела звезда.

— Это на счастье, — сказала Нюра, остановившись. Она, глядя в мглистое небо, подождала еще чего-то и улыбнулась, вспомнив племянницу. Люде нравилось мыть посуду, только всегда она что-нибудь разбивала.

— Мам Аня, это на счастье! — виновато говорила она.— Мы будем счастливыми-счастливыми! — жмурилась. А большие рыжие глаза в белесых ресницах были грустными.

«Вот уже и «мама Аня», — подумала Нюра, но звать себя так девочке не запрещала. «Ребенок, ребенку виднее, кто для него мама. Я ведь тоже когда-то звала Галю — мама Галя».

* * *

Оказалось, что свекровь у Тамары недолго была намерена оберегать семейный уют невестки — дождавшись ее с работы, шустрая бабка оставляла ребенка и, поохав, быстренько исчезала, якобы подышать свежим воздухом. Первое время Тамара безропотно прибирала в домике, готовила ужин, а так как Юра на побывку не приезжал и письма писать стал короткие и ленивые, а потом и вовсе объявил, что остается на сверхсрочную, — в один прекрасный вечер Тамара выгнала свекровь и явилась к Нюре.

— Я уезжаю к Юрке! — объявила она с порога.

— Зачем? — полюбопытствовала Галя.

— Просто так. В глаза заглянуть... А ты иди, живи

дома, — великодушно разрешила Тамара, повернувшись к Нюре.

Нюра сидела за столом. Не подняла головы — читала книгу.

— Вишь ты, одумалась! — невесело хмыкнула Галя. — Одна едешь или со свекровушкой?

— Не сдурела еще.

— Характером, значит, не сошлись! — сделала вывод Галя.

— Выгнала я ее, — призналась Тамара.

— Девчонку на ноги подняла старуха — не нужна стала? Так, что ли? — пододвинула ногой табуретку, — Садись, коли пришла. — Галя поджала губы.

— Это она-то подняла?

— Она, — подтвердила Галя. — А Юрка-то что, зовет?

— Не зовет и не пишет.

— Может, ему написали что-нибудь?

— Мир не без добрых людей! — вздохнула Тамара. — Ну, ты пойдешь, что ли? — снова обратилась к Нюре.

Нюра промолчала.

— Подумаешь, цаца! — стала распаляться Тамара. — Не сахарная, покуксилась, и хватит.

— Будешь уезжать, принеси ключи,— тихо сказала Нюра и спокойно посмотрела сестре в глаза. — Да, да... Ты, конечно, забыла, что я завтра получаю паспорт, а это значит, что меня придется тебе вписать в домовую книгу.

Тамара уставилась на Нюру.

— Если ты, — спокойно продолжала Нюра, — выгнала Юрину мать, значит, она придет сюда, к Гале. Куда же ей еще идти?..

— Ладно... Я к соседке... Обещала, — засуетилась Галя. — Я мигом...

— П-почем я знаю, куда ей идти, — оправилась Тамара после поспешного ухода Гали.

— А маму... Ты тоже вот так бы выгнала?

— Ты злая, завистливая, — тоненько запричитала сестра. — Ты и маленькая была злая-я... А меня никто никогда не любил. И мать меня никогда не любила-а...

— Что ты говоришь, Тамара? Мама, наоборот, всегда любила только тебя. И чему же мне тебе завидовать? Ты просто потерялась сейчас...

— Ой ты, мудрая какая стала! Вначале нос вытри, а потом учи меня жить! — вздернулась Тамара, но с табуретки не встала.

— Не злись, — попросила Нюра. — Может быть, тебе и вправду надо поменьше бегать по танцулькам?

Тамара, раскачиваясь на табуретке, подняла брови и стала хохотать. А Нюра смотрела на красивое лицо сестры и медленно говорила:

— Да, очень весело... И жила ты весело. И ты никогда не знала настоящего горя...

— Книжечки читаешь,— прервала Тамара. — Ну, ну, читай... — В этой язвительности были растерянность и недоумение.

«Плохо ей,— подумала Нюра, — и, наверно, впервые... Может быть, сейчас, как никогда, ей нужна помощь, а чем я смогу ей помочь?» Удивила растерянность сестры, но ни жалости, ни обиды Нюра к ней не испытывала, но и родственных чувств не было, и Нюра удивилась своему равнодушию. Но что-то томило ее, и Нюра искала причину этой тревоги.

— Ты Люду берешь с собой? — вдруг спросила Нюра.

— А куда я ее?

— Оставь со мной,— предложила Нюра.— Ей-то зачем маяться?..

Девочку Тамара оставила с радостью. И даже прописала Нюру в домике, взяла отпуск и поехала к мужу. Да так и не вернулась.

* * *

А вчера, возвращаясь с работы, Нюра застала Люду возле болотца-лужи около лесочка за домом. Девочка сидела на корточках и что-то рассматривала.

— Что ты там делаешь? — спросила Нюра.

— Я — бдю.

— То есть как «бдю»?

— А вот сижу и сижу, наблюдаю и наблюдаю. Уже давно... Мам Аня, из воды вылезла большая черная букашка. Она влезла и зацепилась вот за эту картонку, и у нее лопнула голова, то есть не голова, а кожа на голове. И оттуда полезла зеленая большая букашка. А я все смотрю и смотрю... Она потихоньку растет и растет...

— Кто растет?

— Из черной букашки — зеленая... Потом она стала похожей на стрекозу, и у нее стали расти и расти крылышки. И вот она сидит, отдыхает, — она устала расти... А кожица упала и, пока я бегала во-он за тот большой камень, ее унес ветер.

— Так что же ты сидишь? Встань, и пойдем домой.

— Я жду, когда она полетит...

— Она не полетит. Ты же говоришь, что она устала расти. Значит, теперь она будет отдыхать долго.

— Так она же так быстро выросла из этой букашки! Почему она так быстро выросла?

— Людочка, это личинка стрекозы. Весной взрослая стрекоза оставила на мокрой травинке яички... Солнце пригрело, потеплела вода, и из яичек вывелись маленькие букашки-личинки. Они ушли жить в теплую воду...

— А почему в воду?

— Она боялась, что ее склюет синичка или другая птица.

— А почему она не утонула?

— А она плавала в воде, ползала по дну и отдыхала на травинках, иногда, наверное, всплывала, чтобы подышать свежим воздухом и посмотреть, куда ей ползти, когда подрастет...

— А разве когда подрастешь, можно увидеть, куда надо идти?

Девочка, все так же сидя на корточках и серьезно глядя снизу вверх в лицо Нюры, ждала ответа.

— Конечно, можно,— сказала Нюра и, присев рядом, стала рассматривать толстую лупоглазую стрекозу, добавив: — Можно мечтать, как вырастешь, закончишь школу, институт... Потом поедешь в тайгу, на Камчатку или на полуостров Ямал... Маленькая моя, — обняла,— пойдем домой. Пора ужинать.

— А если ее опять унесет ветер?

— Нет. Она сама же и вылезет на ветер. Ветер обсушит ей крылышки и поможет взлететь...

— Так она улетит, и я ее не увижу. Ты иди, мама Аня, а я посижу... Недолго. Надо же ее сберечь, а то кто-нибудь склюнет...

Сидела она там долго и пришла довольная:

— Мам Ань, стрекоза устала сидеть, сползла и спряталась в пучке травы...

Нюра миновала еще один узкий распадок, затопленный туманом, и обогнула низину с болотцем, оттуда — нет-нет да и слышались полусонные вскрики уток, а горький запах тумана, увядающих трав и листьев все еще плыл за Нюрой.

От этого запаха вспомнились ей дни и ночи, когда Олег приходил к ней поздно и тихонько стучал в окно.

Она, испуганно-радостная, открывала створки. Забравшись на подоконник, дарил ей букеты таволги, шептал что-то смешное, целовал.

А сейчас от тех воспоминаний и от горького лесного запаха было грустно. Нюра все более замедляла шаги... Невыносимо больно стали резать плечи лямки рюкзака. С горы со стороны леса вдруг послышался смутный, нарастающий шум. Что-то большое и сильное ломилось сквозь кусты. Это «что-то» вот уже, вот совсем близко, тяжело дышало, сопело. И, выметнувшись на насыпь, вытаращилось на Нюру. От неожиданности она шарахнулась в сторону и оступилась с насыпи. Словно сорвалось и покатилось в пустоту сердце. Обжигая о гравий коленки, с ужасом взглянула вверх — темно-серое рогатое чудище тоже шарахнулось в другую сторону и, прошумев о шпалы, скрылось. «Лось!» — догадалась Нюра. По телу побежали мурашки. Стала торопливо взбираться наверх. Горели ладони, и саднила коленка. Взобравшись на насыпь, почувствовала, как что-то потекло по спине. Сняла рюкзак — разбитая бутылка пива. Выкинула осколки. Постояв, тупо пошла дальше. Но идти она уже не могла. Сейчас хотелось одного — скорее бы кончилась эта дорога, скорее бы добраться до места, упасть и уснуть.

Колесо

Нюра прошла под эстакадой, заглянула к печам — не греются ли там девчата, а то завели моду: чуть похолодает, бегут к печи, жмутся возле нее, там и беды и радости свои поведают друг другу. Но теперь-то в такую жарищу чего ж у печи сидеть? Нет бригады Кленовой в столовой. Надо было ехать после обеда на склад, а девчат как ветром сдуло.

Направившись к калитке северных ворот, услышала приглушенные голоса за штабелями кирпича, заглянула. Сидели двое рядышком на ворохе стружек. «Воркуют»,— хмыкнула Нюра, но что-то заставило ее прислушаться.

— Я ведь тебя, Афоня, забыла уж — не виню. Парень твой растет. Разве я тебя укорила когда-нибудь за то, что чужую ты воспитал, а его бросил? Нет, не корила... Парень не сирота — при какой ни на есть, а матери,— горько говорила пожилая женщина пожилому мужчине.— Так зачем же ты бередишь, укоряешь меня

блудней? Это не я, это судьба мне такая досталась — все одна и одна. Поневоле потянешься к кому-нибудь... Да снова не тот. А того-то, о котором думала, весь век так и не встретила на тропочке...— Нюра узнала по голосу Симу Капушину и не смогла сдвинуться с места. Надо было увидеть и узнать того, сидящего спиной к ней, в черном костюме, в каске, чтобы потом когда-нибудь заглянуть в глаза ему и попробовать понять, что же за человек он, коли чужую воспитал, а своего, единственного сына бросил. «Это которого же?» — стала раздумывать Нюра.

— Давай, Сима, жить будем. Я ведь все Ульяну жалел. Ты крепкая, привычная, а она бы растерялась без меня, пропала... А теперь что ж — нет Ульяны...

— Батюшки, да это же отец Варьки! — ахнула Нюра.

— Это бы твоя Ульяна пропала? — сдержанно усомнилась Карпушина и холодно рассмеялась: — А знаешь ли ты, что она единственное пальто на мне сожгла кислотой, знаешь ли ты, что у твого Вовки на всю жизнь метка? Вырастает Вовка, какая хорошая-то полюбит его с красным пятном на лице? Уж не знаю, кому она тогда хотела выжечь глаза, мне ли, ему ли?.. Нет, Афоня, такие, как твоя Ульяна, не теряются... а я что же... Да, я сильная, да, я крепкая... Для детей своих, для глаз чужих... От себя да от любви не убежишь, не спрячешься... Не таю я зла на тебя. Что могло получиться — не получилось, а теперь что же? И кровь увяла, и головы отцвели... Ну вот, поговорили, как чаю напились,— сказала она, вставая.— Робить надо идти...

Нюра торопко шмыгнула за ворота.

«Вроде бы и все знаешь о человеке, а на самом деле — ничего не знаешь»,— ужаснулась она и тотчас увидела свою затерявшуюся бригаду. Женщины нежились на солнышке за цехом под спаленной зноем, обдерганной рябинкой, сидели кружочком, расстелив газеты, обедали. Увидев Нюру, Люська что-то суетливо прикрыла газетой.

— Что у вас вкусное — прячете?

— Нюра Павловна, мы пьянствуем! — выпалила Люська.

— А что за праздник?

— У Лешеньки мово день рождения сегодня,— потупилась Люська.— Вы ж ко мне не пойдете, у той ребятишки, у той дела. В общем, не ругайся — мы по напер-

стку красненького. А что? Пиво ж продают в столовой. И это водичка. Счас так начнем кидать кирпичи — ахнешь.

— Ладно, не заговаривай,— улыбнулась Нюра,— открой-ка чуть,— и обидчиво скривила губы.

Нюра наклонилась, отогнула газету, и все дружно расхохотались. Под газетами грелись бутылки с кефиром.

— Шуточки, Люся... Ну, а как Лешка?

— Все, я ему сказала, отбегался, отмахался. Теперь лежи и не мыркай. Лежит радость моя.

— Бутылочку не просит? — полюбопытствовала Нюра.

— Ох уж, скажешь — три года назад выпил, до сих пор пьяница. Он стал теперь такой ласковый, такой ласковый... Прям загляденье,— и счастливо затормошила сморенную зноем ладненькую бабенку в спортивном трико, в ситцевой голубой кофтенке с закатанными рукавами.— Феня, Феня, хватит спать...

— Люся, так ведь спать — не устать...— сладко потянулась Феня и положила светлую голову к Люське на колени.

— Вот, Нюра Павловна, полюбуйся, что делают.

— Говорят, на днях Митя Супонин явился к своей Катерине,— сминая слова и захлебываясь смехом, заговорила пожилая, плотная Настя Козина,— приполз где-то под утро и упал на кровать, стал маяться похмельем. «Феня-я, а Феня-я! — затосковал Митя,— поцелуй, может, полегчает...»

— Этак Катьке-то?

— Ну.

— Оха-ха!

— Ха-ха-ха!

— Ой, лихонько!

— Так я-то при чем? — насупилась Феня.

— Дак кто ж виноват, что Митя спутал Катерину с какой-то Феней,— скромненько изрекла Настя, вытирая кулаком веселые слезы.

— Девчата,— Нюра подняла на них ласковые глаза,— после обеда надо срочно возить кирпич с центрального склада. Будут две машины. Там вагон... Иначе задержим ремонт печи.

— Вручную? — стала выяснять Люська.

— Вручную.

— Тяжко,— вздохнула Настя и жалостно посмотрела на свои руки.

— Зато там рябиновая роща. Ягоды оранжеветь начали — загляденье! — пообещала Люська красоту.

— Ну, разве ягоды... — согласилась Настя.

— Вы только там погрузите и — домой, а здесь комсомольцы разгрузят.

— Так-то, Нюра, лучше,— одарила Настя потеплевшим взглядом,— а то ведь подымай-ко на машинищу.

— Смотри-к не надорвись,— ожгла взглядом тихонькая Феня.— По два кирпича вечно трогаешь. Вон Агата — ветер потянет — упадет, а больше тебя ворочает.

— Верно, и канючишь, и канючишь,— поддержала Люська,— вон как в своем-то саду лепишь — любо глядеть.

— То в саду...

— А тут что, задаром или дяде в карман? — распалилась Люська, вставая.— Кто из вас, бабы, в обиде на заработки? Вот, здесь Нюра... Кто-то из нас за глаза-то, да за уголком ши-ши-ши... Травушкина такая, Травушкина сякая, а чуть что, путевочку ли, место ли в садик — Нюра, Нюрушка... Нюра Павловна, ты иди, мы тут разберемся... В своей семье не без мусора. Где машины?

— У конторы.

— Вот мы счас туда и прикатим. А ты, Нюра Павловна, иди, иди, — распорядилась Люська, недобро оглядывая свою бригаду.

Нюра повернулась и тяжело пошла мимо сортировочной площадки, мимо состава с изложницами и оржавевших слитков, заросших высокой лебедой, полынью. Что-то сделалось у нее с глазами — набухли и отяжелели веки. Давно ее не тянуло так вот кинуться в дебри травы, спрятаться там и пореветь, как совсем недавно, может, года два, три назад. Вначале, когда привела ее в этот цех Нина Аринкина и устроила рассыльной, что ж за работа — туда сбегала, сюда сбегала — все довольны Нюрой. А Нюре интересно было узнать завод — любопытно же, вот гудит что-то, гудит в печи, а потом на́ тебе — подставят желоб, подставят огромный ковш — сталевар тык-тык ломиком над желобом, отскочит — и сразу плюхается в ковш оранжевая струя. Летят искры. Все становится розово-красным. Потом стала Нюра работать табельщицей. Проработал человек на печи смену, всю силу, все мысли там оставил, а на бумаге лишь завиток — восьмерка. И весь день у Нюры перед глазами восьмерки, восьмерки. Прогуляет какой-

нибудь оболтус — Нюру ругают, ищет его Нюра, бежит в общежитие. Хорошо, если просто заболел, а то подрался, порезался, мало ли что могло быть.

Мальчишки-каменщики были все из ФЗО. За их показной лихостью Нюре виделась липучая, неотвязная тоска по далеким, родным местам. Большинство мальчишек ничего, кроме как работать, не умели, денег до получки вечно не хватало. Иногда Нюре попадало: то потеряется наряд, то неправильно закроет табель.

— Ишь, цацы конторские,— ругались бабы, озленные тяжелой работой.

— Укокошили бы свою силушку, не так запели б.— И уже какая-нибудь за дверью прыскала:

— Хи-и, а расчетчица-то на подушечке восседает. Надо же, пух мнет...

Слушала Нюра, слушала — ну какая же она цаца, обидно, сил нет. Иногда поревывала, да и сбежала к подручным каменщиков. Ничего, приглянулось там Нюре — тяжело, да весело. А потом, позднее, приняла у Карпушиной бригаду.

Нюра вошла в полынь по вихлястой тропочке. Неожиданно для себя села на слиток и посмотрела сквозь дрожавшие ресницы и мгновенную черноту от блеска солнца вверх. В небе высоко-высоко под горячим солнцем висели реденькие хлопья облаков. В зыбком раскаленном мареве над травами весело плясали серебристые пылинки, а над макушками мреющей полыни юрко перелетывала молодая трясогузка. Нюра потрогала ладошкой, погладила ржавое колесо тележки, отбегавшееся по звенящим рельсам, теперь уютно привалившееся к ржавому неуклюжему слитку, какие, весело крутясь, возило на своей спине долго-долго. Открутилось колесо, отжило. Потом когда-нибудь его заметят и погрузят в вагон, отвезут и бросят в печь, там оно растает, а после, может быть, снова оживет молодым колесом.

Нюра размяла в ладонях ветку полыни, прижала к лицу и улыбнулась себе, вдруг ощутив радость жизни и жизнь всего тела, поняла, что сколько бы ни горевал человек — жить все-таки уютно и хорошо! Думалось ей сейчас светло, умильно. Хорошо вот так, набегавшись за день с утра по печам и участкам, выгадать себе десять минут и лечь на угревшийся на солнце слиток, поймать взглядом в дрожащем воздухе какую-нибудь сверкающую пылинку, или причудливое облачко в знойной бездне неба, или заметить

круглый, бледный листик копытень-травы, ухитрившийся выбраться из-под усталого колеса, ожить, почувствовать теплоту своих пальцев, с помощью которых листок выпростался из-под сухой дудчатой ветки белой мари.

Хотелось Нюре лежать вот так и лежать, смотреть на эти истомленные теплом высокие травы, слышать за толщей теплого воздуха далекие голоса паровозов, мирный гул близких цехов, цвирканье воробьев и трясогузки над головой и радоваться, радоваться своей жизни, этим милым неуклюжим птахам и бледному росту копытень-травы из-под тяжелого колеса. «Конечно, в жизни много суеты,— подумала Нюра,— но пусть сквозь эту суету навсегда останется это ясное небо и этот слепящий свет». Она радостно рассмеялась, шлепнула слиток. От взметнувшейся пыли качнулся перед глазами сочный, с седым налетом листок белой мари и взлетела куда-то из-под листьев бело-желтая бабочка.

Нюра встала, пошла к конторе и увидела бегущего навстречу худенького паренька.

— Нюра, Нюра! — кричал он, взмахивая забинтованной рукой.— К начальнику! А Фофанова не видела? — сравнявшись, спросил он.

— Фофанов на печи. А что такое?

— Не знаю... вызывает,— и побежал дальше.

Собравшиеся на совещание к Пегову уселись чинненько вдоль стенок на хрупкие полувенские стулья и в ожидании (Пегова задержал главный сталеплавильщик) принялись говорить о деле, о новостях, рассказывать анекдоты.

Кураев подсел к Нюре.

— Олег Николаевич, ваши орлы опять отличились,— повернулся Фофанов к Кураеву.— Иду я, а за углом бытовки красят ацетиленовый аппарат. Спрашиваю — что такое? Радешеньки — плохо лежал, говорят...

— Знаю. Я им подсказал где.— Кураев доверительно улыбнулся.— Зачем такому добру пропадать. Две недели валяется у дороги. Наверное, строители бросили.

— Ой ли! — покачал головой Фофанов.

— Ей-бо! — перекрестился Кураев.

— Не зря все говорят, что у Кураева нет только птичьего молока. А нет — украдут.

— Все до поры до времени...

— Правильно делают... С него работу спрашивают. Я сегодня вон тоже бухту шлангов у мартеновцев украл,— сознался мастер уплотнителей.— Потому что нечем рабо-

тать. А отдел снабжения не дает. Только Пегову не проговоритесь — ругается...

— Дорогие вы мои, хорошие! — расчувствовался Кураев.— Да если я не буду воровать, все наши машинки встанут... А с тем, что мы имеем, даже бабушка моя б взвыла... Она бы плюнула на нашу фирму и забыла...

Вошел Пегов, все умолкли. И молчали, пока он снимал каску и вешал ее на рожок вешалки, пока шел к столу и отодвигал стул, собирал на столе бумаги.

— Олег Николаевич, как вентиляторы?

— Вертятся,— сказал Кураев и подмигнул Нюре.

— А раньше не вертелись?

— Кабель порвался, а дежурный электрик был в другом мартене,— сказал Кураев и отвернулся к Нюре: — А, ну его... — прошептал.— Опять завел бодягу... Так вот слушай, расскажу тебе...

— Травушкина, что с шамотным кирпичом? — спросил Пегов.

— Те вагоны, что мы ждали, еще в пути. Будут завтра... Никита Ильич, я прошу прощения, я забрала, не предупредив вас, обе машины и сейчас отправила с людьми на центральный склад. Есть там немного шамота...

— Молодец! Спасибо!

— Но... У меня еще просьба,— сказала Нюра,— эти две машины здесь разгрузить и доставить на печь у меня некому. Хорошо бы комсомольцев...

— Будут комсомольцы! Будут, Виктор Трофимович? — посмотрел на Фофанова.

— Можно.

— Давай-ка организуй в распоряжение Травушкиной...

— Так, у кого какие претензии к нашим снабженцам?

— Три месяца прошу вентиля,— сказал Кураев, рассеянно заглянув в записную книжку,— водопроводчики плачут, а украсть негде.

Все рассмеялись.

— Да, да, негде... Месяц обивал пороги насчет двухмиллиметрового железа, швеллера, уголка...

— Если нет на складе, где же я возьму? — развела руками Аринкина.— Сегодня вот подписали требование на гвозди, асбобумагу да десять вентилей три четверти...

— А что у нас, Олег Николаевич, с лентой? — спросил Пегов.— Я сегодня наблюдал, как транспортер работает. И скажу тебе — впечатляющее зрелище...

— Мы получили триста метров. И то нам дали эту ленту, списанную на аглофабрике,— сказала Аринкина.— Посмотрели мы с Олегом Николаевичем — ахнули... Хуже нашей, он сказал.

— На заплаты сгодится, — кивнул Кураев. — Веселая жизнь!

— Нда-а,— вздохнул Пегов.— Вот что, товарищи, если услышу, что кто-то что-то украл — буду увольнять. Ясно?

Некоторые опустили головы.

— Никита Ильич, мне нужны верхолазы... Залить крышу на складе,— попросила Нюра.

— Это, я думаю, вы с Олегом Николаевичем в рабочем порядке договоритесь.

— Говорил я тебе, что будешь падать мне в ноги,— прошептал Кураев и тут же выпалил под общий смех: — Рад стараться!

— Успехи делаешь, молодой человек, успехи! — покачал головой Фофанов.— Что же, поженить бы вас?

— Ну вот еще, шуточки,— покраснела Нюра.

— А что? Я ничего... согласный! — разулыбался Кураев.— Да еще если в придачу квартиру да ключ от гаража...

— Да в гараже машину в синюю полоску? — добавил Фофанов.

— Во, во,— согласился Кураев.

— Нашли тему разговора,— потемнела Аринкина.

— Все. Продолжаем работу,— сказал Пегов.

А Нюра все думала о слитке, о листке в белой мари, о колесе, и то, что говорили здесь и как неестественно смеялись, казалось ей ненужным, незначительным. Хотелось встать и уйти в те травы, за цехом, посидеть на слитке и тихо подумать о жизни, о себе, об этих людях.

Километр седьмой

Дорога кружила меж скал, теряясь за поворотами. И когда Нюра входила в скалистые коридоры, ее охватывала медленно остывающая тьма. И еще больше она пугалась своих гулких шагов. Казалось, что со всего леса на этот шум сбегаются звери, крадутся обочь дороги и неотступно следят за ней, смотрят в спину. И тогда Нюра начинала бежать. Раскрыв рот, глотала холодный, встречный

воздух. Тяжело колотился на спине рюкзак. В ушах гудело, и явственно слышался сверху не то зов, не то стон. Остановившись, Нюра замирала, пугливо съежившись, взглядывала вверх, будто могла обвалиться на нее скала или спрыгнуть с осыпчивого края какое-нибудь лесное чудище, и шептала: «Господи, помоги! Мамочка, что же это!» Подождать бы ей первого автобуса, уныло, с отчаянием подумала Нюра, понимая, что все равно не стала бы ждать утра.

Но вот разомкнулись скалы, и расступился лес. Тускло взблеснули рельсы. На угорчике, на фоне сумеречного неба, возникли темные копешки, придавленные березовыми палками. И Нюра было подумала, что можно зарыться в сено и уснуть до утра, но шла и шла мимо этих копешек, словно кто толкал ее в спину, и спрашивала себя: «Кончится ли когда-нибудь эта длинная ночь с этими странными звуками, со зловеще-жуткой тьмой. Кто знает?» Кончится. И я буду с тобой. Я знаю — ты мое счастье и моя пагуба. А когда мы с тобой будем очень старенькими, то навсегда поселимся на этом островке и будем жить и беречь друг друга. Станем рыбачить летом и рыбачить зимой.

Олег, сегодня, когда ехала на вокзал, я увидела в окно автобуса, как ломали бараки, где жили Галя и Братишкины, где жила я. На развалинах деловито топтались два бульдозера. На бугорке стояли ребятишки — жители высотных домов — ждали интересных событий. А чуть дальше ребят на уцелевшей лавочке сидел слесарь Васильев, да рыжая дворняжка истово кидалась на машины, и было похоже, что она намеревалась охранять прежнее жилище до последней секунды своей жизни. А после мне было грустно оттого, что я не выскочила из автобуса и не увела этого пса, и не сказала ничего слесарю Васильеву, который, видать, пришел проститься и вспомнить то, что было здесь пережито.

— А что знаю я о тебе? — спрашивала себя Нюра, боязно поеживаясь и входя в грустный туман. Туман вытекал на рельсы из глубокой лощины.— Только лишь то, что пришел в цех два года назад из научно-исследовательского института черной металлургии. Был женат. Ребенок. Платишь алименты... Ах, Нюра ты, Нюра,— усмехнулась она,— какое это имеет значение? Ну, платит — пусть платит... Деньги, что это такое? Богатство? Нет. Богатство— это когда есть все: любимое, нужное дело, друзья, родной человек и... вот такая ночь... Это мое богатство...

Так что же я знаю о тебе, Олег? Кто ты? У тебя преимущество перед другими мастерами — ты более образован. Хотя ты и говоришь, что в нашей работе главное — опыт. А может быть, главное — люди? Хорошо — опыт. Опытные бригадиры, опытные мастера с нешибко большим образованием рвутся к полету и быстренько уходят в новые цеха. Остаются, кто привык и у кого болит душа за всех и за дело. Ты, наверное, тоже уйдешь, да? Вдруг да предложат тебе титул выше, чем теперешний, уйдешь ведь? Наверное, уйдешь. Что же, человек должен расти... Ты только не сердись на меня. Это я иду, иду к тебе и думаю, думаю, вспоминаю... Я тебя очень люблю... Ты даже представить не можешь, как я тебя люблю. Знаешь, иду на работу, думаю о тебе. И на работе, как только остаюсь одна, без людей, снова думаю о тебе. И дома не нахожу места — думаю о тебе. Я схожу с ума. И вот иду к тебе.

Нюра вспомнила, как бегала по магазинам, искала Олегу подарок ко дню рождения. И наконец после долгих поисков приобрела ружье для подводной охоты, маску и ласты. И привезла все это к нему на озеро. А еще Нюра написала ему открытку и вложила в пакет.

Олег жадно отхватывал у жизни, у времени летние, ясные дни и вздыхал: «Еще немного и — пропало лето!» Нюра написала ему на открытке вдруг возникшие слова:

Спасибо тебе за это пропащее, золотое лето,
За эти поляны ромашек и все острова,
За добрые, бродяжные ветры
И за светлые печали в непостижимых
Тайниках души...

Как рад он был подарку и как был немного ошарашен, когда прочитал открытку. Нюра впервые увидела в его глазах нечто похожее на интерес и недоумение.

— А ты иногда ничего,— сказал он.

Что было за этим «ничего», Нюра не спросила, понимая, что Олег и над ней не прочь поиронизировать и ее небось тоже, как Пегова, считает темнотой, деревней... «А я, Олег, и не претендую на большее, чем у меня есть,— молча говорила ему Нюра.— Пока не претендую. На большее, чем он есть, претендует Фофанов, и это смешно. Хотя немногие знают, что Фофанов недавно истошно рыдал: умерла собака — гончая».

А что я знаю о тебе, Олег? Помнишь, мы шли в кино, и ты этак спокойненько сказал:

— Вон идет жена,— и сделал изысканный полупоклон в ее сторону.

А я еще раньше поняла, что это твоя жена. И пока мы шли до кинотеатра, у меня все щипало глаза. Я делала умное, спокойное лицо, даже как-то неуклюже пыталась шутить. Ведь ничего не случилось — какая-то рыжеватенькая женщина прошла мимо. Я покорно шла рядом с тобой, сидела рядом с тобой в кинотеатре и выходила из кинотеатра рядом с тобой, ехала в трамвае, шла рядом с тобой через завод, через пустырь к своему дому и рядом с тобой лежала в постели, и... как далеко ты был от меня...

Господи, почему у меня тогда не хватило сил навсегда уйти от тебя? Просто взять и свернуть за газон, потеряться в густой сирени. Почему я не свернула тогда? Ведь я же знаю, как жестока память: и надо бы не вспоминать, не думать о чем-то, вроде бы ненужном, несущественном, а это «что-то» настойчиво скребется в сердце, и попробуй спрячься, попробуй убеги!

Нюра увидела смутно белевший столб и оборотилась.

Позади шесть километров, впереди два.

Снова тихонько выглянула луна. Чуть-чуть, с ладошку, и Нюра обрадовалась, пошагала вперед. И снова зазмеились, потекли рельсы. В одном месте ей послышалось, будто бы кто-то крикнул: «Эй!» Опешила. Замерла. Долго стояла и вглядывалась в темноту, но больше никто не вскрикнул.

Шаги, шаги...

Как-то года три назад возвращалась Нюра полночью из школы, проехала на трамвае до конечной, прошла через весь притихший завод и, выходя на пустырь, вдруг услышала за спиной торопливые шаги. Нюра ступила в сторону, присела возле труб (она всегда так делала — пряталась в темноте) — бежал мужчина.

— Эй, — крикнул он зло.— Эй!

Нюра поняла по голосу, что человек пьян. И голос этот добра не сулил.

А про этот пустырь, между заводом и поселком, ходили нелепые странные слухи — будто бы там всякую ночь кто-то страшно и долго кричал. Нюра частенько возвращалась из школы одна — от трамвая через завод и пустырь четыре километра до поселка, но никто ей до этого дня не встречался.

— Эй! Эй! — метался ищущий голос.

И долго сидела Нюра, притаившись в тени труб, с ужа-

сом прислушиваясь к гулкому топоту пьяного человека, пока не услышала далекий, тревожный зов:

— Ню-ааа! Ню-а-а!..

Она поняла, что это кричат Галя и ее муж. Они гостили у Нюры. Беспокоились о ней. Вышли встречать.

А вот сейчас я иду к тебе. Ночь. Тайга. Горы. Иду и думаю, вспоминаю, и мне — хорошо.

Может быть, ты уже спишь?

Нюра остановилась. И, подумав, что теперь уже торопиться незачем — вот-вот и она придет,— сняла рюкзак и опустила его на дорогу. Села на рельс, но, оглядевшись, быстро встала и перешла на другую сторону. А вдруг да кто-нибудь вышагнет из темноты?

Нюра обхватила колени руками, ссутулилась.

Когда-то давным-давно в такую же ночь, Нюра с Братишкиным сквозь березовые и сосновые леса, вдоль полей с полегшими от недавней грозы хлебами шла на водную станцию, к яхтам. Назавтра должны были быть соревнования.

Шли и шли, отдыхали, садясь на старые остожья близ дороги. Тогда Нюра задумчиво разглядывала большую, светлую луну, слушала то веселое, то горестное: «Подь-полоть, подь-полоть», и ничего не боялась — рядом был Братишкин. И когда пришли на водную, он принес из эллинга ворох парусов, отвязал цепь лодки и сказал, что надо ехать на яхту. Яхта стояла на якоре. Нюра молча села на корму лодки, взяла на колени паруса. Приехав к яхте, Братишкин привязал лодку к румпелю, постелил в яхте постель и сказал Нюре, что надо спать. Нюра легла, свернулась клубочком возле мачты, но спать не могла — гудели ноги и луна смотрела прямо в лицо.

Было сыро. И спать непривычно. Яхта чуть покачивалась, и по бортам тихонько лопотала вода. Братишкин лежал рядом, молча курил. Потом повернулся, сказал:

— Застыла? Давай спину согрею.

Прижал Нюру, обнял.

Нюра пригрелась. Лежала, замерев, вспоминая дорогу, то ясное «Подь-полоть, подь-полоть», от которого сжималось сердце, то крик коростелей, поле, остожья и над этим яркую луну.

Недолго полежав, Нюра зашевелилась:

— Я согрелась. Пойду поплаваю на лодке.

— Поплавай,— разрешил Братишкин.

Нюра гребла на лодке по лунной дорожке, возле белых

скал и камышистого берега, смотрела вокруг и вбирала в себя все звуки ночи. Потом она услышала далекие голоса: кто-то шел по берегу, и она догадалась, что это идут так же, как только что шли они, другие яхтсмены, и стала быстро грести им навстречу, чтобы забрать в лодку их рюкзаки. Радуясь тому, как встретит их, она представила, как сейчас придут все к эллингу, будет шумно и весело, будут костер и песни, будут рассказаны всякие веселые и страшные истории и будет туманное утро, крик чаек, перепелов и багровый круг солнца.

Может быть, поспят, а потом вооружат яхты и немного походят вблизи, присматриваясь к парусам и к ходу яхты перед гонками.

Нюра почувствовала спиной холодное дыхание из глубины распадка и встала. Надела рюкзак.

— Где ты теперь, Братишкин? Где теперь те ночи, то золотое, счастливое время? Все минуло.

* * *

Когда-то Братишкин вел Нюру по коридору вечерней школы, хмурясь и одергивая столбенеющих на дороге парней:

— Ну, че вылупился, че?.. А ты-то, ты-то куда?.. Ребенка не видели?

— Гы-ы,— треснул чей-то раскатистый смех,— отскочь-ка ты от нее, паря... Это товар не для твово кармана...

Братишкин сузил глаза:

— Че-е... Э-э, мила дочь,— вдруг развеселился он, глядя на пухлый, тревожный рот Нюры. — У тебя тут столько будет поклонников, что мои бока уже предчувствуют тумаки. Придется подзаняться боксом. А?..

А Нюра несла перед собой букет белых махровых астр; с утра вспыхнула и осветилась ее душа радостью — записали в школу,— и ничего не видела Нюра, и не старалась вникнуть в смысл никчемных слов.

Пестренькое ситцевое платье ей схлопотала Галя. Вязаную бумажную кофту ядовито-зеленого цвета подарила Нина Аринкина, а белые спортивные тапочки, начищенные зубным порошком, были свои.

Гостившая у Гали Ульяна, мать Варьки, недовольно зыркнула глазами на Нюру:

— Какому это прынцу вы ее разневестили?

— Ты молодой когда-нибудь была? — круто одернула Галя.

— Да я че, я так... К слову,— утихла Ульяна.

Нюра шла по коридору и косила диковатые глазищи на окна, на гибкие ветки карагачей и кленов за ними.

Над землей еще царила теплынь: отцветало бабье лето. Летел тенетник, и мягко ронялись пожелтелые листья, густо устилали землю, чтобы меньше страдали от первых холодов корни нежных трав и деревьев.

На миг за окном затрепетали листья, и стал реять мелкий, неслышный дождь.

Нюра вошла в класс, а Братишкин, остановившись за порогом, пообещал:

— Так я встречу,— и тут же вошел, заявив: — Девки, слушай меня! Вот моя дочь, прошу любить и жаловать, и чтоб никаких хахалев. И пусть ребенок растет на вашей совести.

— Геныч! Гены-ыч,— изумленно округлив глаза, растаяла одна кучерявенькая, вот-вот переломится,— какой же это ребенок? Это уже картинка!

— Во-во, с тебя-то, Скобелкина, я и спрошу за эту картинку.

— На яхту возьмешь?

— Возьму. Даже выделю персональную. Сдавай на права.

— Ну-у, тогда я твоего ребеночка буду на руках носить,— хохотнула Скобелкина, тряхнув кудерьками.— Как звать ребеночка-то?

— Я — Нюра.

— А я — Клава,— весело шлепнула узкой ладошкой по парте.— Садись со мной, Нюра. Будем вгрызаться в науку... Катись домой, Геныч. С сей минуты наступит изумительный штиль вокруг меня и Нюры. Ну, кыш, кыш! — замахала руками тоненькая Клава.— Привет Варваре!.. А ребеночек-то ничего, путный!..

— Так я встречу...

— Не порть зря молодое время, — сказала Клава.— Сами проводимся.

Прозвенел звонок.

Всю осень Клава Скобелкина с ватагой парней исправно доставляла Нюру к порогу Братишкина, у которых к Октябрьским праздникам родился Антошка — событие было веселое, много волновались, заводили брагу, стряпали пироги с грибами, лепили пельмени. И еще произошло событие, нежданно-негаданно: из родимой деревни пришло Нюре письмо от Серафимы, соседки. Серафима писа-

ла, что все бабы озлились на Тамарку-губивицу. И что если в самом деле Нюра скитается у чужих людей, то они, бабы, подадут на Тамарку в суд. И если уж Нюре туго придется, она, Серафима, поможет (в письме лежала новенькая десятка). Нюра тотчас написала вдруг подобревшей Серафиме письмо, что не надо никаких судов, что живет она как у Христа за пазухой, учится на «отлично», что на зиму у нее есть фуфайка и купили ей новые валенки, а еще ей купили резиновые полусапожки на высоком каблуке...

Нюре действительно жилось неплохо. Братишкины делали все, чтобы она не чувствовала себя у них чужой, нахлебницей. И Нюра привыкла жить у них, и Антошка ей поглянулся, а Тамара не заходила. Нюра неволила себя забыть обиду, простить сестру, мало ли что бывает в жизни, и — не могла.

Галя всякий раз, сготовив что-нибудь вкусное, зазывала:

— Ребята, айда ко мне! — А то, не дождавшись, сама бежала с тарелкой или с кастрюлей. Усаживались за стол, потчевались, после играли в карты.

Ближе к весне Братишкин засуетился, затосковал по бродяжным тропинкам, сизым далям, озерам и яхтам. Стал мастерить блочки, такелажные скобы, мочить и растягивать веревки на шкоты, чинить паруса, пахнущие забытыми ветрами. Нюра помогала ему и уже наизусть знала весь такелаж, строение яхты и правила спортивных гонок.

— Какого я из тебя моряка сделаю! О-о! — сладко вздыхал Братишкин.

Однажды, помыв полы в комнатках, Нюра хватилась разжигать плиту. Гена и Варя были на работе, Антошка спал в кроватке. Надо было сварить борщ и обогреть остудившиеся комнатки, углы которых не просыхали и то и дело подергивались инеем. Нюра побежала в сарайку, отомкнула ее, нагребла ведерко угля. И принялась колоть напиленные плашки.

— Давайте помогу? — над ней стоял парень в форме студента горного техникума. Парень этот жил недалеко, в новом пятиэтажном доме, и Нюра много раз ловила на себе его пристальные взгляды.

— Спасибо! Я — сама... Что же вас затруднять... — смешалась Нюра, теряя голос.

— Ну вот еще...— отобрал топор и ловко стал колоть плашки.— А вы идите... У вас же ребенок.

— Антошка спит,— улыбнулась доверчиво.

— Давайте пойдем вечером в кино? — посмотрел ожидающе.

У парня круглое, румяное лицо со светлым пушком над капризной губой, синие открытые глаза в белесых ресницах.

— Спасибо! Но мне нужно в школу,— строптиво нахмурилась Нюра.

— Вон как! Значит, в воскресенье? — парень выпрямился, приосанился.

— Нет,— краснея и пугаясь, сказала Нюра, представив, как пойдет с ним рядом в фуфайке. В кино ее приглашали впервые.

— Ах, да, понимаю... — парень выпустил топор.— Ребенок? — и тоже густо покраснел, присел, стал складывать на руку полешки.— Куда вам их? — спросил, следя за низко пролетавшим скворцом.

— Да я сама... — смутилась Нюра.— Что вы, что вы!

— Нет. Я донесу...

Они стояли перед утлыми сараюшками на обтаявшей проплешине. В вышине и меж бараками кружили резкие тревожащие ветры. Каких высот достигали они? Чью кровь волновали? Откуда, из каких неведомых тайников выманивали эту беспутную красавицу-весну? И что они, эти ветры, принесут Нюре?

Этот Леня Охапкин стал писать записки, приглашать то в кино, то в театр. Братишкин читал эти записки и понимающе ухмылялся. На эти записки Нюра не отвечала и на свидания не являлась. Леня Охапкин оказался терпеливым парнем, стал писать длинные, красивые письма. По субботам приезжал из Копейска встречать Нюру из школы, там у ворот его однажды и угостила кастетом обнаглевшая шпана. А Леня очухался и назавтра привез на велосипеде букет черемухи Нюре. Братишкин вышел и крепко поговорил с Леней на лавочке у барака. Но этот мужской разговор, видимо, не подействовал на Леню, потому что в темные студеные ночи кто-то ходил под окнами, посвистывал.

— Все,— отрезал Братишкин,— будешь ездить со мной на водную станцию. Слыхала?

— Ой! — обрадовалась Нюра.— Буду!

Она быстро научилась вооружать яхту, настраивать ее к гонкам. Приноровилась ловить парусом ветер. Позднее и яхта стала послушной, покорной, шла, куда хотелось

Нюре. Однажды Братишкин в добрый ветер снял карабин со швартового и оттолкнул яхту носом от берега в набегавшие волны. Заметалась на яхте Нюра.

— Привыкай! — сказал Братишкин. — Иди под одним гротом! Стаксель убери! Вмиг освоишься... Это испытано. И не дрейфь! Крутись невдалеке...

— Да ты что, Геныч,— подлетела Клава Скобелкина,— сдурел? Перевернется ребенок!

— Перевернется — вытащу!

Братишкин так рьяно охранял Нюру от ухажнвателей, что к осени похудел, замкнулся.

Варя намеревалась подарить ему второго сына, ждала от малыша радости. Нюра закупала учебники для седьмого класса и нежила Антошку.

Как-то негаданно явился Леня Охапкин, пропадавший где-то все лето, с гладиолусами, шоколадом. Братишкин, побледнев, выпроводил его, сказав, что Нюры нет дома, хотя она была в горенке, кроила рубашечки Антошке.

Закинув на дверь крючок, Братишкин вошел в горенку, позвал Нюру. Та, одернув ситцевый сарафанчик, легко пошла на зов. На пороге столкнулись. И по тому, как он смотрел на нее, как незнакомо потемнели зрачки больших глаз его, как судорожно он поднял и раскинул неумолимые руки в проеме двери, она интуитивно поняла, испугалась и удивилась той страшной силе, вдруг возникшей в этом добродушном человеке, так много сделавшем для нее.

— Что? — глухо спросила она, холодея от неясной тревоги, и вдруг шатнулась от него, попятилась в глубь горенки.

Он поймал ее и, тяжело дыша, стал истово целовать. И, распаляясь все больше и больше, теснил ее к кровати. Горохом рассыпались пуговицы от халатика, с легкостью разлетелась рубашечка. Он стал ронять ее на кровать и вдруг, разомкнув руки, повалился на пол, забился.

— Не уходи!.. — вырвался осмысленный стон в обалделой тишине.

— Переоденься! — тихо приказала Галя, войдя и мгновенно оценив ситуацию.— Варьке ни слова... Иди к ребенку... Я с ним справлюсь...

Нюра, надев свое старенькое зеленое платьице с пышным цветком у ворота, пошла в Галину комнатку, схватив весело щебечущего Антошку, приткнулась к его нежному тельцу и горько, безутешно заплакала. Она любила Ан-

тошку, да и привыкла к Братишкиным, и в то же время она понимала, что теперь не сможет больше жить у них, что-то в ней сдвинулось, оборвалось.

— Не реви! — сказала Галя и прикрыла мосластой рукой горячую Нюрину голову... — Спит он. Приставал, что ли?

— Нет,— удивившись себе, сказала Нюра.

— Вижу,— Галя стала соображать, что бы такое надеть на Нюру, прикрыть эти багровые синяки на тонкой шее. Перерыла чемоданы. Нашла белый бумажный свитер.

— Надень-ка, а то Варька придет... Умрет от горя... Закройся и поспи — душа отойдет. А мы с Антошкой погуляем...

В коридоре Галя столкнулась с Братишкиным.

— Стой! Где она? — уставился больными глазами.

— Не знаю. Да и тебе незачем знать. Вот твое сокровище, о нем думай. О Варьке подумай...

— Все-то вы знаете... — ожег шальным, ненавидящим взглядом, поспешно ринулся к двери Гали, опрокинув на ходу чей-то примус, стал бить кулаком дверь: — Нюра, открой! Слышь, Нюра!..— приник щекой к двери с бурой шелушащейся краской, затих, а после длинный, худой, дико озираясь, то отбегал, то подбегал к бараку и снова допрашивал Галю: — Где она?

— Не знаю,— каменея лицом, говорила Галя.— Взяла чемоданишко и ушла. Может, к Тамарке, может, в деревню уехала, не знаю.

Братишкин исчез в бараке и вскоре выбежал с пиджаком в руках и молча скрылся за углом сараек.

А ночью, когда притих, уснул барак, когда стали потихоньку возвращаться рабочие с вечерней смены, разомкнулась тишина и возник горький, пронзительный крик. И неведомо куда уносился зов тот, к кому?

Загрохотали, захлопали двери, и проснулся Антошка. Галя сняла крючок с двери, выглянула в коридор. Вжавшись лбом в косяк у двери, стояла Варька с листком бумаги в косую линейку.

«Варя,— было написано там,— возьми за меня расчет. Я не вернусь».

Нюра в ту ночь не спала до утра. Лежала и думала: «Много ли надо, чтоб вдруг стать совсем одиноким? И кто знал, что совсем рядом со счастьем стояло скорое горе? Что случилось с Братишкиным, неужели полюбил он? Господи-и! Неужели?» — смутно, неясно вопрошала себя Нюра,

не чувствуя, не находя в случившемся своей вины. Раскололось у людей счастье, кто виноват? И что за напасть на всю семью Травушкиных? Сколько помнила себя Нюра, Серафима вечно по любому поводу ругала мать, честила принародно, одуревала от ревности. Тамара до пятнадцати лет жила в деревне, и то и дело дрались из-за нее ребята. Теперь не повезло Нюре...

Куда исчез Братишкин? Так забавил, любил сына, и вот... Может, поехал к морю, может, еще все образуется? Он устроится там на работу и вызовет Варю. И Варя увезет к морю Антошку. Жалко Антошку. Привыкла к нему Нюра, полюбила...

Потянулись медленные, неуклюжие дни. Замельтешили первые снега, запорошили. Понесло холодами, поземкой. Антошка теперь жил у бабушки Ульяны. Нюра у Гали. Встречаясь с Нюрой, Варя молчала, не поднимала глаз. Она пострашнела, осунулась. Опять на курносом носу запрыгали веснушки, опухли и запеклись губы.

А в бараке по-прежнему жили, смеялись, ходили на работу по заведенному кругу: завод — барак, барак — завод. Замыкались от мира тонкой дверью.

Нюра начала искать работу. Поговаривали в магазине женщины, что на мельзаводе будто бы принимают поденщиц. Быстренько собралась Нюра, отправилась на трамвае до тракта, а после пешком по закрайку дороги к чуть видимому сквозь снежный лепень красному зданию в старых костлявых тополях у речки.

Нюра обошла шлагбаум и толкнулась в дверь проходной.

— Куда? — спросила тетка с рыхлым лицом и пасмурными глазами, сидящая за барьерчиком у раскаленной плиты.

— Здравствуйте, я насчет работы... — промямлила Нюра.

— Мешки поманило ворочать? Лет-то сколь?

— Шестнадцать... — соврала Нюра.

— Видать... А ну-к, топочи отсель! — Нюра смешалась, в отчаянии захлопала ресницами и выскочила за дверь. Упала последняя надежда. А дальше что?

«Куда же теперь? — печалилась Нюра. — Вдруг выгонит Галя, где жить стану? Опять идти к кому-нибудь в няньки? Или возвращаться в деревню? Взять бы, может, и взял ее снова в колхоз Фаин Иванович, пусть мыть полы, только бы жить в своей избе, ходить в школу. Но кто

же вернет ей избу? Мамочка,— пряча озябшие руки в рукава фуфайки, взмолилась Нюра,— что же ты оставила меня одну?»

И вспомнила Нюра, как, шпыняя Варю, причитала Ульяна на весь барак:

— Непуть ты, непуть, кого ж ты пригрела? Змееныша обласкала... Валенки спроворила, полсапожки... Деньги, что ль, бешеные? И на кого обзарился-то, хосподи-и...

А Галя не вынесла, бледнея, разыскала эти злосчастные валенки, полсапожки и, распахнув дверь, кинула их к ногам Ульяны:

— На, подавись, жадина!

— Не трогай! — упредила Варька— Не смей брать! Это он покупал. Пусть носит... Она целый год водилась с Антошкой... И в школу ей ходить не в чем...

— Ничего, Варвара, как-нибудь переживем,— успокоила Галя.— Ты только не психуй... Зеленая ведь стала. А мамоньке твоей что — еле в дверь влазит... Ей любая ругань, что семечки... Мед чистый...

Не успела Нюра перешагнуть через порог, как Галя, что-то подозрительно веселехонькая, выпалила:

— Нюра, у нас опять праздник! Завтра у Нины день рождения. Скидавай свою персидскую шубу, садись за стол... А где это ты шастала? Ручонки красные... Нин, ты глянь на нее...

— На мельзавод ходила.

Нюра присела на краешек табуретки, а Настасья, выгнув хвост, вспрыгнула к ней на колени, замурчала.

— Что там забыла?

— Думала — поденно...

— А понощно ты еще не надумала? Ну, Нюрка, схлопочешь ты у меня оплеуху. Глазом не сморгну...

— Что же я, как тунеядка... — отвернулась к стене.— Некуда мне...

— Ладно,— с мягким раздумьем сказала Нина Аринкина.— Если уж ты так маешься бездельем, пойдем завтра на завод... Может, уговорю начальника принять рассыльной. Вроде бы наша уехала — мать разыскала, потерялась в войну... Он у нас хороший дядька...

— Нюра, а у нас только что Варвара была,— объявила Галя мимоходом.— Нашелся Братишкин. Живет у моря. Выслал им денег,— глянула пытливо и горестно.— Выслать-то выслал, но к себе не зовет и не манит и сюда, видно, не рвется... Привет тебе... Я письмо читала...

— Ну вот еще,— обиделась Нюра.— Нужны мне его приветы. Дурак, жену бросил... — Вздохнула: — Антошку жалко...

— Да, а насчет «некуда» не заикайся. Живи тут, и точка,— добавила Галя.

Километр восьмой

Этот последний километр тянулся безмерно долго, и Нюре уже казалось, что она не выберется из этой кромешной тьмы. Маленький осколок луны, этот маленький островок света, напрочь утонул в темных, клубящихся тучах, медленно и неукротимо надвигавшихся с севера. И все усталее и усталее шла Нюра в этом мире ночной тайги. И весь этот мир с дикими звуками, с запахами тумана, сухих сосен и горькой осины, с запахами остывшего мазута на шпалах, тлена листьев и трав в низинах, мир этот сжимался для Нюры при мысли о скорой встрече, но самая эта мысль не принесла ей сейчас облегчения. «И все же, почему я иду? — недоумевала она.— Почему так рвется туда, к нему, сердце?» И это извечное «почему» не давало ей покоя.

Пройдя виадук через широкий, глухой распадок, на дне которого в травах и мхах, под черными корнями черемух, ольшаника бесшумно пробирался ручей, Нюра вспомнила, что возле линии, прямо в траве росли опята на невидимых, сгнивших пнях. Когда-то тут, наверное, владычествовала великая тишь, ветра да звери, потом пришли люди и построили через тайгу и горы железную дорогу, и вот она, Нюра, идет по ней к Олегу. «Спит, наверное».

И, представив его родное лицо и его любимую позу спать на животе, подогнув одну ногу и прижав подушку обеими руками к груди, Нюра рассмеялась: «Милый ты мой, лягушонок! Я устала к тебе идти, а ты спишь... Проснись и выйди меня встречать... Я иду к тебе — проснись!»

Наконец Нюра стала внушать себе отвлеченные мысли, чтоб не думать о том моменте, когда она явится на берег, успокоится и позовет Олега и как он ее встретит?

«А что, если вдруг да приедет обратно Братишкин? Что он ей скажет и что она ему скажет? Варя-то, поди, все ждет его, воспитывает ребят,— Антошка вон уже перешел во второй класс, да и младший Генка осенью отправится в первый...»

Однажды, получив премию, Нюра отправила Варе с Главпочтамта пятьдесят рублей, написала: для Антошки, а адрес обратный не указала, дескать, ехала проездом, тетя. Галя рассказывала, что Варя приходила, спрашивала, не Нюра ли прислала эти деньги, потому что тети вроде никакой нет, а Геннадию нет никакого смысла скрывать — алименты приходят исправно: к праздникам или ко дню рождения ребятишки получают от него подарки. Сам же за десять лет ни разу не приехал — все мечется по стране. Что ищет?

— Знаешь, — как-то сказала Галя, — он любит тебя...

— Кто это? — поинтересовалась Нюра.

— Братишкин. Кто же еще!.. Я на карты кидала. Думает. Путь сюда держит. Правда, не скорую.

— Пора. Дети же... Может, и приедет, только я-то при чем?

— А-а-а, милая... Бабушка моя говорила, что к любому чучелу можно привыкнуть. Только я вот ни к одному чучелу не могла привыкнуть — не судьба, а Якова встретила и сроднилась. Никто и никогда мне его не заменит, и жить, случись что, я без него не смогу... Вот каки дела... А бабушка говорила — к любому можно привыкнуть. Ан нет... Вот и Братишкин, может, весь век будет скитаться, как чайка, по свету белому... И не будет у него покоя... Так на карты падает... Смеешься?..

— Да ну, тетя Галя, скажете тоже...

— А вот и говорю, что он шибко там горюнится... А ты-то что тут видишь? Двадцать два уж — засиделась.

— А я замуж вовсе не пойду,— сказала тогда Нюра.

Она в то время еще не знала Олега и не ведала этого сладкого горя — любви. А ведь когда-то она с ним танцевала, и — ничего — не заметило сердце. Но этой весной встретились, пригляделась Нюра, доверилась, приникла к его спине, и покатили... Он привез ее к дому Гали, заглушил мотоцикл и вдруг сказал:

— А пошли-ка вечером в кино? Я возьму билеты на последний сеанс...

— Нет, нет,— поспешно сказала Нюра. — Я ведь не здесь живу. Я живу далеко, за заводом в поселке. Как-нибудь в другой раз...

Он насупил брови, но потом улыбнулся:

— Ладно. До завтра!

— До завтра! — сказала Нюра просто, обыденно и повернулась к дому.

А назавтра был субботник. И все было так: Нюра привезла к южным воротам цеха две машины кирпича (не хватало на насадку), расставила людей, потому что транспортер там установить было невозможно, и люди, встав цепочкой, стали передавать кирпич из рук в руки. Со сдачей печей запаздывали и, чтоб не тревожить сменных, объявили субботник. Пришли итээровцы, конторские рабочие, дневные службы.

— Девочки, как вы, очень устали? — подбежала Нюра к своим девчатам. Те грузили сегодня целый день — сделали по две нормы.

— Жить можно,— сказала Люська и вытерла рукавом усталое разгоряченное лицо.— Феня вот, боюсь — упадет...

— Ну-у, я очень сильная! — объявила Феня, гибко наклоняясь за кирпичами и легко распрямляясь.

У Фени короткие светлые волосы. На маленьком круглом личике весело прыгали крупные родинки, темно-рыжие глаза колко блестели.

— Девочки, — остановила их Нюра, — придется еще погрузить одну машину. Я поеду с вами. Возьмем с собой кого-нибудь из ребят. А теперь отдыхайте... — Сама забралась на машину, отстранила Феню и стала ловко подавать Фофанову.

— Надо — значит поедем,— твердо сказала Люська.— И отдохнуть, пожалуй, стоит. Пойдем, девчата, возляжем вон на те плахи.

Они спустились с машины и легли в тень на ветру, на новые доски у стены цеха.

Появился Олег Кураев.

— О-о! Вот это аврал! Ну, Травушкина, ну, Травушкина. Помочь, что ли? Только я, чур, встану у истоков,— и отодвинул плечом Фофанова.— Девки-и, а ну-к, погуще ряды! — и стал ухватисто ловить кирпич из рук Нюры да еще успевал прихватывать другой рукой с машины.

— «И-и, эх, ваше благородие, госпожа удача, — запел громко Кураев,— ты к кому-то добрая, а к кому иначе».

Девять граммов в сердце, стой, не зови!
Не везет мне в смерти,
Повезет в любви...
И-и, эх, повезет в любви...

— Олег Николаевич, что-то сегодня в ударе? — неожиданно сникнув, спросил Фофанов.

— Сердце мое нырнуло в темный омут. Вынырнет ли?.. Эй, девки-и, где Кленова? Люсенька-а, подсоби...

— Пусть отдохнет,— вдруг осипшим голосом попросила Нюра.

— Люся, петь будем! — приказал Кураев подошедшей Люське и бережно поднял ее и посадил на машину.— Сиди и пой!

— Какую? — растерялась Люська.

— Любую!

Люська сняла косынку, выпустила русую косу и тихо запела:

Часто сижу я и думаю, как мне тебя
называть?
Славную, скромную, милую,
Как мне тебя величать? —

низко вела она, чуть склонив голову и глядя на далекий скверик за дорогой у цеха.

Я-я назову тебя рече-енькой, только ты дальше беги,
Я назову тебя звездочкой, только ты дальше свети,—

поддержал Кураев, за ним все. С верхней рабочей площадки, подбежав к перилам и свесившись, заглядывали вниз сталевары. Что за диковинка — песня в цехе. Увидев такой конвейер, улыбались.

А там, в конце пролета, выпускали плавку. Воздух плавился, розовел.

— Значит, говоришь, сердце в омут нырнуло? — спросил Фофанов, когда окончилась песня.

— Ну,— сказал Кураев.

— Смотри, а то попятишься, раком назовут,— усмехнулся Фофанов.

— А может, жениться приспело. Как думаешь, повезет?

— Чего не ведаю, того не ведаю... Что-то там,— сморщился и, погладив грудь, пояснил: — Отерпло.

— Девчата, живо, живенько,— повеселел Кураев, держа в обеих руках по кирпичу.— Чего, родимые, встали?

— Ишь ты, какой быстрый! — одернула Дуся Золотухина, вывернувшаяся из-за машины. — Там одному мальчику пальчик ушибли... Нюра Павловна, Пегов меня послал к тебе. Что скажешь?

— Бригадиром ко мне пойдешь?

— К тебе — пойду.

— Вот и чудненько! Иди вон к Люськиным девчатам,

отдохни. Здесь чуть-чуть осталось... После поедешь с ними на склад. Погрузи кирпичики напоследок. Ну, а с завтрашнего дня начнешь начальствовать...

— Нюра, ты всех добрых девчат к себе собрала,— покачал головой Фофанов.— Не зря говорят: «У Травушкиной — бабье царство». Олег Николаевич, я пойду проверю, кому пальчик ушибли. А царство Травушкиной доверяю вам...

— Как-нибудь справлюсь, — весело пообещал Кураев.

— Нюра, а что же вторая машина стоит? — спросила Дуся.

— Пегов обещал людей прислать.

— Давай-ка я сбегаю на печь, займусь агитацией? Смена кончается, помогут...

— Небось все устали?

— А что, Кленова не устала? Все девчата по две смены отбахали. А тут, кстати, немного. Сообща-то быстрее...

— Молодец, Евдокия! — похвалил Кураев. — Жми на печь! Моих слесарей увидишь, скажи: Кураев приказал явиться всем на субботник.

— Хорошо. Так я, Нюра, побежала?

— Беги,— разрешила Нюра.

Поздно вечером после столовой и горячего душа неохотно расходились по домам. Кураев увязался за Нюрой:

— Я провожу.

— Я далеко живу, во-он за теми пустырями, в поселке. Там, Олег Николаевич, вам все покажется серым — бараки, землянки.

— Кто сказал? — Кураев решительно шагнул вперед, на вихлястую тропочку меж бракованных слитков, добавив: — Держись за мной, а то в этой свалке мертвого железа недолго ноги поломать.

— Я всегда хожу по этой тропке... — несмело начала Нюра, войдя в травы.

— Ну и зря. Тебе нельзя одной, мне тоже. Слышишь? Ты не пугайся, у меня в этом поселке живет друг.

— Тогда еще ничего, — оживилась Нюра, вспомнив, что пол у нее, наверное, не мыт и не прибрана постель, да и мало ли какой непорядок, когда никого не ждешь.

— ...Здесь было болото,— задумчиво сказал Кураев.— Давно ты живешь?

— Десятый год.

— Неплохо... Скоро весь этот пустырь застроят цехами, и ваш поселок вот-вот исчезнет.

— Я знаю.
— Все-то ты знаешь.
Она посмотрела на него искоса и вдруг к чему-то вспомнила, как весной стоял у ее оградки, под коряжистым тополем, командировочный электромонтер Борис Валежанин. Он крепко держался за штакетник и говорил в сторону сырого огорода:
— Ты думаешь, я старый? Мне всего двадцать восемь. И в Ленинграде у меня бабушка. Одна. Поедем, а? Я — один. Ты — одна. Что скажешь?
— Боря, я ведь тебя не знаю,— говорила Нюра, чтобы что-то говорить, лишь бы не сказать простое и ясное «нет».
Электромонтер ушел грустный, а Нюре ночью приснились незнакомые глаза. Они усмехались и говорили и не давали спать до утра.
— Что ты меня разглядываешь, нравлюсь? — спросил Кураев.
— Очень.
— Старый я и больной.
— Оно и видно,— улыбнулась Нюра.
— В мужья возмешь?
— Подумаю.
— Больно вы все любите думать да гадать.
— Я не гадаю. Я только думаю иногда, если вдруг накатит и станет невмоготу, что кому-то, может, еще хуже.
— Это тебя утешает? Суета все это.
— А что не суета?
— Хм,— Кураев склонил крупную голову, подумал и, подняв руку, ткнул пальцем в небо: — Вот. Только это вечно, а все остальное — суета.
— Какие-то странные у тебя мысли.
— Ничуть. Жить надо. Делать свое дело. Может быть, стараться умнеть. Умереть глупым — обидно. Нет у нас культуры врожденной, что ли... — Олег покосился.
— Чтобы не казаться дурой где-нибудь среди играющих в заумь, я к месту вверну, что материя — первична, и снова помалкиваю...
— Хитрая девка!
— А что тут хитрого? Просто не было систематического образования. Десятилетку кое-как закончила, и то в вечерней школе. Иногда пропускала занятия, иногда опаздывала. Далеко живу...
— Значит, ты считаешь, что культуры у нас нет?

— Конечно.

— А ты что же, хотела бы заставить своих женщин, таскающих кирпич изо дня в день, читать, допустим, Сартра, Экзюпери?

— Кстати, ни Сартра, ни Экзюпери я не читала.

— Ну, какие твои годы... Почитаешь, когда не захочешь умирать глупой,— скосил веселые, дымчатые глаза.

Незаметно вошли в поселок. У бараков, у палисадников, с густыми мальвами, ноготками, галдели ребятишки. На стадионе, огражденном густой акацией, играли в футбол подростки...

— Я уже дома, Олег Николаевич.

— В гости не зовешь?

— Как-нибудь в другой раз. Сегодня уже поздно,— Нюра деловито протянула руку: — До свидания!

— В иную пору я верю, что самый добрый народ — это женщины. Сейчас я убеждаюсь в обратном — в кои-то годы собрался проводить симпатичную девушку, а она даже в гости не приглашает... На этом, так сказать, и закончилось их первое свидание... Прошу прощения — второе... Ну что ж, до завтра!

Все так же плыли и клубились в темной вышине тучи, и все так же временами ненадолго выныривала луна и вновь пропадала. И только далеко за горами небо чуть-чуть светлело, то ли не спал там город со своими шумными заводами и обильным электрическим светом, то ли тлел и все не мог истлеть поздний закат. И все так же шла Нюра и скоро совсем устала. Она уже не глядела по сторонам, только ощущала переходы. Там, где линии прижимались к лесу или скалам, понизу тянуло холодом, где выбегали к пологим предхолмьям, было теплее, уютнее. Вспомнив весь свой путь, Нюра с облегчением подумала, что осталось совсем пустяк — один километр.

То, чего Нюра не знала...

Поднимаясь на второй этаж, Пегов вдруг вспомнил, что надо бы поговорить с Фофановым. Парню хочется стать начальником цеха. Смешно, конечно. Но если недавний, пока что неофициальный разговор с директором о двухгодичной командировке в Индию на строительство большого металлургического завода осуществится, то кого

же он, Пегов, оставит здесь вместо себя? Фофанова не хотелось бы, а где взять другого? Хотя можно ведь уехать и не видеть, что тут будет происходить, да ведь цех развалят — жалко. Фофанов прекрасно знает огнеупорные работы, но ведь он и должен их знать — лет десять, наверное, работает на печах. Ну, а кроме этого, что еще должен знать современный руководитель? Кем он должен быть? И экономистом, и юристом, и психологом, но если он к тому же еще не будет знать профессиональной этики, что тогда будет?.. Недавно Фофанов накричал на лучшего бригадира, тот прибежал с заявлением на перевод... «А я, чего я добился тем, что предложил главному сталеплавильщику понизить Фофанова в должности? Он посчитал, что я придираюсь к лучшим кадрам... Да-а... А на партбюро Фофанов вел себя как мальчишка. Нет. Надо с ним поговорить. Пусть берется за ум. Я вчера вот тоже выдал, как петух запел от радости. «Нюруша,— доложил я,— наверное, надолго поеду в Индию. Поедем со мной?» — скосил прищуренные глаза — попробуй пойми, — шутит или всерьез предлагает.

— Шибко ведь это ответственно — ехать с вами,— вздохнула Нюра и царапнула бугорок краски на голубом сейфе.

— Ну что ж, на нет и суда нет. Значит, никогда не покатаешься на слоне,— сказал он тихо и потянулся к телефону: «Ах, черт, что это со мной? Думаю о ней и думаю... Сдурел, совсем сдурел, ты, Никита...»

Открывая дверь, Пегов услышал голос заместителя:

— ...Ну-у, что вы, Юрий Михайлович, какой из него главный. Он начальник-то так себе, и к тому же эта аморалка...

Фофанов сидел спиной к двери, прижав плечом трубку, рядом с ним сидел Кураев и что-то подсказывал. Увидев начальника цеха, Кураев ухмыльнулся и уперся взглядом ему в лицо. Дескать, вот так и живем.

Фофанов оглянулся и начал густо краснеть:

— Да, да... Конечно... Его критерий... Что вы... — совсем смешался. — Нет, нет... Я вам позвоню позднее...

Делая вид, что ничего не слышал, Пегов, стараясь не смотреть на Фофанова, спросил:

— Чем так озабочен мой заместитель?

— Да так... Приятель вот звонил... — и деловито: — Никита Ильич, завтра миксер надо останавливать...

— Знаю,

— Мартеновцы оттягивают остановку на двенадцать часов.

— Знаю... — сказал Пегов и повернулся к Кураеву: — Когда пустишь второй растворный узел?

— Дня через три... Электрики уже доделывают.

— Кто снял фары и аккумуляторы с машины мартеновцев?

— Не грешен,— натянуто улыбнулся Кураев.— Ей-богу, не грешен... А кто вам сказал?

— Если придут с обыском и найдут — уволю...

— А чем прикажете работать? — У Кураева побелели и обтянулись скулы.

— Тем, что есть! — Пегов сел на стул и вытянул ноги.

— А то, что у нас есть, уважаемый Никита Ильич, моя бабушка в одном ящике в цветочках видела,— глаза взблеснули недобро, и еще больше напряглось лицо.— Один кричит — выгоню! Второй говорит — уволю! Красивый разговор!..

— А ты чего хочешь? — спокойно спросил Пегов, глядя на окно и прикрепленные к стене графики, на круглую вешалку в углу кабинета.

— Абсолютно ничего. Мне просто надоела примитивная организация работ... И мне хочется отворотиться от этой никчемной суеты...

— Резонерство это, милый мой,— Пегов быстро посмотрел в лицо Кураеву и, склонив голову, стал щелкать пальцем по спинке рядом стоящего стула, как бы ожидая возражения, но возражения не последовало, и он заговорил дальше: — Организуй, кто тебя сдерживает? Вместо того чтобы мять о стул одно место, сходи сам к главному механику, в отдел снабжения, да и мало ли куда еще... Сколько раз мне нужно говорить вам одно и то же? Вы привыкли к тому, что за вас за всех бегает Пегов. Так вот, господа, извольте сами заниматься нуждами производства... Все!.. К следующей оперативке вы, Олег Николаич, представьте мне свои соображения по этому поводу, а сейчас немедленно займитесь выяснением: кто украл аккумуляторы. Как вы их вернете — не мое дело... А с вами, Виктор Трофимыч, разговор у меня долгий. Идемте...

Глаза Фофанова беспомощно метнулись к Кураеву. Тот ободряюще хмыкнул и, встав, игриво блестя глазами, хлопнул заместителя по плечу и сказал:

— А ты позвони все же своему приятелю...

Фофанов кивнул и понуро пошел следом за Пеговым,

«Кошмар! — думал между тем Пегов.— И я должен смотреть на все эти безобразия? Зачем все это? Ты, Никита, слишком мягкий человек. Надо было тотчас же, как услышал, оборвать этого тихонького сателлита и тем самым навсегда пресечь подобные штучки. Так нет же, ты играл в чистое благородство. А они в отместку тебе в любой момент сделают удар пониже спины и не моргнут глазом. Зачем, кому и для чего нужна эта возня? Скушать, спихнуть с руководителя цеха? Смешно! Придет другой и заведет другие порядки... Фофанов выслуживается перед Лавочкиным — глупый, смешной человек! Тебе захотелось иметь титул начальника цеха? А кто тебе присвоит самый главный титул в жизни — титул человека, кто? — молча говорил Пегов следом идущему Фофанову. Вздохнул.— Как вам растолковать все это? Даже если я сейчас выплеснусь весь перед ним, он все равно не поймет ничего, не поймет, что не быть ему никогда начальником цеха, да и сейчас-то не у места... Тут-то уж я, милый мой, беспристрастен...»

Когда закрылась дверь за Фофановым, Пегов весело отбросил ручку, быстро встал и, подумав, что заместитель побежал звонить Лавочкину — это уж точно,— громко, с наслаждением расхохотался и, дважды обойдя стол, плюхнулся в кресло.

Он любил свой кабинет. Любил в нем работать.

— ...А знаешь, у него с ней точно шуры-муры,— сказал Фофанов Кураеву.

Оба стояли в гараже перед умолкшей машиной, с которой шоферу Цацкину было приказано снять аккумулятор и спрятать так, чтобы даже поднявшийся из земли Шерлок Холмс не смог найти.

— По-моему, ты ошибаешься, ничего подобного нет. И если уж есть у нее эти самые шуры-муры, то с кем-то другим...

— С тобой?

— А хоть и со мной. Стало быть, это ты написал в партком?

— Нет. Кто-то другой,— ухмыльнулся Фофанов уголками губ.

— Звонил главному?

— Звонил. Он говорит: Пегова никогда не назначат на его место, что это так, разговоры. Но по голосу было ясно, что он взволновался... А еще Пегов мне сказал сам, что платит алименты...

— А ты и поверил?
— А как же, он же сам...
— Я тебе сейчас скажу, что у меня брат император Эфиопии. «Пегов его, конечно, разыграл,— подумал Олег.— И ведь он все слышал и все понял, когда вошел в кабинет. Попробуй сдвинь такого. А Фофанов будет портить нервы Пегову до тех пор, пока не вылетит с работы. Ну-ну, поглядим, что из этого выйдет...» По-моему, Пегова все-таки снимут. За травмы, за грубость с подчиненными и прочее... — сказал для Фофанова.
— Он же только на нас орет.
— Ну и что. Я, например, не вижу лучшего начальника цеха, чем ты, Виктор Трофимович...
— Да уж,— засмущался Фофанов.
— Да, да, а что Пегов? Дурак. Бабник. Демагог,— говорил Кураев.— Вот схожу в отпуск, вернусь, начальником цеха уже будешь ты.
— Если его в самом деле назначат вместо Лавочкина, то мне не быть начальником цеха. Цех он мне не доверит.
— Чепуха! Надо сделать так, чтобы его не назначили главным. И лучше бы вообще перевели куда-нибудь подальше...
— А как?
— А так вот: в парткоме есть жалоба — хорошо. А ведь есть газета. Есть директор. Все это на колесо нашей мельницы... Отклики на пожелания трудящихся. Так это называется.
— Глупости,— пробормотал Фофанов и, вздохнув, добавил: — Надо идти на печь. Опять ведь разорется...
«Тоска! — проводив взглядом заместителя, подумал Кураев.— Можно сдохнуть от этой тоски. Надо скорее в отпуск. На озеро. В лес. А там будет видно...»
И ему совсем стало скучно.

Не докричишься, не дозовешься...

Наконец Нюра увидела в лесу смутный просвет и шагнула с насыпи. Где-то здесь надо свернуть и идти прямо, прямо. Она спустилась с откоса, вошла в лес, и мгла тотчас сомкнулась над ней. Лес встретил тревожно и угрюмо. Нюра подобралась и насторожилась. В низинах от земли поднимался горький теплый пар, но и сквозь него, из протеми

сочно хрупающих под ногами трав, остро и холодно мерцали светляки, пахло теплой росой, остывающей смолкой, грибной прелью.

Иногда с сосен мягко падали шишки, и она вздрагивала замирая, до звона в ушах слушала суровую тишину леса. А после разнимала папоротник, отводила от лица холодные мокрые ветки ольшаника и, попадая в какие-то невидимые ямки, упорно пробиралась вперед, к озеру, к стожкам сена, к шалашу Григория Ефимовича, притулившемуся к могучей сосне. От шалаша — сразу же вихлястая тропинка к берегу, к проходу по мшистому зыбуну меж камней, с качким настилом из тонкоствольных, уже ослизлых березок.

Нюра заблудилась. Берега все не было, стожков тоже. Она растерялась. Каждый куст топырился и мерещился чудищем, вот-вот прыгнет. И то тут, то там слышались лопотанье, гугуканье, всхлипы. В одном месте из-под ног шумно выпорхнула какая-то большущая птица, и Нюра от неожиданности метнулась в сторону, тяжко осела.

К счастью, услышала густой нарастающий грохот поезда. Пытаясь унять дрожь в ногах, поднялась и стала ломиться сквозь кусты обратно к линии, то и дело озираясь и думая, что свернула где-то рано и тот просвет ей померещился. Поезд ушел.

Нюра выбралась на насыпь, дрожащими руками еле вынула из рюкзака бутылку пива, стуча зубами о горлышко, стала жадно пить, отняв ото рта бутылку, огляделась. Все правильно. Вот гранитная скала. Вот столб двадцать шестого километра. Вот заросли кипрея, дикой малины. Значит, она прошла круто вправо, мимо озера, и так бы могла уйти прямо в горы и совсем затеряться. От этой мысли она поежилась. Было три часа ночи. Значит, она блуждает уже четыре часа.

Когда чуть утишился страх, она снова шагнула с насыпи. И снова тьма сомкнулась за ней.

На этот раз Нюре повезло — выбрела на стожки сена, смутно темнеющие под соснами. Тотчас же сняла рюкзак и прислонила его к сосне, пошла мимо шалаша к берегу.

Над озером, за камышами покоился тонкий белесый туман. Царила тишь. В темном настороженном небе, за высокими ветрами проклюнулись слабые звезды. Ночь упорно держалась за сосны и землю.

Кричать, звать Олега расхотелось, и Нюра подумала, что может пройти на островок через болотистую протоку.

Пошла по берегу к тому месту, где кто-то отчаянный проложил, промял в камышах изгибистый ход. Нюра не нашла тот ход в темноте, вернулась и робко, протяжно крикнула:

— Оле-е-е-г!

Но зов этот был настолько робок и тонок, что Нюра вовсе растерялась: «Оле-ег!»

— Да кто ж так зовет! — подал голос из шалаша Григорий Ефимович. И выбрался, выполз маленький, сухонький, в белой исподней рубахе. Он выпрямился, сгорбатил у лица ладони, крикнул резко: — Олег! — крик этот ударился об остров и откатился обратно в лес, в горы.— Счас встанет,— присел, стал закручивать папироску.— С поезда?

— Ага. Я, дядя Гриша, заблудилась. Во-он туда,— показала рукой,— дальше прошла.

— А недолго — темень. Отчаянная девка. Ишь ты... А седни с утра сухмень и сухмень. Вся трава сомлела. А на солнцепеке оводы одолели, прямо грызут... Что-то не встает? Иш-шо-о позвать? — крикнул раз, другой, третий.— Во, умаялся. Утресь-то мне помогал сено сгребать. Травы-те встали ныне — золото... Собирался после рыбачить. Червя запас. Гороху привезла?

— Привезла.

— Шибко он горошек ждет. Тут вчера Валерка миаский приезжал — мешок леща увез. Хитро рыбачит, а на че — таит. Олег-то изведся от зависти... Смотри-ко, спит и спит. Бери-ко весла-то, отвезу я тебя. Мешок не трог — сам донесу, сапоги вот разве надену,— сел, стал наматывать портянки.— Завтра хозяйка моя приедет — проведу вас на малину. Полно в этом годе малины. Вчерась такую полянку нашел, у-у... Увидишь завтра. Гриба тоже полно. А вот леща взять не могу. Горох он, лещ-от, любит, кашу пшенную. Валерка прям килограммов на пять одного словил — смотреть страшно, с весло будет. Рыба-т к нему вальмя валит — колдун. Я рядом сидел — измаялся. Тот мешок, а я одного с ладонь, да окунишек на ушишку. Олег дак не вынес — угреб махать спиннингом,— встал.— Ну, поехали,— притопнул.— Батог только взять надо — соскользнешься. А Валерка так не ходит тут — прямышком, топью пробежит, весь берег под ним — зыбкой. И верно — колдун.

Нюра шла осторожно, боясь поскользнуться на мокром пастиле. Все на ней было мокрое, бил озноб и горели ноги. Хотелось скорее добраться до палатки, раздеться и лечь на мягкий сенной матрас, под стеганое одеяло, в тепло, при-

жаться к своему счастью. И от желания этого как-то странно ворохнулось сердце, кольнуло и стало очень жарко. И невдомек было Нюре, что вот-вот к ней наведается первое горе любви. Чтобы не упасть, Нюра торопливо забралась в юркую лодчонку, села.

— Завтра, дядь Гриша, щук ловить буду.

— Седни уж,— Григорий Ефимыч загремел уключинами...— Тут один карабашенский спрашивал: «А эта-т девка на каку блесну ловит? Говорят, ловит и ловит?» Не знаю, говорю, Федя. Видно, чары каки знат... Завтра он к те подкатится. То-то я гляжу, все наши мужики эту заводь облюбовали. Я вот счас Олега-то пошпыняю — проспит бабу. Хе-хе...

Скрипели уключины. Плескалась, несмело шелестела о борта вода, мялись, тонули под тяжестью лодки, закрывавшиеся на ночь бутоны лилий. Островок приблизился, прояснел и закачался. Что-то почуяло сердце, и Нюра привстала.

— Сиди, сиди! — одернул Григорий Ефимыч.— Ишь, не терпится.

— Что это? — Нюра встала, шатнулась. По телу пробежал тонкий озноб.— Нет палатки. Дядя Гриша, где же она? — сдерживая тревогу, тихо спросила Нюра.— Может, он выбрал другое место?

— Как нет? — Григорий Ефимыч перестал грести, обернулся.— Вот те на! Погодь! Погодь!.. Так я еще днем видел тут белый катерок. Бабенка рыженькая металась... Вон че-е...— взялся за весла, подгреб к берегу.

Лодка мягко уткнулась носом в трухлявый, сырой пенек. Рядом с ним у самого уреза воды замерли две белоногие молодые березки.

Чуть дальше стоял маленький столик с букетом цветов в консервной банке, лавочка у кострища, остов навеса, где сушилась рыба, и ворох слежалого, ломкого сена, вытряхнутого из матраса.

— И ниче не сказал и не простился... Да-а, видать, увезла его эта бабенка. Знакомая, может? Али родня?

Нюра стояла у холодного костра, у одинокой обгорелой рогульки, торчащей из земли (вторую, видимо, сбили),— стояла и слушала только запах прогоревшего костра, сильный запах сырых озолков. «Это та женщина, — решила Нюра,— его жена. Он уехал с ней. Уехал...»

Стояла она долго, опустив в недоумении голову. «Вон как обернулось счастье-то, за беду зацепилось,— подума-

лось вдруг.— И что те пустяшные обиды и горести, какие дарила ей жизнь? А что еще впереди? Кто скажет? За что он так? Мог сказать, что все это пустое. Мог в конце концов просто уйти и не томить душу, не таиться. Меня-то за что? От жены и детей не уводила, чужого счастья не крала и не желала зла людям... Нюрка ты, Нюрка,— думала она о себе, вздрагивая от холода,— не было у тебя в любви ни смелости, ни ловкости, ни умения слепить свое гнездо, свое счастье. Что же теперь?»

Григорий Ефимыч отошел, сел в лодку.

А Нюра все стояла и смотрела на прогоревший костер, еще тлела смутная надежда — вдруг да придет. Вся прежняя жизнь ее казалась сейчас долгой и счастливой в ожидании непознанных радостей и тревог: «А что-то завтра?»

«Вот оно: «Что-то завтра?» Недавно я обалдевала от любви и радости, а теперь вот мне худо, очень худо,— горько думала она и ничего не могла поделать с собой, сильно крепилась, чтобы не разреветься, не упасть и не забиться в плаче подле одинокой обгорелой рогульки.— Где ты? — Но ни в безысходности, ни в крике, готовом вот-вот вырваться, не было злости на него. Было лишь некое сожаление, ей казалось, что он не понял ее, но утешала предопределенность судьбы — она, Нюра, на всю жизнь его, и от этого никуда не денешься, но осознает он это и опечалится потом, после подаренных жизнью страданий и горя».

И снова, как там, на качком настиле по мшистому зыбуну у берега, кольнуло сердце. «Зачем ты ушел? Вернись!» — молча кричала она, глядя в сторону гор. Горы молчали. Лес молчал. И молчал старый человек в лодке.

А боль в груди все росла и росла.

— Я тут огонек развел. Стынь одолела меня, да и комарье вот...

Нюра сказала упавшим голосом:

— Дядя Гриша, вы плывите, отдыхайте. Я здесь останусь. Скоро утро...

— Гляди. Если что, крикни.

— Спасибо, дядя Гриша.

— Да чего там,— махнул рукой и стал вставлять весла в уключины.

— А горох вот, в мешочке... Я сейчас,— стала вынимать из рюкзака одежду.

— Сколько прожили-то? — вернувшись к костру, полюбопытствовал старик.

— Чуть-чуть.
— Небось робетешки?
— Нет. Не успели.
— Здря. От робетешек не всяк убежит.
— Сейчас и дети не держат.
— Тоже верно. Может, стеганку привезти?
— Спасибо. У меня теплый костюм в рюкзаке... Посижу у костра... Вот горох, дядя Гриша, ловите лещей.
— Поди, вернется Олег-то? — нерешительно принимая мешочек с горохом, заколебался старик.
— Нет,— заверила Нюра.
— А жалко... Да что там. У меня война двух увела... В прошлом годе дочь схоронил... Трое внуков осталось... Старуха год не вставала... Да и кто его поймет, горе-то? У всех разное,— сказал старик и поворошил прутиком огонек. Костер выплюнул искры и начал гореть.— Ну, я поехал,— направился к лодке.
— Как же вы... Все это?
— Так на то и жизнь... Ежли раздуматься-то... Без горя и радости не разглядишь, мимо проскочишь...
— Ничего, — зачем-то неожиданно бойко сказала Нюра.
Хотелось ей сейчас поскорее скрыться от стороннего глаза, и Нюра обрадовалась, когда, немного помешкав, наконец взмахнул веслами Григорий Ефимович.
«Где она, судьба, за каким кустом, поворотом? Да и кто знает, как бы обернулась жизнь, если бы когда-то не решилась она приехать в этот город диковатой, несмышленой девчушкой? А сейчас ты сидишь у воды, ждешь его. Может быть, он вернется? Нет, не вернется. Он с той женщиной... Господи, а зачем он вернется? Что теперь изменится?.. Меня ведь невозможно бросить, меня можно только потерять. А каждый ли задумывается над тем, что теряет? Ты потерял. Кто ты, Олег? Что ты дал той женщине, что мне? Ее ты, очевидно, так же предавал, как и меня?»
Взошла заря.
Нюра лежала, свернувшись клубочком, у давно прогоревшего костра. Она безучастно смотрела на траву и думала, что надо вставать и куда-то идти, ехать.
Мимо островка проплывали на своих лодочках рыбаки, всплескивали веслами, но Нюра не видела их. Где-то далеко Григорий Ефимович уже точил косу.
«А может быть, что-то случилось с сыном и ты уехал? Но тогда бы ты, наверное, оставил палатку дяде Грише,

написал записку или что-то сказал. Он был на берегу. Он вас видел. Ведь не забыл же ты, что я приеду завтра?.. Нет. Тут совсем другое — ты навсегда ушел. Ушел... Что же мне теперь? Я знаю только одно, я буду думать, что жизнь накажет тебя горестным одиночеством, и плохо, безутешно плохо станет тебе, и ты никогда не обретешь утешения. Мне жаль тебя... Господи-и, как я буду любить тебя — и ненавидеть».

Под гитару

В тот день, когда Зубакин появился
в этом городе, на седьмом километре
по старому сибирскому тракту был убит таксист.

1

С поезда он сошел ночью и на последнем трамвае приехал на конечную остановку, на северную окраину города, к проходной завода.

Он знал, что через проходную его не пустят, обходить же километров пять, а лезть через забор — яркий электрический свет — неудобно. Постоял на новенькой, еще в опилках, бетонной дороге, поскреб в нерешительности широкую темную бровь. Усмехнулся. Тихо пропел: «...Дремлет на стене моей ивы кружевная тень. Завтра у меня под ней будет хлопотливый день...»

Эту песню двое суток выговаривал студент с верхней полки. Студент ехал к матери. Зубакин тоже.

«...Вот теперь я буду царапаться, жить... Тоже догадались — вместе с заводом загородить поселок. Ладно, пройду немного, а там перемахну забор»,— решил Зубакин и свернул в густые дебри лебеды, полыни и репейника, вымахавшие в тени забора чуть ли не в рост человека. Вскоре лебеду сменила глинистая насыпь и траншея, выходящая из-под серых бетонных плит забора, с ходу перемахнул ее, снова взобрался на насыпь и неожиданно нос к носу предстал перед молоденькой охранницей завода в черной шинели, перетянутой в талии солдатским ремнем, в черном берете со значком, кокетливо приколотом над светлым виском. Охранница, еле сдерживая на коротком поводке рычащую овчарку, внимательно оглядела его, он мельком ее, хакнул, прошел мимо. Прошел мимо ярко освещенной обзорной будки у проходной, похожей на голубятню. Оглянулся — знакомое, знакомое до устали. И почувствовал, как мокнет ручка чемодана в руке, тяжелеют ноги, сохнет во рту. Но тут же громко расхохотался, показывая ровные крепкие зубы с одним выбитым сверху, перекрестил ще-

нткой будку, весело зыркнул голубизной глаз охраннице, снова хакнул.

— Ну как, хорош я? — И участливо: — Что, тянут с завода сталь прямо слитками?

Она сиплым, грубым голосом:

— Ага, ковш чугуна украли. Да вот один только что прыгнул с забора— ногу сломал. Может, убиться хотел?

— Будь спок! Я не прыгну. Прыгнуть легче, чем жить. А ты замужем? — И, не дожидаясь ответа, круто повернулся, поддал ногой комок глины и, помахивая бурым чемоданчиком с блестящими уголками, пошагал дальше, легко, чуть пружинисто — косолапо.

«Все в норме,— думал он.— Справа завод, через дорогу спящие дома копрового поселка, дальше березняк и хлебные поля с шагающей по ним высоковольтной линией до мраморных разработок, а дальше...» Дальше он не бывал. Но зато он знает, что где-то тут перелезет серый, шершавый забор, обойдет копровый цех и пустырем дойдет до психиатрической больницы, а там вот он, еще заводской поселок, с краю у дороги засыпной домишко с полынью и тмином на земляной крыше. Вокруг невысокие искривленные березки, огород, грядки с пупырчатыми огурцами, с зеленым луком.

— Господи-и, зеленый лук! — прошептал он и представил, как мать нагреет воды, он поставит в огороде корыто — наплевать, что ночь,— будет сидеть в этом корыте нагишом, плескаться, как когда-то давно-давно, и будет рвать с грядок бобы, морковку и лук зеленый...

Опять вспомнилась песня:

В горнице моей светло,
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды...

Он крадучись подошел к забору, приник к щели — никого, перебросил чемодан, не снимая рюкзак, подтянулся на руках и сел верхом, осторожно, боясь порвать новые брюки, спрыгнул. Долго шел душистыми, пыльными травами, прислушиваясь к шумливому дыханию завода, к звонкой стрекотне кузнечиков, смотрел в темное глубокое небо с тающими звездами при луне и курил, курил, ломая сигареты и спички — большие руки мелко дрожали. Ему хотелось скорее приласкать худые, обвялые плечи матери. Ох как хотелось! Первое время он писал ей письма. А она молчала, но потом однажды печально так отве-

тила: «Не сын ты мне боле. И не кайся. Хорошего человека в тюрьму не посадят. На днях мать Володьки, упокой его душу господи, кидалась на меня в магазине драться. И люди от меня и соседи все отвернулись — потому стыдно мне — мать бандита. Прощай, сын, живи как хочешь». И Зубакин замолчал и всем говорил, что нету у него матери. А вот стал подъезжать, и вдруг запокалывало сердце — дом, мать. Увидел почерневшую, кое-где подлатанную новыми досками ограду больницы, вышел к ней на дорогу, посыпанную мелким хрустящим шлаком. Сразу зачерпнул полные сандалии, поставил чемодан, разулся, вытряхнул и услышал тоненький собачий скулеж. Шагнул в траву — щенок, только-только, видать, раскрывший глаза на свет белый. Поднял. Какой-то светло-охристый, а уши черные, одно подвернулось, другое торчит, на морде три бусинки — две рыжие, одна черная, на голом брюшке мокрая кисточка. Не щенок — одна жалость. Посадил на ладонь — еще б три рядом. Так и пошел со щенком на ладони.

Завернул за угол и от неожиданности уронил щенка. На месте поселка огромные корпуса цехов, трубы, краны, кругом все взрыто. Чуть правей сквозные металлоконструкции, грохот, яркий свет.

Зубакин не поверил. Зажмурился. Помотал головой. Медленно приоткрыл один глаз, другой... Нет поселка. Он вспомнил, что эта дорога должна бы привести его к дому, поднял притихшего щенка, пошел. Дорога вывела его к рабочим, прокладывающим в траншеи трубы. У двух, опустивших на землю синий кислородный баллон, спросил:

— Ребята, а где поселок?

Парень с косой челкой на глаза выразительно посмотрел в сторону больницы, перевел взгляд на Зубакина.

— Твоего поселка аж четыре года как след простыл. Глянь! — показал круговым движением.

— А куда людей?.. — спросил Зубакин, облизывая пересохшие губы.

— Квартиры дали в городе.

— Слышь-ка... — в морщинистом прищуре любопытство,— а кто у тебя тут жил?

— Мать.

— Где?

— Рядом с магазином. В бараке магазин был.

— А звать?

— Анна Зубакина. Старенькая она у меня, теперь уж за шестьдесят.

Мужик вышарил в карманах папиросы. Медленно размял одну. Закурил. Сутуло сел на трубу, поставил локти на расставленные колени.

— Ну и ну, парень. Поздновато же ты пришел,— сказал он с осудительной мягкостью в голосе.

— Ничего, мы еще поживем! — нарочито бодрым тоном успокоил Зубакин.— Я все же посмотрю похожу.

— Давай, давай посмотри... — сказал мужик, бросил окурок и вдавил его сапогом в белистую глину.

Зубакин нашел на месте своего дома несколько истерзанных березок и кучу мусора, заросшую кипреем, тмином и лопухами. До сих пор ему не верилось, но тут он узнал березки, под ними когда-то стояли грубо сколоченный столик и печка-времянка с треснутой плитой.

Стало зябко и одиноко. Вспомнилось, как шел и мечтал сесть в корыто меж грядок и рвать лук зеленый, огурцы с пупырышками... Ладно, утром он пойдет в цех к матери. Сразу же заставит рассчитаться и увезет ее домой, в городскую квартиру. Хватит, поработала. Точка. Вообразил, как накинет ей на худые плечи розовую шелковую шаль с длинными тяжелыми кистями. Такую она и во сне не видывала! А потом поведет в магазин и накупит ей еще всякой всячины.

Горестно и тоненько заскулил щенок на ладони. Зубакин плашмя положил к ногам чемодан, посадил щенка. Вытащил из рюкзака новенькую фуфайку, раздвинул высокую, волглую траву, постелил, сел. Захотелось есть. Вытащил четушку водки, замасленный газетный сверток (остатки с дороги), расстелил на чемодане. Вспомнил и вынул из рюкзака воблу. Высосал из бутылки до дна. Потянулся за второй четушкой, но раздумал. Щенок нашел холодным носом его руку, прилип голым брюшком к ладони и, тепло вздыхая, уснул.

Или от выпитой водки, или от тепла на ладони нахлынула горячая тоска, жалость к себе.

2

— Яша, — высунув голову из траншеи, позвал морщинистый сутулый мужик. Вылез. Заправил выбившиеся брезентовые штаны в кирзовые сапоги с подвернутыми голенищами. Сел на синий баллон и убрал со лба

щиток.— Что-то у меня душа не на месте, Яша. Знал ведь я мать этого парня. Долго она ждала его. Умерла. Добрая была баба. Зима была лютая. Дров не было. Я помню, и сам бегал на отвал. Из коксовой пыли выбирали коксик. Хорошо горел! Отошла она к шлаковой лаве. Греться мы туда ходили. Села, пригрелась, задумалась. И не встала. Никто и не видел — зимой быстро темнеет. Утром саночки ее нашли. А весной начали сносить поселок и следом же рыть котлованы под фундамент. В дома мы перебрались с отоплением, газом, ванной. Живем вот.

— Дядя Федор, он, поди, искать ее будет? — парень убрал с коленей резак.— Где ж он столько был?

— Сидел. Слух тогда ходил в поселке, будто бы где-то в темной улочке на него один с ножом выпрыгнул. Так вот, тот с ножом, а этот кулаком в висок — хрясь! И — нету...

— Да ну?!

— Точно! Тогда ему восемнадцать годков было. А теперь видел, лапища-то? Так вот, пошел он, заявил на себя. Дескать, так и эдак — убил человека. Пока пришли, то, се, а нож-то уже сперли. Иди доказывай, что защищался. Десятку с гаком ему подарили. Видно, только что вышел. Ты, Яша, тут того... — встал, поддернул штаны, походочка — одно плечо выше другого.— Я все же пойду поищу его, о матери расскажу.

Нашел и рассказал. Долго молчали.

— ...Ты вот что, парень, я бы, конечно, мог тебя устроить и в нашу шарашку, но уж очень она мне самому надоела,— говорил Федор, блестя в полутьме глубоко запавшими глазами.— Всю жизнь выглядываю из траншей, точно из окопов. Да и люди у нас не ахти, я тебе скажу. Вот напарник мой. Я ему говорю, не нравится, надоело, говорю, дак катись на все четыре стороны, молодой, может, лучшую житуху где-нибудь найдешь? Смеется. «Дорогой Федор Иванович, говорит, а есть-то ведь везде охота». Вот такие ноне работнички. Ты уж лучше иди в монтажники. В почете, и себя уважают. Они нас, черти, зовут «кротами». Что ж, кроты мы и есть.— Помолчал.— Ну, а у тебя, значит, диплом сварщика есть. Важнецкая профессия. Точно. Всю жизнь варю. Нравится.— Снова помолчал.— Ну, а жить приходи ко мне. У меня, знаешь, золотая баба. Не хвалюсь, пусть дураки хвалятся. Она у меня как аистиха одноногая, еще с войны...

Зубакин сидел на фуфайке, обхватив ноги руками, и смотрел мимо Федора Ивановича далеко-далеко.

За спиной перекликались паровозы. Где-то за толщей воздуха что-то гудело и ухало. Робко лопотали над головой о чем-то своем березки и роняли первые, чуть желтеющие листья. Влажно зеленела трава, а на соцветиях полыни повисли прозрачные горькие капли росы.

Со щеки Зубакина скатилась слеза и повисла на кончике носа. Он смахнул ее тыльной стороной ладони и отвернулся.

— Спасибо, Федор Иванович, я как-нибудь сам... Спасибо,— сказал и сглотнул слюну.

— Спасибо не спасибо, а ты приходи. В семь часов смена кончается, зайти за тобой? Извини, я забыл, как тебя звать?

— Виктор,— не оборачиваясь, ответил Зубакин.— Я как-нибудь потом зайду к вам, Федор Иванович.

— Ну, ладно, будь здоров!

— До свидания!

Он сидел и чувствовал себя как в пустыне.

Гришка Стамбульян как-то сказал, мешая шахматные фигуры и слушая очередной доклад по радио:

«Мы слушаем про маяки производства, про комсомольские стройки, а что в душе рядом стоящего, кто знает? Какие мысли гнетут его? Каждому свое. Маленькое, но свое, со всеми бедами и радостями»...

«Но мы-то с тобой не одиноки»,— возразил тогда Виктор, обводя взглядом нары.

«Не одиноки»,— согласился Гришка и вздохнул.

И вот сейчас вернулся Зубакин домой, и ничего нет. Один. Совсем один. И никто его теперь не видит. Ушел добрый человек Федор Иванович, при котором он крепился, чтоб не разреветься. Он потянулся зачем-то к рюкзаку, вытащил розовую шаль, но, вытащив, не знал, что с ней делать. Встал, наткнулся на холодный, росистый ствол березы и вдруг заплакал громко, как в детстве, со всхлипом.

Потом он долго пел одно и то же:

В горнице моей светло,
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды...

Он уснул ничком, обессиленный слезами, болью сердца и второй четушкой водки.

Из-за забора плыли горькие степные запахи. Раза два вспыхивало огромное розовое зарево — на шлакоотвале выливали шлак. Зарево быстро таяло, и темнота вновь смыкалась.

Наконец из расплывчатого сиреневого тумана выбралось на отвал солнце. Над землей повис легкий прохладный парок. В вышине, отдаляя гул завода, выводили первые трели жаворонки. Намечался яркий, жаркий день.

Зубакин силился открыть глаз и не мог. Он чувствовал, что на него кто-то смотрит. Приподнял голову, оставив на рукаве фуфайки пятнышко слюны. Из-под темных прямых волос на него смотрели вспугнутые карие глаза с золотистыми искринками вокруг зрачков. Перед ним в спортивном костюме, какие он видел в журналах на мастерах спорта, стояла девчонка с велосипедом.

— Подарите мне щенка,— попросила она и поставила велосипед к березе.— Вы что, Северный полюс осваиваете?

— Ну.

Зубакин нехотя сел. «Вот мымра, разбудила, да еще подари ей собаку. А этот змееныш уже руки ей лижет. Ну, погоди у меня».

— Жалко мне этого тигра,— сказала она и присела. Взяла щенка на ладони, помяла, опустила.— Ну, так дарите?

— Нет.

— А что вы будете с ним делать?

— Буду учить не кусать людей.

— И надолго вы здесь поселились?

— На год.

— Нет, серьезно?

— Серьезно.

— Я вас где-то видела.

— Я вас тоже.

— Дядя, в вас тонна злости.

— Тетя, а у вас хахаль, пардон, муж есть?

— А вы что, в мужья набиваетесь?

— Ага. Я на вас женюсь.

— Когда?

— Можно и сегодня.

— Не выйдет. Я уплываю.

— Я могу и подождать.

И оба расхохотались. Зубакин встал, распинал пустые четушки, снял пиджак и подвернул рукава рубашки.

— Помялся всмятку? — Девушка, смеясь, обошла его.— Да-а... Есть немного. Это ничего, для помолвки сойдет. А калымом вот Тигр, да?

— Вы же уплываете?

— Подождете. Я вернусь.

— Нет, я подарю вам калым лучше Тигра. Садитесь на чемодан.

— Нет, что вы, я пошутила! Мне нужно ехать.

— Стоп! — Виктор поймал ее за руку.— Садитесь, помолвленная, надо быть хозяином своего слова.— Отбросил пиджак и взял из-под рюкзака розовую шаль. — Вот. Это вам.

— Бросьте, я же пошутила.

— Я тоже. Шаль ваша, и никаких разговоров.

Он накинул на плечи девушки шаль и завязал концы узлом на груди, как в старинном цыганском романсе. Сам отошел в сторону и картинно подбоченился. Длинные, тяжелые кисти шали, обвиснув, слегка покачивались.

— А теперь плывите, Ассоль. Я найду вас.

— Кто вы? — девушка удивленно таращила на него глаза.

— Я — бродяга. Но у меня сердце романтика, в котором тонна печали. Вы не волнуйтесь. Тигр сохранит вам меня.

— Вы, право, чудак! В этой шали я буду очень красивой. А впрочем, я принимаю ваш подарок. Это первый подарок, который мне дарит мужчина. Я уплываю под белыми парусами и, наверное, смогу поклониться праху великого романтика. Я вернусь через месяц.— Не оглядываясь, она вывела на дорогу велосипед и вскоре скрылась за цехом.

Игра кончилась. На минуту Зубакину стало весело. Он понял, что понравился девчонке, и, как бы увидев себя ее глазами, рослого, загорелого, в белой, правда, помятой, рубашке и в черных, зауженных в коленях, чуть расширенных книзу брюках, понравился и себе. Постоял, согнулся в поясе, достал несколько раз кончиками пальцев землю у ног, разогнулся и помахал руками. Щенок прижал уши.

— Что, брат Тигруша, есть хочешь? Потерпи, куплю я тебе соску и самую огромную бутылку, понял? А сейчас пойдем искать работу.— Он собрал все свои вещи, надел рюкзак, отошел немного и оглянулся. — Прости, мать...

Он окинул взглядом разнотравье, где когда-то был домик, шлакоотвал, стену нового цеха и медленно пошел в самую гущу стройки.

3

Варька Пухова, стрелок заводской охраны, вернувшись после дежурства, не уснула до утра. Лежа в постели, она думала о своей жизни, которую проклинала и считала хуже горькой редьки. К двадцати трем она знала всех гадалок в городе. И у всех она спрашивала: что ее ждет?

Гадалки мяли ее короткую твердую руку, раскладывали карты и доверительно-мягко говорили, все по-разному. Этой весной Варька ездила в пригородный поселок, окутанный дымом и нехорошей молвой, в поселок, как бы специально прятавшийся от людских глаз в густом сосновом лесу. Она нашла домик с сиренью в палисаднике, куриным пометом во дворе и множеством мух в комнате. На столе стояла раскупоренная бутылка водки, тарелки с закуской, между которыми сидел черный кот и нахально щурил желтые глаза, разглядывая молодых и пожилых баб, смиренно ожидающих на диване, на стульях правды о своей судьбе. За рубль еще молодая чернявая женщина с короткой мальчишеской стрижкой и усталым рябоватым лицом, с огромными, проникающими в душу глазами вещим голосом сказала Варьке:

— Вся твоя жизнь — пустые хлопоты... А вот о котором ты думаешь, еще далеко, но он придет к тебе степью, в ночь, под яркие звезды... Жить могут только сильные люди. А ты не лови в кармане ветер и не ищи в небе след самолета, судьба придет к тебе степью. Сумеешь удержать — твоя будет, не сумеешь — век одна будешь. Много ты горя видела, еще больше увидишь. Друга найти тяжело, себя понять еще тяжелее... Не слушай никого, сама думай...

И всю весну с теплыми ночами, с дурманящим запахом цветущих садов Варька ждала судьбу свою. Она до рези в глазах смотрела в поле, сидя в обзорной будке у проходной завода, а сменившись, подолгу бродила в перелесках и мшарах. Но в середине лета, устав ждать, снова начала ходить в кино, на танцы в парк, где ее никто не приглашал и не смотрел на нее. И вот наконец этой ночью она встретила его. А сейчас лежит, не раздеваясь, в постели

и не знает, что делать: пойти ли сейчас искать его в этом большом городе, или он сам догадается и будет искать ее, Варьку Пухову. И тут она как бы увидела себя со стороны, не ахти как одетую, да еще охранницу завода, а охранников, она была уверена, и за людей-то не считают. Если бы она была красивой, рослой, тогда бы она ушла с этой работы куда-нибудь в контору или вот на стройку и не знала бы отбою от кавалеров и, верно, понравилась бы ему, этому парню, что встретила ночью. После долгих раздумий она все же поехала на стройку — куда ж он мог деться, раз туда пошел.

Там она увидела, как он зашел в парткабинет, как вышел оттуда и отправился по стройке, а она, волнуясь, краснея и вздрагивая, ходила за ним как тень.

* * *

У входа в машинный зал блюминга Зубакина окликнули:

— Эй, парень, покарауль пирожки, я сбегаю за шанежками,— попросила женщина с двойным подбородком, в белой косынке на глаза.

— Давайте,— согласился Виктор,— только я не ручаюсь за содержимое корзины.

— Там двадцать пирожков.

— Да уж ладно, идите.

Женщина собрала на дне второй, пустой, корзины промасленную бумагу, скомкала, выбросила ее под ноги Зубакину и, расстегнув белую, грязную на животе куртку, побежала в столовую.

Подошел мальчишка в синей спецовке, заляпанной раствором:

— Ну во-от... Вечно жди их...

— Сколько тебе?

— Два.

Виктор взял листик бумаги и алюминиевой вилкой с поломанным зубцом зацепил два пирожка, протянул их парню.

— На, жми.

— Спасибо.

— А-а, здрасьте!..

Зубакин повернулся — охранница. В синей застиранной гимнастерке, в черной узкой юбке, в солдатском ремне с тусклой пряжкой, с пустой кобурой на боку.

— Что, больше ни на что не годен? — спросила охранница.

— Ага.— Виктор поклонился шутливо.

— С чем пирожки-то?

— С котятами.

Она зло посмотрела на него, плюнула и пошла.

— Эй, тетя, вернись! Пирожки-то с ливером!

— Сам ты с ливером, красюк несчастный! — огрызнулась охранница.

Виктор взял пирожок и стал есть.

Подошли верхолазы в желтых касках с цепями на шее и у пояса, уставились на Зубакина.

— Что друг, жарко? — поинтересовался один тощенький.

— О да, мсье! — Виктор вынул из кармана темные очки, надел, скрестил на груди руки с зеленой наколкой у локтя: «Жить надо легче, жить надо проще»...

— Ребята, а во Франции, интересно, растет ли хрен? — отойдя, съязвил тощенький.

— Растет,— успокоили монтажники.

И тут Виктор увидел тетку. Перегнувшись от корзины, она еле несла ее.

— Мамаша, вот ваши деньги. Я пошел.

— Спасибо, сынок,— она засмеялась,— только у меня муж моложе тебя.

— Да?! Тогда передайте ему мое сожаление.

— С удовольствием! Эй, эй, а о чем сожаление-то?!

Виктор выбрался из лесов на мостик через котлован для главного корпуса. Отсюда открывалась панорама стройки. И Виктор подумал, что это похоже на строящийся город. Внизу, в котловане, сновали машины, копошились люди. На расчищенной площадке горел костер. От поселка осталась только больница. А до поселка здесь росли искривленные ветрами березки вокруг болот и мшар. И шумел тростник, и летали утки. А сейчас вот над стройкой в тихом голубом небе высоко стоят набухшие белые облака. Поют жаворонки. Палит солнце, так что нельзя притронуться к металлическим перилам, а за забором, к самому горизонту, по желтым хлебам и сквозным перелескам бегут, торопятся столбы высоковольтки к другой такой же стройке...

Он долго стоит на мостике и наконец идет мимо открытой эстрады, где, кого-то копируя, танцуют два монтажника танец маленьких лебедей. Несколько человек сидят

на лавках, едят пирожки, беляши холодные, запивают кефиром, лимонадом и успевают выкрикивать двум танцующим монтажникам:

— Чувства, чувства нет!..

— Наддай, Женя!

— Якупов, пластики не вижу, пластики!

Вокруг этой площадки цветные расписные домики-конторки строителей, клумбы с цветами и бетонные вазы с пальмами у входа. Скамеечки, как в парке. Садись отдыхай.

Зубакин пошел в кладовую, где он утром оставил свои пожитки и щенка.

4

Их было двое. Тот, что останавливал проходящие такси на проспекте, был очень худ, высок, подвижен. Робкие темные усики придавали интеллигентному лицу взрослость. Он топтался на свежем пятачке черного размякшего асфальта, махал руками, выбегал на проезжую часть и, когда таксисты чуть тормозили, делал отчаявшееся, нервное лицо, но тотчас же видел, что машина занята, зло кривился, опускал правую руку в карман, сжимал там набор отмычек и снова возвращался на пятачок свежего асфальта. На нем серые брюки, зауженные в коленках, и белая нейлоновая рубашка с закатанными рукавами.

Ему лет семнадцать.

Рабочие, что заравнивали свежим асфальтом трещины и выбоины на площади возле стоянки такси, уже сменились и убрали заграждение, а парень все вертелся возле катка, будто интересовался ловкостью конопатого водителя, заставляющего танцевать тяжелую машину на площади, а сам чувствовал себя неуютно и зябко. Ему с каждой минутой становилось все боязнее, глаза темнели от страха и ширились, казалось, будто все видят, что топорщатся карманы брюк, в которых кожаные перчатки, отмычки. Он непрестанно посматривал на часы и беспомощно на приятеля, тоже высокого парня, останавливающего все проходящие такси на другой стороне площади. Второй был в темно-зеленых брюках с красными пуговицами на карманах и в голубой рубахе навыпуск, рыж, сутул, рябоват, с очень длинными сильными руками, но тоже не старше семнадцати лет.

Они волновались, потому что в конце проспекта на повороте ждал их третий, которого они боялись, и еще оттого волновались, что шли на шальное дело впервые.

И был еще кто-то, но они не знали его и не видели, как стоял он на пятом этаже у раскрытого окна и наблюдал за ними, неопытными, и тоже волновался — в случае удачи он собирался на черной «Волге» к Черному морю...

И вдруг из проулка выкатилась «Волга» с зеленым глазком. Рыжий бросился к ней, и подбежал еще один незнакомый им в темных очках, с журналом в руке, которому рыжий тотчас же заявил:

— А ты отскочь!

— Полегче-ка, парень, на поворотах!

— Чё-ё?..

Но тут пожилой шофер устало приоткрыл дверцу:

— Куда вам, петухи?

— Мне ближе, на вокзал,— сказал парень в очках.

— Далеко не поеду,— сказал водитель.— В шесть мне надо быть в парке.

— Дед, мы опаздываем на свадьбу,— взмолился рыжий.

— Не могу, ребята. А кстати, вон Павло едет. Этот вас увезет хоть на Байкал.— Замахал рукой: — Павло, Павло! Вот работка!

Павло поставил рядом голубую «Волгу».

— Куда им?

— Да по сибирскому тракту километров сто,— сказал рыжий.

— Можно,— ответил водитель и, открывая дверцу, выставил одну ногу, закурил.

Павло красив, кареглаз, с множеством мелких родинок на удлиненном, озабоченном лице. Положив руку с сигаретой на баранку, Павло сказал:

— Дядя Саша, будь человеком, заступись за Королева? Ему же позарез нужна квартира.

— Да разве я один отстою?

— Во сколько собираетесь?

— В шесть.

— Может быть, я успею, загляну.

— Может, и успеешь.

Весь этот разговор шел не больше минуты. Павел даже не взглянул на пассажиров, включил скорость и добавил газу.

Впереди сидел длинный, он мог водить машину, мог обманывать папу и маму — поступал в медицинский ин-

ститут, будто бы готовился к экзаменам у товарищей, а на самом деле играл в карты с друзьями, у которых было сомнительное прошлое. Ночами, особенно в дни получки, баловались, раздевали пьяных.

Рыжий сидел за спиной водителя, опустив меж ног сумку и положив на нее большие красные руки. Перед поворотом тихо коснулся плеча водителя:

— Шеф, подождь! Это — наш!

Водитель удивленно оглянулся, увидел сонные, зеленые глаза рыжего и нехотя затормозил. Ему показалось, что он видел уже где-то эти сонные глаза, рыжую шевелюру и эту большую красную руку. И еще его поразила внешность третьего пассажира: позолоченные очки, чуть кривой нос, желтый портфель, ослепительно белая рубашка с галстуком под мягким пуловером и белые, холеные руки. На левой сияло широкое обручальное кольцо.

Павел поймал себя на мысли, что с интересом рассматривает последнего пассажира. Очень уж этот рыжий услужливо распахнул дверцу перед своим приятелем, вроде бы даже подмигнул ему.

Город проехали быстро. И вот уже пустынный тракт с крутыми кюветами, с пышным татарником, с любопытными сусликами у придорожья. Стремительно пролетали березовые лесочки.

После уклона на взгорке увидели пылающий закат и на его фоне хрипло, зловеще каркающих грачей. Обдав теплым, пыльным воздухом, прошел мимо экспресс. Вот обогнали мужика на телеге. Вскоре вкатились в лесную прохладу, в сумрак старых берез.

У водителя не было предчувствия беды. Он не думал ни о молодой жене, ни о двух сынишках, ни о матери, приехавшей к ним в гости из Казахстанских степей.

Он забыл о пассажирах. В свою последнюю минуту он вел послушную машину, сбавляя скорость на повороте, и представлял, как поедет на выходной с друзьями, с семьей на озеро, как будет там пить пиво, ловить рыбу, играть в волейбол и просто валяться на берегу на горячем песке или разглядывать с лодки дно озерное, рыб, букашек, а потом, ошалев от счастья, падать с лодки в теплую воду, нырять, нырять...

Когда на повороте его ударили по голове, он ничего не понял, не успел даже вскрикнуть, лишь резко тормознул, но потом снова погнал машину, навалившись на баранку, вцепившись в нее мертвой хваткой.

За воротник голубой рубашки стекала кровь. Его ударили еще несколько раз. Уже теряя сознание, он навалился грудью на баранку. Взревел клаксон. И еще он услышал точно издалека, как кто-то истерично кричал:

— Дай ему ножа! Ножа дай!

А они, убив его, не могли оторвать от баранки, выкинуть из машины и выключить клаксон, который тревожно и надрывно гудел, будто взывал о помощи. И вдруг послышались короткие сигналы автобуса.

— Кранты-ы, братцы! — заорал длинный, трясясь от страха и оглядываясь по сторонам.

— Заткнись ты, пала,— шикнул на него рыжий.— Хана, пала!

Длинного стошнило на дорогу.

— А ну, ходу! — наконец скомандовал старший, выхватил из машины свой портфель, подождал, пока не скрылись те за березами, отбежал в другую сторону, посыпал за собой петляющий след махоркой и быстро побежал вдоль дороги лесом по густому и высокому папоротнику.

* * *

На четвертом этаже общежития было слышно, как шумели под окном тополя. Окно было открыто вовнутрь створками. Ветер косо забрасывал дождины в комнату.

Прутиков посмотрел в потолок, перевернулся, койка качнулась и звонко хрустнула. Потом в голове стало мутно, зыбуче-жарко. Он только что пришел из кинотеатра, смотрел «В джазе только девушки», смеялся, но и там уже понимал, что «то» будет мучить его, тревожить. Он старался отогнать от себя эту мысль и снова смеялся. После кино выпил в магазине холодной шипучей газировки. Пришел в общежитие. Ребят не было. Он подержал в руках гитару, дотронулся до струн и вновь вспомнил о возникшей тревожной мысли там, в зале кинотеатра. Закрыл дверь на ключ и лег на кровать. Но беспокойство все росло. И росла вырывающаяся изнутри тревога, которой он не хотел, но уже понимал, знал: она подспудно жила в нем, и он боялся, что она вот-вот вырвется и задавит, сомнет всю его волю.

Когда ему было очень уж тягостно в эти дни, он уходил в лес, выходил к скалистому берегу, спускался к реке и допоздна слушал пение птиц. Он любил птиц. В детстве он разводил голубей. У него их воровали. Воровал и он.

В сущности, с этого все и началось. Потом стал уводить велосипеды. Собралась компания. Отважились открывать гаражи и уводить мотоциклы. Позднее — машины.

В пятнадцать лет Прутиков ушел из дому. Два раза попадался на мелких кражах. Потом пять лет работал в Сибири в исправительных колониях. Снова вернулся в родной город. Стал работать на больших стройках монтажником. Теперь один из лучших бригадиров в своем тресте.

Вчера, возвращаясь из леса, он услышал жуткий плач иволги и испугался. А сейчас он молил о том, лишь бы никто не пришел, не увидел его страха. Потому что где-то далеко, и не слухом, а сознанием, он уловил томительно-протяжный звук. Он сразу понял, что это... Резко крутнулся на койке, накрыл голову подушкой, чтоб не слышать. В грудь надавил уголок золотого креста. Вскочил с кровати, быстро подошел и лег грудью на подоконник, крест выскользнул из расстегнутого ворота белой рубашки, звякнул о жесть карниза.

Небо после дождя стало голубым, ясным. Светило солнце. Становилось душно от запаха мокрого асфальта.

Внизу по тротуару шли люди, прислушиваясь, оглядывались в сторону нарастающих звуков, останавливались. Там, приближаясь, томительно звучала похоронная музыка... Тонко, протяжно и непрестанно сигналили такси, тихим медленным потоком движущиеся за колонной людей с множеством венков, за гробом с телом таксиста. Его убили на седьмом километре за городом, по старому сибирскому тракту. Им нужна была машина для ограбления магазина. И тот, кто руководил ими, стоял теперь у окна. Стоял, желтел лицом, не в силах сдержать себя. Он чувствовал, как мокнет рубашка на спине от холодного пота... И ничего не мог с собой сделать. Он знал, что сюда никто не придет. Из тех троих его знает только один. Но тот не выдаст. А остальных, если поймают, не поставят к стенке — им по семнадцать. Но на всякий случай деньги, пистолет и документы он положил в карманы брюк.

Пронзительно-тоскливо загудели клаксоны машин. Похоронная процессия приближалась к остановке у кинотеатра, к тому месту, откуда в последний раз увел свою «Волгу» таксист. Замолчала музыка. И он услышал шорох шагов по асфальту и неотвратимый, как смерть, женский крик.

И еще безысходнее завыли клаксоны. Шоферы-таксисты понимали, что каждый из них мог быть на его месте, и

никто не выехал в этот день на линию. Они сплошным потоком вели свои машины, провожая товарища, и тихо, тихо сигналили.

А Прутиков стоял у окна в белой рубашке, с крестом на шее. Золотой крест иногда взблескивал на солнце, но этого никто не видел. Прутиков стоял и смотрел, как несли за гробом на руках двух мальчиков в одинаковых матросках и вели под руки молодую женщину в черном.

* * *

Ключ выпал из замочной скважины, и дверь тихо открылась. Прутиков вздрогнул и резко отскочил от окна, сунул руку в карман, замер.

— Тропин?! Днем?

Вошедший медленно прикрыл дверь, поднял с пола ключ и закрыл ее. Он был небольшого роста, с большим, выпуклым лбом и чуть кривым носом. Лицо выглядело бледным сквозь серую щетину и усталым. Возле каре-зеленых небольших глаз, близко посаженных к переносице, и тонких сухих губ уже накоплялись мелкие морщинки.

— Не кати на меня волны, старик. Вынимай деньги, чистую рубаху. Как я тебя понял — меня ждет самолет...

— Я тебе не говорил об этом.

— Значит, подумал?

— Зачем ты ввязал в это дело «зелень»?

— А кто в наше время пойдет на такое дело, кроме «зелени»? Думал, воспитаю кадры, а они стукнули по два раза молотком и с перепугу разбежались.

— Знаю.

— Тем лучше. Дай бритву. Знаешь, старик, я думаю, следует оставить усы. С ними я буду выглядеть эстетом...

— Не паясничай.

— Что, нервишки сдают?

— Пожрать принести?

— Нет-с. Мы-с изволили позавтракать в ресторане «Пенек». А водочки бы дернул, грамм сто.

— Что это с тобой, на глазах киснешь?

— А то что...— Тропин сел на стул, опустил меж коленей руки, затравленно огляделся.—...Опять предстоит сматываться из родного города. И с пустыми руками. Не везет мне здесь, старик. Э-эх! Загубилась молодость! Да что там! Ладно.— Он вдруг оглянулся на дверь.— Сентименты в сторону. У меня к вечеру должна быть умная и свежая

рожа. Иначе — хана! Сейчас я ложусь на твою кровать. Сосну часок. А тебе поручение. Для твоих сожителей я — братец. Они могут лицезреть только мою спину. Как стемнеет, выпроводишь меня из комнаты. А в остальном — привет от тети.

— Куда думаешь?

— Туда, где золото роют в горах...

— Не паясничай.

— Ты мудрый мужик, Соловей. Я подамся на модную теперь стройку БАМ. Сколько дашь денег? — посмотрел пытливо.

— Ты же знаешь, что наша касса теперь скудная.

— А все-таки?

— Рублей пятьсот.

— Спасибочки. Это еще по-божески. Нажми на ребят, пусть работают.

— Некому. Да и этот завал.

— А ты побольше хохми на улице. Обычно уличные пижоны на большие дела не лезут. Рожу многие знают. Глядишь, и никаких подозрений. Мне ли тебя учить, Соловей?

Тропину никогда не приходилось учить Соловья, наоборот, тот учил Тропина грабить, подделывать документы, на глазах перевоплощаться.

Познакомились они несколько лет назад на вечеринке. Слава Прутиков был звездой вечера. Он мучил гитару и, красивый, красиво пел в окружении девчонок:

Ах, был я и богом и чертом...
Спрячь за высоким забором девчонку,
Выкраду вместе с забором...

А Тропин угрюмо пил в углу дивана и завидовал. Он всю жизнь завидовал удачливым людям.

Вечер кончился тем, что Прутиков увел Тропина. На ночной улице он остановил мотоциклиста, ссадил вежливо и, вручив гитару и пообещав к утру вернуть мотоцикл, посадил на заднее сиденье Тропина и умчал за город. Пьяный Тропин восхищался проделкой нового друга и преданно дышал ему в затылок.

Тем же летом они увели «Волгу» и удачно сплавили ее на юг. Аппетит разгорался.

— Тебе не пора перебраться из общежития в тихую гавань? — спросил Тропин, поглаживая механической

бритвой щеку.— И здесь неплохо, да вход есть, а выхода нет.

— Рано,— сказал Прутиков-Соловей, поворачиваясь от шкафа с чистой рубашкой в руках.— Поселиться в поселке — вся улица на виду, в городском доме — у подъезда старухи до позднего вечера. Кто к кому пришел — все знают. А тут восемьсот человек, за всеми не усмотришь. И выход есть — окно.

— Брось! У меня еще крылышки не выросли.

— Карниз широкий, за углом труба.

— Усек.— Тропин посмотрел на себя в зеркало и закрыл бритву.

5

Вечером Тропин вышел от Прутикова и сразу же у общежития сел в автобус «Аэропорт».

«Сволочь! — думал он с Прутикове.— Еле выжал пять сотен. Темнит, что денег мало». Хотя сам знал, что и эти деньги общие. Свой же пай от инкассаторских он уже прокутил. «Ну не-ет, шалишь... Надо будет, еще расколешься».

Он вспомнил, как среди бела дня забрали выручку в кассе ресторана и с достоинством удалились. А через три минуты пришла настоящая инкассаторская машина. «У-у, что было-о! Молодец, Азиат! Знатно сработал! — хвалил он себя.— Ладно, уймись! Соловей продумал и все оформил! Хо! Ну, голова! Ему б министром! Ну и что! Тоже, невидаль! Думать одно — работать другое. Ты потеешь, а добычу забирает он. Потом выдает по кусочку. Спрут чертов! А-а!.. Выбираю любой рейс,— решил он.— Чита! Архангельск! Рига! Только не на юг. Жара там, и пять сотен — пустяк».

Он вошел в автобус, устроился на заднее сиденье, положил на колени желтый портфель и оглянулся, прислушался.

— ...Нравлюсь я им, слушай! И чё они ко мне льнут, а? — говорил пьяненький парень с золотым зубом. Когда сильно встряхивало, он очумело поднимал голову с чемодана, который держал на коленях, как гармошку.— А если еще подпоишь... У-у, чё они со мной делают...

— Тише, Коля, тише...

— А в городе, слушай, сухота. Вот у нас девки! У-у!

Рядом с Тропиным двое с папками:

— Я ему три часа — вы консерватор, вы не даете молодым заявить о себе. И мне же: а вы убедите меня, старого, потом рыпайтесь, а? Каково? Полуграмотный мужик. Говорят, он когда-то был конюхом...

Две дамы в белых кружевных кофточках впереди:

— Ой, Сима Игнатьевна! Как можно? Так и сказали ему?.. Ну, знаете, сейчас порядочные мужчины на вес золота. А он умный, обаятельный человек. И знаете, декан — не гриб. Скоро не найдешь.... А вы слышали: это ужасное убийство? Говорят, двоих поймали, третьего ищут... Сегодня по телевизору сообщили его приметы...— Тропин выпрямился.—...Невысок, плечист. Рус. Чуть кривой нос. И шрам на щеке. Глаза вроде серые...

Тропина обдало жаром, но никто на него не оглядывался.

«Продали, стервы! Ах, мать их, продали!»...

— ...Как я одну любил, слушай...

— ...Куда прешь, куда? Ноги отдавил, нах-хал...

Автобус обогнала машина, полная молоденьких милиционеров.

«Стоп. Там тебе, Тропин, нечего делать. Ах, продали, суки... На этой остановке выходить нельзя — кругом голо, проходная завода. А дальше, что дальше? Дальше — приговор приведен в исполнение. Пхе... На-ка, выкуси...»

Кому говорил так, он и сам не знал, а злился на людей. Неуловимо метался по огромной России, грабил, воровал. Почему? Когда началось это зло на людей у Тропина? Может быть, тогда, далеко, где-то в детстве? Бежит соседка:

— Василина, а Василина!.. Твой-то Артемий у сельсовета раздемши лежит в снегу...

Мать брала санки, Шурку, маленького, и шла на розыски мужа. Поднимала Артемия на санки, везла домой. Шурка брел следом. Артемий ерепенился. Сваливался с санок. Его поднимали, уговаривали. У своих ворот он начинал хохотать, трезво вставал на ноги и надменно орал на всю улицу: «Я — азиат! Мать вашу так, азиат я!» Драл рубаху на груди и бил жену. Шурка исходил слезами, дико кричал, лез в ноги, а его отпихивали...

А может быть, позднее, когда его, несмелого, колотили сверстники и он терпел. А потом вдруг одичал, и уже его боялись, а не он их.

Или тогда, когда он, мальчишка, стоял в кабинете начальника цеха и думал, что начальник с ним играет дурач-

ка, и тоже старался делать виноватый вид: ругай, мол, ругай,— шарил веселыми отчаянными глазами по стенам кабинета, мял в руках рыжую мохнатую шапку. «Отлично! — думал мальчишка. — Вот графики — почитаем. Очень интересно. Простои мартеновских печей. Тоже интересно».

У седого, изувеченного войной начальника умное озабоченное лицо — бегут кадры. У начальника обязанность спрашивать: «Куда бежишь? Зачем бежишь?» Бежит вот неплохой каменщик Шурка Тропин. Правда, по собственному желанию. Невыносимо стало жить Шурке в этом городе. Шурке нужна свобода. Захотел — вышел на работу, не захотел — не вышел. Захотел — сел на ТУ-104, и на тебе: Север! Камчатка! Море! Рай! А тут? Подумаешь, прицепились — ночь в карты проиграл. Эх-ха, невидаль!

— Да ты садись, Тропин,— предложил начальник.— Куришь? Вот папиросы. Не стесняйся. Ты вот что, Тропин, как-нибудь после работы приходи ко мне в кабинет. Карты захвати. Поиграем. Научу. Ты что, не веришь? Знаешь, как я играю. За пять минут ты бы у меня остался голеньким. А то за одну ночь сорок рублей ветру под хвост. Даже обидно. Что? Думаешь, начальник с тобой дурачка играет? А? Молчишь? Ну кто ты есть?

— Я — азиат!

— Ох ты, мать честная! Хо-хо! Азиат! Ну, а Родина-то у тебя есть? Молчишь? Ты хоть ее, милый, не проиграй в карты.

Шурка посмотрел в глаза начальнику, подумал: «Трави, трави. Подмигивай веселым глазом. Меня не зацепишь. Скользкий я, Юрий Антонович. Аленка вон тоже хотела зацепить меня».

Аленка — это его девушка. Тропин еще не знал, что Аленка беременна. Этого он не знал, а чтоб уехать с чистой совестью, прикинулся ревновать ее к своему другу Ивану Пупырину. Опыт удался. Аленка испугалась показаться мещанкой, после сцены ревности не стала говорить Шурке о своей горькой беде. Ее молчаливый уход удивил и расстроил Шурку. В общем-то, она ему нравилась, и вроде бы он вдруг начал любить ее. Но сказано — сделано. Тропин он или не Тропин? Ехать так ехать. А тут еще начальник старается заглянуть к нему в душу. Заговаривает про карты и прочее.

— Ну и куда же ты? — спрашивает начальник.

— На Север,— говорит Шурка.

— Кто там тебя ждет?

— Никто. Поступлю моряком. За границу поеду. В Тихий океан...

— Милый мой, тебе бы учиться.

— Нет. Поеду на Север.

— Ладно, езжай,— устав, сказал начальник цеха.— А заявление я не подпишу. Отрабатывать надо за ФЗО. Выбрось всю дурь из головы и работай. В техникум поступай...

Шурка вышел на улицу, взял камень, огляделся — никого, бросил в окно начальнику и исчез.

Может быть, и после появилось зло у Тропина, уже в армии. Степь. Проволока. За ней пустыня. Днем в зыбком горизонте зеленело камышом озеро, и оттуда доносился еле слышимый гомон птиц. Он, Шурка Тропин, в свободные часы уходит в жаркую, таинственную степь. Уходит в одних сапогах, в трусах, в шляпе зеленой. Он давит сапогами всякую вредную живность, бьет сурков, а потом долго смотрит, как те мучаются и кричат глазами. Откуда же зло такое?

— Остановка «Сады»,— объявляет водитель автобуса.

Нелепо выходить здесь, но еще нелепее ехать дальше. Тропин-Азиат пробирается на выход через заднюю дверь. Выпрыгнул. Все. Автобус ушел на аэродром. «Пусть ловят,— злорадно думает он о тех молоденьких милиционерах. И нравится в эту минуту себе.— А ну, кто кого».

Под сердцем ноет. Но он идет уверенно, с вызовом в глазах, мимо садоводов, возвращающихся домой, мимо милиционера, раглядывающего проходящие машины, и круто сворачивает в молодой березовый лесок.

Серые сумерки быстро густеют. Опускается ночь. Он знает, что пешком далеко не уйдет. Знает и то, что, если он попросится на какую-нибудь машину, его не посадят. Шоферы боятся останавливаться ночью.

Возвращаться в город опасно. Если б не шрам на щеке. Это еще было в ФЗО, когда они дрались с поселковыми. Кто-то ударил его старой доской по голове. Доска скользнула по лицу, и в щеке осталась заноза, а он вгорячах не

почувствовал. Потом щека распухла, и врачи не знали отчего, пока не сделали рентген. Разрезали опухоль и долго смеялись, удивлялись, как могла там оказаться щепка. Когда сняли швы, остался рубец с метками от ниток. Рубец походил на жука. Попробуй спрячься.

«Может, расцарапать рану? Глупо».

Пошел вдоль дороги лесом, потом свернул от тракта на тропинку и стал выбираться в сторону мраморных разработок, там, он знал, есть пещеры в скалах у речки. Можно переждать.

Взошла луна. Лес то кончался, то попадались мелкие синеватые под луной кусты, поля пшеницы и ржи, то вновь смыкались над головой березы, горели светляки под ногами, иногда вспархивали какие-то птицы, а он шел. В полночь увидел слабые огоньки деревни. Перешел мост. Где-то на околице тосковал аккордеон. Тропин миновал деревню. У крайнего дома увидел под плетнем белые комья, приблизился — гуси спят. Взял одного, свернул шею и унес с собой. Гусь не пискнул. Стая не проснулась.

Тропин устроился по-царски в узкой закопченной пещере, где до него кто-то жил,— пахло дымом, хвоей, грибами. В дальнем углу на лапнике солома.

Утром его разбудил пионерский горн. Он не обрадовался такому соседству, быстро собрался и кинулся от этого места.

Было еще прохладно. Тропин карабкался вверх, цеплялся за мокрые от росы кусты, оскальзываясь кожаными ботинками на сосновых иголках. Потом ему показалось, что ушел достаточно далеко от людских мест, спустился к реке, разомкнул заросли совсем мокрого тальника. Присел и общипал гуся. Выпотрошил, перья собрал и закидал их листьями, камнями. У самой воды на песке развел огонь. Обмазал гуся глиной и зарыл в угли. Достал из портфеля механическую бритву, побрился.

Здесь речка была узка, шумлива. Пробиваясь в гранитных скалах, она кое-где вырывалась ненадолго, утихала, тогда в ее зеленую воду засматривались могучие сосны, после она снова кипела в камнях, кидалась на гладкие валуны, которые, кто знает, сколько веков лежат на ее пути.

Тропин не вытерпел, устроил стол из камней, выложил на газету хлеб, кусок буженины, что приготовил себе в дорогу, отыскал на берегу ржавую консервную банку, вычистил ее и вскипятил чай, бросив на заварку земляничных

листьев, и сел у костра. Он, конечно же, не переставал думать о том убитом им таксисте. Думал холодно, расчетливо: «И чего вцепился в эту «Волгу», как в свою собственную? А эти жорики отцепить его не сумели. Продали, стервы, а? Меня продали, сволочи,— скрипел он зубами.— Ну, подождите, еще вспомните Шурку-Азиата. Тесна земля».

Неожиданно, совсем рядом где-то послышались ребячьи голоса, свист и топот. И на противоположный берег, на кромку скалы, высыпал пионерский отряд. Ребята замерли, глядя вниз, на бурлящую воду, на скалы и на него, Тропина. Где-то взлаяла собака. Он быстро спрятался за выступ скалы и нащупал в кармане пистолет. Резко обозначились скулы, напряглись мускулы, взбухло и заметалось в груди сердце. «Неужели все?» Прижался спиной к скале. Но вот ребята снова загалдели, голоса стали удаляться. За ними растаял заливистый лай собаки.

Он — человек — был страшен. В его серых маленьких глазах медленно утихал страх, а кулаки все не разжимались, и не проходил озноб. Надо было уходить. Он быстро собрался, завернул в газету недожаренного гуся вместе с глиной и углубился в лес.

К полудню он вдруг наткнулся на туристов. Захотелось подойти, попросить воды напиться, но, увидев две машины с палатками, торопливо свернул в сторону. Потом забрался в глухой ельник, сел, оторвал у гуся ножку, съел ее почти сырую и снова пошел.

Он держал свой путь на Север. Думал уйти подальше и остановиться в какой-нибудь глухой деревушке, переждать там лето, пока ищут. Шел день и еще два дня. И еще день, а к вечеру в проредь леска увидел дорогу. Одна за другой проходили машины. Он устал, стер до крови ноги. Мучили жажда и голод. Просидел в кустах до потемок. Наконец ему повезло. Одна из машин остановилась, остановились за ней и остальные. Он осторожно раздвинул кусты, выглянул, побежал и забрался в кузов последней машины. Прополз меж ящиков к кабине, лег на спину и растянулся на сене. Было тихо, мягко. Робко проклевывались звезды. Скоро он уснул.

А машины эти шли всю ночь в город. Тропин не знал этого, спал. Но ему опять повезло. Он проснулся от паровозного гудка, испуганно приподнялся и узнал свой родной город в туманной дымке. От удивления и растерянности выругался и выпрыгнул.

6

Виктор нашел общежитие и постучал в дверь с номером 13. За дверью кто-то на кого-то кричал, и похоже было, что дрались кастрюлями. Такой там стоял грохот. Двинул кулаком в дверь. Послышались шаги. Дверь открыл щупленький парень в тренировочных обвисших штанах и желтой майке, тот, что покупал пирожки.

— Ба! Мсье, пришел! Чего стоишь, проходи!

— Добрый вечер! Да я не один... Жить пустите?

— Женатик, что ли?

— Да нет. Вот щенок у меня...

— Ну, проходи. Да брось ты свои мешки.

Посреди пола лежала швабра, обмотанная тряпкой, и садовая лейка, очевидно приспособленная для орошения пола.

В комнате с желтыми обоями три железных койки и старый диван, облитый в углу чернилами. На одной койке лежал огромный парень с черным бритым затылком, рядом на тумбочке полуметровая дубина колбасы и полбулки хлеба. Парень отщипывал то и другое и читал «Роман-газету». На второй койке лицом к стене, укрывшись простыней до конопатых плеч, лежал еще один, с взлохмаченной рыжей гривой.

— Клим, перестань храпеть! — щупленький наклонился над ухом спящего: — Р-р-р-ав... Ав...

— Ребята, я — Виктор. А вас как?

— Я — Вова Якупов,— огромный парень перестал жевать колбасу и добродушно протянул руку с койки, потом показал на спящего: — А это наша знаменитость, Клим Раннев — довоенного выпуска. Вес у него семьдесят восемь кэгэ. Имеется сберкнижка. Копит на машину. Если придется деньги занимать — кланяйся его левой ноге. Пока не женат...

С койки Клима в Якупова полетела подушка.

— Вы, кончайте опылять квартиру! Кто пол моет? Я,— оборвал тот, что открывал дверь, и повернулся к Зубакину.— Куличков! — сказал он и опустил щенка.— Топай, братец.

Куличков провел Виктора во вторую комнату:

— Вот тебе койка. А это мое лежбище. Но вот сюда прошу не притрагиваться,— показал на чертежную доску с книгами.— Ну, а в остальном располагайся, как тебе приглянется. К кому в бригаду направили?

— К Илье Куличкову.
— Худовато тебе будет у Ильи Куличкова.
— Это почему?
— Очень просто. Хохмачи и привыкли вкалывать.
— Отлично, и меня научите!
— Кто знает? Ну ладно, ты вытряхивай свои мешки, а я помою пол, потом поджарю картошки, и за круглым столом продолжим нашу аудиенцию.

Виктор вытряхнул все из рюкзака на кровать и подошел к Вове Якупову.

— Вова Якупов, ты можешь показать мне магазин?
— Айда, сейчас оденусь.

Виктор, конечно же, знал, где магазин, нужно было только спуститься с пятого этажа и завернуть за угол дома. Просто ему хотелось узнать вкусы ребят, поговорить с Якуповым, который уже успел ему приглянуться.

— Что пьют ребята? — спросил Виктор, разглядывая витрину «Вино — соки».
— В основном водку. Только Клим чисто виноградное. Забота о личном здоровье.
— Ладно, на́ деньги и купи хлеба и всякой закуси, чтоб не стоять обоим.
— У меня есть деньги,— сказал Вова.
— Кажется, новоселье-то у меня?
— Ну, тогда давай.

Разошлись в разные отделы.

— Девушка, мне четыре «Столичной»,— попросил Виктор.
— У вас, наверное, свадьба? Может быть, шампанского дать из холодильника? — лукаво улыбнулась девушка. У нее тонкая шея и блестящий ободок в высокой пышной прическе. «Симпатичная»,— подумал Виктор.
— Нет. У меня новоселье. И, если можно, дайте две шампанского, только холодного.
— С удовольствием.
— Вот спасибо! Вы завтра работаете?
— Да.
— А в парк вас пригласить можно?
— Можно, после восьми...— Ее зеленоватые глаза, подведенные синим карандашом, смеялись.— У вас было две жены или одна?
— У меня их было десять, а на одиннадцатую я объявил конкурс.

Девчонка засмеялась, а Зубакина потянули за рубашку.

Вова Якупов подошел с пакетами и трехлитровой банкой томатного сока.

— Здравствуй, Нина!

— Здравствуй, Вова!

— До свидания, Нина!

— До свидания, Вова!

— Пойдем к столу, я все уложу в рюкзак,— сказал Вова, когда отошли от прилавка.— Ты не очень... Это девчонка Соловья, то есть Прутикова.

— Что за фрайер? Пардон, ты мне объясни, за какие заслуги присвоили ему этот титул? И кто он?

— И с ним потише... По-моему, он шарит по темным улочкам. Многие его боятся. В общем, сволочь! Но монтажник — артист! Уступает только Куличкову. Живет на нашей площадке. Носит поповскую прическу. Впрочем, сам увидишь.

— И много здесь таких?

— Да есть!

— И вы не можете их прижать!

— А кому охота?

— Вот так всегда, кому охота,— укоризненно сказал Виктор.— А как эта Нина, любит его?

— Куда там! Любовь — как рыбалка: клюет — закидывай удочку, не клюет — сматывай. Соловей — нет. Из-за него ребята к ней не подходят.

— Какие страсти! А что ты будешь делать? — Виктор щелкнул по крышке банки с томатным соком.

— Коктейль «красотка Мэри».

— Это что-то новое. А чем вы занимаетесь вечерами?

— Танцами, картами, водкой, девчонками, прогулками и вздохами при луне...

— Чем же еще?

— Илюшка учится на четвертом курсе политехнического. Клим собирает библиотеку приключений и шпионажа, еще занялся любовью — пропадает где-то по ночам, а я — ничем.

— Молодец, ты и меня научишь!

— Чему? — удивился Якупов, вынося из магазина охапку свертков.

— Заниматься ничем.

В рюкзаке глухо позванивали бутылки. Поднялись на пятый этаж, толкнули дверь с номером 13. В центре комнаты стол, покрытый газетами. На столе две бутылки вермута, стаканы и сковорода с жареной картошкой.

— Уже выфрантились. А мы что?

— И мы тоже,— поддержал Якупова Виктор и полез в чемодан за свежей рубашкой.

Сели. Илья плеснул в стакан томатного сока и по широкому ножу долил до краев водкой.

— Эх, водонька! — вздохнул Якупов.

— Я — шампанское,— сказал Клим.

— Ребята, выпьем «красотку Мэри» вот за этого мсье,— предложил Илья.

Выпили.

— Ну, так кто ты и откуда? — спросил Илья.

— Я? Как видите — я. Прибыл из творческой командировки. Ну, а об остальном я как-нибудь расскажу в другой раз, а то будет очень весело...

— Почти ясно. Кто против?

Выпили томатного сока. Дружно взялись за вилки.

В руках Клима появилась гитара. В открытый балкон было видно, как за узкой речкой, за старой сосновой рощей и дальше за аэродромом на всхолмке тускнел закат. Клим дергал струны гитары и говорил песню:

А меня ругает мама,
Что ночами дома нету...

Кто-то открыл дверь. Вошли двое. Один длинный, узкоплечий, но с коротковатыми и кривыми ногами, второй с гитарой в руках, в распахнутом вороте рубахи на волосатой груди крест со спичечную коробку, золотой, каштановые волосы вьются до плеч. Ему лет двадцать восемь. На висках редкая проседь. На тоскливом лице черные глаза. На черном грифе гитары длинная кисть руки с взбухшими венами и перстнем.

Столкнулись глазами. Виктор понял, что это и есть Соловей.

— Нас не приглашают, но мы сядем,— сказал длинный парень, отпинывая стул и садясь на диван.

— Ясное дело, сядем,— поддакнул Якупов и неуверенно взглянул на Соловья, искоса изучающего Виктора.

— Проходи, Слава,— Илья пододвинул стул и налил граненый стакан водки.— Держи. За новоселье этого парня. Будет работать у нас.— Налил и остальным. Соловей положил гитару на кровать Клима и подошел к столу.

— Ну что ж, пить — так водоньку, любить — так королев!

— Не реально! — сказал Вова.— Графиню еще туда-сюда.

Соловей выпил, вытер губы ладонью, запил томатным соком.

— Ну ты, пацан?! — вздыбился кривоногий.

— Это ты вон своих называй пацанами, понял? А я тебе не пацан, понял? — одернул Вова.

— Бросьте вы, ребята! — морщась, сказал Илья.— А ты, Вова, не порть нам вечер. Да и чего зря чесать языками, идите вон в сквер, помашите руками. Охламоны!

— А чего он выпендривается! — огрызнулся Вова.

Кривоногий небрежно кинул в рот сигаретку, прикурил от зажигалки-пистолета, взял у Клима гитару и бабским, отчаянно-протяжным голосом запел:

— И-иэх, расскажи, да расскажи, бродяга, а чей ты р-родом, да откуда ты-ы?..— Неожиданно прижал ладонью струны.— А кто из вас, мальчики, тайгу нюхал?

— Чё ее нюхать-то? Пусть медведи нюхают. Вот Кузьмич наш на Кремле звезду устанавливал — это да! — сказал Вова.

— Нет ли у вас на стройке того пацана, что полетел на Марс? — спросил парень.

— Не слыхал о таком.

— Жаль, о нем писали в газете...

— Да ну?! — притворно удивился Вова.

— Точно!

— Ну ты, пацан, замри! — бросил кривоногий Якупову.

— Га-ад! — задохнулся Вова.

— Вот что, парень, а сам ты на что годен? — повернувшись резко, вместе со стулом, спросил Виктор.

— Выйдем, покажу.

Виктор давнул ему рукой на плечо, и тот недоуменно притиснулся к спинке стула.

— А еще, кроме «выйдем», что? — спокойно спросил Виктор.

— Пойдем, Виктор, погуляем,— встал Вова.— Вот это мы тебя встретили. И чего они приперлись?

— Чепуха, Вова. Пойдем-ка действительно погуляем,— сказал Виктор.

Спустились и пошли по вечерним улицам к парку.

— Знаешь, Вова, еще после войны здесь был лес, мшары, болота, а вот сейчас уже огромный город. Когда я уезжал отсюда, этих улиц еще не было. Была барачная улица Социалистическая. «Улица любви». И был парк. Мы бегали на танцплощадку. Давно это было...

* * *

Зубакина еще не допускали на высоту, хотя он и был дипломированным сварщиком. До переэкзаменовки оставалась неделя, а пока он работал внизу.

— Ты что делаешь? — спросил Зубакин своего напарника, сидящего на корточках перед опрокинутым мятым ведром.

— Познаю истину. Вчера в парке на мою красивую физику опустился кулак. Во-от такой! Вроде твоего! — ответил Женька, растирая что-то на ведре в синей бумажке.— Во, Кузьмич принес, говорит, золотое средство от синяков — бодяга. У тебя зеркальца нет?

— Женька! — гулко, весело разнеслось сверху.— Кончай пудриться. Давай резак.

У Женьки нежное овальное лицо с темным пушком над губой, глаза карие, ласковые.

Женька вскочил, поймал конец брошенной веревки и, оглядевшись по сторонам, погрозил кулаком:

— Слушай, ты, Феня! Выключи приемник...

«Феня» — ни кто другой, как Вова Якупов,— выразительно махал руками, стоя на краю фермы.

— Ах, аюшки! — по-старушечьи взвизгнул с высоты Якупов.— Да я с таким синякатым не пойду сегодня в кино. И вообще, в партком побегу, нажалуюсь на тебя, паршивца, всю жисть мою исковеркал, измял, разлюбил...— Вова, дурачась, кокетливо изогнулся, придерживая воображаемые концы косынки.

В пролете от стены до стены качался гомерический хохот.

— Давай, давай, спустишься, я тут тебя пообнимаю...— пообещал Женька.

С конца пролета, размахивая кулаком над седой головой, появился прораб. Хохот усилился и тотчас сник.

— Куда вы меня загоните, циркачи, анчихристы проклятые? — взмолился прораб.— Куда, а? Где Куличков? Где эта светлая личность стройки? Цирк, цирк расплодили! В парткоме слышно, как вы тут хохмочки откалываете. Якупов, Якупов, ах, укуси тебя черт за ногу! Немедленно привяжись! Слышишь, что я говорю?

— Слышу, Кузьмич, да я к вам и к этим стальным кружевам сердцем привязан, а не токмо этой цепью. Да мы за вас, Кузьмич, головой вниз, да мы...

— Ох и гад же ты, Якупов! — похвалил прораб, потом разулыбался беззубым ртом, добродушно махнул рукой, повернулся и ушел. Вверху прокатился скромный смешок.

— Как прораб? — спросил Зубакин у Женьки.

— Ничего, парень свой. Тут легенда ходит, как он никогда в жизни не привязывался, ходил, словно по канату, по семидесятимиллиметровому уголку на фермах. А однажды с какого-то горя наклюкался так, что лег на балку, обхватил ее и отключился. Вся стройка сбежалась, когда его снимали краном. А еще он сам рассказывал, как в молодости влюбился. Однажды ему надо было обрезать балку, так он сел на этот конец балки и обрезал... Ну и упал с десятиметровой высоты. Приземлился лучше космонавта, прямо-таки сел в коробку с раствором. Правда, штаны лопнули. Зато сейчас его любимая жена ябедничает ходит, будто он на молодушек заглядывается. Прямо жалко, как унижает нашего прораба...

— А что это вы Якупова все Вова да Вова?

— А как же его звать, если он в паспорте — Якупов Вова, и все. Детдомовец.

— Тебя из-за девчонки побили?

— Ну и что?

— Женька, принимай бачок, давай электроды,— попросил сверху Вова.

— А лимонадику тебе не надо? — съязвил Женька.

— Не откажусь, давай!

Женька взял ведро, положил в него пачку электродов и бутылку лимонада, привязал к веревке, на которой Якупов спустил бачок.

— Вира! — пронзительно свистнул Женька.

С противоположного конца фермы сыпались голубые искры.

— Слушай, Витя, что у тебя на руках такие рубцы? — спросил Женька, укладывая нарезанный уголок в пакет.

— Я не помню, Женя, или медведь, или собака чуть-чуть погрызли.

— Ясно! Это там?..

— Ничего тебе еще не ясно, котенок!

— Что я, маленький? — обиделся Женька.

— Я вот большой, да мне ничего в жизни не ясно.

— Не хочешь, не рассказывай. Я же не настаиваю. Пойдем вон лучше кронштейны перетаскаем. Ты идешь с нами в кино?

— Нет. Как-нибудь в другой раз.
— Чего так?
— Надо с матерью повидаться.
— Разве у тебя здесь живет мать?
— Жила.

Женька пристально глянул на Виктора и ничего не понял. Запел:

— От Махачкалы до Баку, до Баку волны плавают на боку, на боку...

В обеденный перерыв в тени у сцены на агитплощадке поели холодных беляшей с кефиром. Якупов взобрался на сцену, прошелся «умирающим лебедем».

— Давай лезгинку!
— Нет. Хотите, буду читать стихи?
— Давай!

Якупов снял желтую каску, брякнул цепью на шее, возвел скошенные, с наплывшими веками татарские глаза в небо:

— А вот:

Айда, голубарь, пошевеливай, трогай,
Коняга, мой конь вороной.
Все люди, как люди, поедут дорогой,
А мы пронесем стороной...

А вот еще:

Дни-мальчишки, вы ушли, хорошие,
Мне оставили одни слова.
Я за это рыженькую лошадь
В губы мягкие расцеловал...

— Знаешь, Витя, эх и здорово он читает! — вздохнул Женька.— Степью запахло. Ветром. Ускакать бы. Давай залезем на крышу. Видок — ахнешь! И ветер!

— Айда!

Якупов перестал читать стихи, сел на край сцены, спустил ноги. Клим и Илья лежали в тени на земле и задумчиво разглядывали в спокойном голубом небе росчерк реактивного самолета.

После работы, переодевшись, ребята пошли к трамвайной остановке, а Зубакин свернул к месту своего бывшего домика.

Постоял. Посидел у берез. Медленно встал, снял с розовой метелки кипрея паутинку шлаковаты и тихо побрел за забор, в степь.

7

Зубакин шагал по дороге, ссохшейся, потрескавшейся от жары, с двумя укатанными до гладкости колеями, шагал мимо картофельного поля справа и пшеничного — слева, шагал за своей длинной тенью, щурясь от ослепительных вспышек стекла на дороге.

Хотелось верить, что все это было не с ним, Зубакиным, а с кем-то другим. «Но ведь было, было! — лихорадочно и зло говорил он себе.— А теперь надо жить, работать, забыть».

Ему было очень трудно не вспоминать о прошлом. Оно шло за ним тенью, и он не мог от него убежать.

Его много раз обманывали. И на третьем году он не вынес жизни в колонии и бежал. Бежал один, северной тайгой, в тонкой фуфайке на фланелевую рубаху, в ботинках, подбитых покрышкой от колес. Новые выманил вор Сурепов. Сурепов сказал ему:

— Махнем? Хочешь, я отрублю ногу за твои ботинки?

Зубакин не поверил. Отрубить ногу? Надо быть сумасшедшим. Ударились по рукам. Сурепов рубанул топором по ноге, обмотанной тряпьем. Кусок тряпки отвалился. У него не было ступни. Но слово — закон! Дал слово — снимай! Со стен барака (они перестилали пол) от хохота осыпалась штукатурка. А утром следующего дня дневальный закричал:

— Эй, Зубакин, что за бардак на постели?

Виктор подбежал, глянул.

— Гражданин дневальный, мои на мне.— И заорал: — Чьи штаны, гады, сволочи? Сейчас выкину...

Из умывальной выскочил сосед с верхних нар, Гришка Стамбульян. Он каждое утро обтирался холодной водой.

— Витка, Витка, это мой брук! Пуст сыдыт там!

И снова от хохота в бараке осыпалась штукатурка. Через два дня Зубакин бежал. Он бежал и знал, что за ним пойдут в погоню и чем это могло кончиться.

А вышло все не так.

Когда бригадир послал в инструменталку заменить пилу, ему вдруг повезло испытать судьбу — отошел охранник. Зубакин отпрыгнул в пихтовый стланик, затаился, спрятал в кусты пилу. Потом, пригибаясь и петляя, побежал.

Под рубахой в тряпице был килограмм хлеба, два по триста он сэкономил от своих обедов, а за четыреста отдал

перочинный ножичек, который нашел за зоной и хранил в подошве ботинка. У него там же был еще один, заточенный из ножовочного полотна, узенький, без ручки. Подошвы толстые, прочные. Правда, ботинки старые, и он не знал, на сколько их хватит.

Через завалы бежать было трудно. Все чаще проваливался в трухлявые стволы поваленных деревьев. Но силы было еще много, он это знал и радовался. А самое главное, он считал, что делает все правильно, и что там все страхи перед мошкой, топями да болотами по сравнению с неволей! Он пройдет все топи — выдержит, а там будь что будет, зато он никогда уже не потащит парашу, и никакой бригадир не унизит, не заорет: «Эй ты, такой-сякой, подай обувку», и эта опротивевшая лагерная жизнь канет из памяти. «Господи, свобода!» Он скоро устал и позволил себе отдышаться, сбавил бег на шажистый ход, расстегнул фуфайку.

Свет не пробивался в этот сумрачный лес с редкими облишаенными березками. Лишь высоко-высоко у верхушек могучих елей и пихт пробивался синий свет.

Надо было выбрать верный ориентир на юг. Он знал одно: все деревья тянутся ветвями к солнцу, к югу. А как определить здесь в глушняке — где юг? Но он верил, что выйдет. Полагался на свою интуицию. Хватятся его только вечером, на поверке перед зоной, и поэтому часов пять можно бежать и бежать без опаски. Неожиданно вылетел на осыпчивый берег ручейка и увидел, что лес здесь редеет, начинают попадаться кедрачи, пламенеющая рябина, кусты кислицы. Зачерпнул пригоршню обжигающей воды — заломило зубы. У ног на прозрачной неглубокой водице, над серыми чистыми камушками, тихо крутилась ветка брусничника с единственной белобокой ягодой. Зубакин потянулся за ней, откусил, размял по нёбу, запил и перепрыгнул ручей. Из рябинника с тонким, тревожным писком выпорхнули рябчики. Виктор обошел по белесому мху коряжистый кедр, царапающий верхушкой низкое небо, осмотрел расположение ветвей и снова побежал на юг. Сейчас бежать стало легче, пошел полосой буйный молодняк да грибы, грибы и еще диковинные цветы, которых он не знал. Разноцветными платками мелькали на зелени поляны брусники, от брусники оставались красные следы— так она здесь буйно росла, голубела голубица — таежный виноград, оранжевела на кочках морошка. Ягоды его не манили, он только удивлялся каждый раз, как при-

рода наделила землю, все южные и тропические фрукты здесь заменяла ягода. И вовсе бы не должны расти на гольцах грибы, да растут так, что хоть коси,— еда оленей, зверья.

Он узнал прошлогодние вырубки, за которыми опять начнется дремучая тайга.

Иногда приостанавливался, таил дыхание, прислушивался.

Вскоре он почувствовал боль в боку. «Ничего, это от свободы, от радости,— думал он, продолжая бежать.— Сколько я пробежал? Километров пять? Чудило, это же капля в море! А сколько впереди?» Он еще не задумывался, что там, впереди. Но успокаивал себя: «Ничего. Трава есть, ишь вымахала, половина ее съедобна.— На ходу сорвал стебель борщевика, погрыз.— Ягода есть. Грибы есть». Где-то в глубине души он надеялся встретить настоящих людей — геологов. Расскажет им о себе и робко попросит: «Не выдавайте меня, братцы?» А геологи — люди же — поймут, накормят, дадут одежку, и он спокойно побежит дальше, домой, к матери. А если... Нет, не надо думать об этом «если». Жили же раньше скрытники по глухоманным таежным углам России. Неожиданно им овладела тревога. Но он подавил в себе это чувство, решив в случае необходимости тоже навсегда уйти от людей. Вспомнил, как говорил следователю и на суде одно и то же:

— Я виновным себя не считаю. Не виновен я, не виноват.

И бледное бесстрастное лицо судьи с огромными карими глазами, сухими и дальними.

— А кто же виноват, Зубакин? Человека-то нет. Кто вернет ему жизнь, а матери сына? Вы об этом подумали? — спрашивал судья.

— Я не знал, что так выйдет! Я не хотел убивать! Он сам на меня с ножом... Я не хотел...

А потом: встать, суд идет! И приговор — десять лет. И крик матери...

Пришла ночь. Он не остановился на ночлег. Все бежал по настороженной, притихшей тайге, запинался, падал в холодный лишайник, вставал и снова шел, разнимая перед лицом ветки.

Страха не было.

Он не удержался и съел половину хлеба. Вскоре начал редеть лес... Но появился впереди туман. Пошел коч-

карник. Под ногами захлюпало. Чуть дальше зыбуче закачалась почва.

Туман стлался низко, и там, за ним, как показалось Виктору, снова был лес. В небе над кажущимся лесом стояло мутное пятно луны, и до рассвета было еще далеко.

Зубакин оглянулся назад, в темень, и опешил. Шагах в десяти стоял, покачиваясь, медведь. Не раздумывая, Зубакин кинулся бежать. Первая рыхлая кочка, вторая, третья, и вдруг провалился. Ноги обняло что-то теплое, плотное. Сбросил фуфайку. Он остервенело бился, сгребая все вокруг себя до тех пор, пока не понял, что вонючая, булькающая жижа — уже по грудь ему — топь. В глазах потемнело. Вот она, страшная таежная топь! Дотянулся до кочки, ухватился за траву и закричал — тягуче, пронзительно. Кричал долго и страшно, а потом вслушивался в ласковую, теплую тишину, не видную, но суетливую жизнь болотных букашек и снова кричал.

Жить хотелось.

Темнота и туман медленно таяли.

Наконец Зубакин увидел сквозь полчища мошки и разбуженных комаров темные, зловещие оконца зыбун-воды с ряской поверху, а на берегу, откуда он бежал, плотные камыши и пушицу да вместо медведя в сверкающей росе молодую кудрявую пихточку.

Он снова долго кричал. Потом затих.

Взошло солнце. Где-то отдаленно закричали гуси. Вовсе рядом пискнула какая-то птаха. По руке прополз усатый суетливый жучок.

Мир жил.

Зубакин закрыл измученные мошкой глаза. Ненадолго страх обвял. «Мама, прости меня. За все прости. Я — скотина. Но не мог я иначе...» И стал ждать смерти.

Тепло из тела ушло. Уходили и силы.

И когда сквозь сетку мошки, комарья он как в тумане увидел у пихточки огромную серую овчарку с розовым, горячим языком, не удивился. «Вот она, смерть! Как долго она подбиралась! А сейчас она меня будет мучить, и я задохнусь в этой каше. Боже, если ты есть, скажи ей, пусть она не мучит меня. Пусть укусит скорее. И все».

И собака, виляя хвостом, повизгивая, попятилась.

Тотчас же за ней вырос проводник — солдат. Он оторопело замер и тоже попятился.

— Фу, черт!

Снял фуражку, прижмурился, помял мальчишеское веснушчатое лицо и встряхнул головой. Медленно, боязливо открыл круглые голубые глаза.

— Фу, черт!

Потом разглядел, заметался. Снял с груди автомат, повесил на пихточку, отстегнул поводок с ошейника собаки, но понял, что коротковата, и побежал к лесу. Словно назло, не оказалось поблизости бурелома. Стал ломать зеленый чахлый тальник, лапник, накидав до первой кочки, осторожно прошел, устоял на ней.

— Эй, друг, уснул?

Зубакин с трудом поднял опухшие веки и снова не удивился.

— Уснул, спрашиваю? Ах, ты живой! — обрадовался.— Ну, молодец! Ты чего ж сюда перся, маму родную встретить? А ну, не шевелись! — Солдат хмурил брови, но лицо было растерянное: вот сейчас на глазах у него трясина проглотит человека. Пусть заключенного, преступника-беглеца, но человека же. Каких-то шесть, семь метров!

Под ногами солдата закачалась кочка. Начала оседать. Он кинулся назад.

— Слушай, я тебя очень прошу, пристрели ты меня. Ну что тебе стоит! Я — мразь и подонок... Ну?! — попросил Зубакин, сжимая отекшими руками спасительный пучок земли и травы.— И не лезь ко мне...— Глухо добавил: — Пропадешь!

— Дурак ты, братец! Потерпи чуть-чуть... Я счас.— Обернулся и ласково добавил: — Потерпи...

Он ломал и ломал ветки. И беспомощно говорил себе: «Мохов, неужели ты не спасешь, Мохов? Какой ты, к черту, солдат, Мохов?»

Большие сучья пружинили, не ломались. Он охапками таскал мелочь, кидал их все дальше и дальше, а после, разгорячившись, прикладом автомата начал сшибать крупные ветки и устилать ими топь. Собака совалась под ноги. «На место, Рекс!» — кричал он и видел, что у человека видна еще черная голова, над которой серой тучей вились мириады гнуса. В отчаянии он дал очередь из автомата по стволу пихточки. Еле сломал ее и осторожно пошел на топь, держа деревце наперевес. Неожиданно для себя привязал к ней поводок.

— А теперь слушай... Да не таращи ты глаза, крест те в душу! Заикой сделаешь... Слышишь, сейчас тихонечко отцепись от кочки одной рукой и лови... Да не трепыхайся

ты, черт! Утонешь! Ну!.. Хватай! Во, молодец! Тихо, тихо, поедем... Не дрыгайся, говорю, паразит, кы-ык счас врежу!..— грозился солдат, будто в самом деле мог этак небрежно подойти и врезать. Стал медленно тянуть. И вдруг опало сердце — поехал навстречу беглецу вместе с ветками.— Стоп! — дико крикнул.— Хватайся за кочку! — Сам провалился по пояс. И, падая на спину, на спасительную дорожку из веток, выпустил пихточку.— Рекс! Рекс!

Собака ухватила зубами за гимнастерку, заупиралась, поволокла. Выцарапался. Выполз.

— Умница, Рекс!

Поднялся на ноги и — в лес. «Ну не-ет, Мохов, эта вонючая пучина — зола. Лишь бы он там удержался».

И потом, когда, провалившись еще несколько раз, он выволок Зубакина, почти бесчувственного, хлебнувшего тины, сам, грязный с головы до ног, сияя зубами и белесым чубчиком, пошел вьюном:

— Ас-са, гоп, ча-ча. Уф!..— С маху сел в траву, ухватив горсть грязи, прилепил себе на макушку.— Вот тебе, вот тебе! — показал болоту кукиш.

«Господи, дите!» — натянуто улыбаясь и отплевываясь, подумал Зубакин и сам, еще не сознавая того, потянулся душой к дитю этому.

— Слышь, можно я сяду? — поднял голову Виктор.

— Очухался! Да ты полежи, отдохни...

Зубакин повернулся на живот, уткнул голову в жесткую траву под руки. Дернулись плечи.

— Ты это брось, брось, паря! Мужик, поди. «Ну и преступничек! Глаза беспомощные, как у телка».

— Так это я... Пройдет.

Виктор успокоился, сел, опустил руки меж ног, задрал голову и медленно обвел взглядом низкое небо со слоистыми белыми облаками, плывущими под синевой, под небогатым таежным солнцем, на болото, на желто-зеленую, манящую полежать, обман-траву и темный развод в ней, где все еще булькали со дна пузыри и зловеще, громко лопались, на спокойно лежащую овчарку у автомата и на себя...

Выпростал из штанов прильнувшую к телу рубаху и выгреб хлеб, превратившийся в грязную кашу. Не пригодился. Он старательно отводил от своего спасителя угрюмые, все еще шальные с испуга глаза.

— Эх, счас бы пополоскаться в тепленькой водице! — вздохнул солдат и сделал стойку на руках. Человек

радовался своей удаче, ахал, трепал собаку и пытался даже залезть на сухостойную пихту, чтоб увидеть даль болота.

— Слышь, как звать-то тебя? — осмелился спросить Зубакин.

— Дед Иван Мохов был, отец Иван Мохов, ну и я тож,— плюхнулся плашмя рядом.— А ты — Зубакин?

— Виктор.

— Ну и лады, Витька, значит. Откуда?

— Челябинский.

— Гли-ко — родня! Я курганский. Слыхал Шумиху? Вот я оттеляшний. Ах, черт, хорошо! На, закури,— протянул сигарету.— Значит, мы с тобой земляки.

У Зубакина затряслись руки и мелко, нехорошо задрожали губы. Затянулся. Пошло, покатилось по каждой жилочке. Сладко заныло сердце. Много ли человеку надо!

— А все эти болота, Витька,— зола,— убежденно сказал Мохов.— Жить надо! Радоваться! Людей любить!.. Осенью я домой! У меня там,— приподнял на вершок от земли грязную маленькую руку,— во, Танька бегает. Два годика. Ух, наобнимаемся! Дела-а!.. Ну ты как? Топать сможешь? Надо бы ключ или ручей найти, а то всех зверят в тайге распугаем. Как черти! Х-ха-ха! Я как увидел тебя в этой пучине, чуть заикаться не стал. Чумазый. Глазищи — во! — показал.— Голова черная. Ну, думаю, плохи мои дела — чокнулся. Еле отошел... Страшно было?

— Страшно.

«У него уже Танька,— потерянно думал Зубакин.— А он лез в топь. Тянул меня. Зачем? Неужели выслужиться? Ведь мог запросто погибнуть вместе со мной».

— Долго еще тебе? — Мохов стрельнул окурок в болото.

— Семь.

— Ог-го! За что так? — снял сапоги, вылил грязь.

— Да один паразит выскочил на меня из проулка с ножом, ночью. Я и вдарил. Вот,—протянул ручищу,—этой!

— Ну и дурак! — будто и не взглянув на руку, которой когда-то человек убил человека, спокойно сказал Мохов.— Нечего было сюда переться. Тоже, нашел турецкую баню. Надо было написать заявление начальнику колонии. Я — такой-то, такой-то. Прошу пересмотреть мое дело, так как я виновным себя не считаю — оборонялся... Тьфу, большая фигура, да дура! Сейчас, Витька, порядки уже не те...

Я б тож... Правда, убить — кулак не тот, а вдарить бы вдарил. Чесслово!

— И сидел бы рядом со мной.

— Ну уж, брось! Там вон какие волки сидят. Мы с тобой против них — тьфу, цыпленки... Н-да-а, вон дело-то какое... Надо было все ж написать заявление, что же ты не сообразил? Батя у нас, знаешь, мировой мужик...

— Все они мировые,— недовольно прервал Зубакин.— Только не с нашим братом зеками.

— Не мели.— Во взгляде упрек.— И что ты злой такой? Если тебе вместо судьи попал какой-нибудь бывший директор пивзавода, так ты что думаешь — все такие? Хорошо, ты одного стукнул, а сколько их с ножами по России гуляет? Да что тебе говорить: сам знаешь. Давай выпустим всех — завтра отовсюду плачь услышишь. Э, да что там!..— махнул рукой Мохов. Ушел в свои думы. Глаза посуровели, обернулся к собаке:— Рексуш! Устал? — Поднялся.— Может, двинем? Ты как? А то обсыхаем. Да ты не тужи. Все равно бы пропал в тайге, а так — я уверен — все образуется...

— Пошли,— согласился Виктор. Встал, передернул плечами и с настороженной спиной шагнул вперед.

Мохов повесил автомат на грудь, поднял свою чистенькую фуфайку, догнал Зубакина. Отправились рядком на север. Один высокий, в плечах могутный. Второй щупленький, на голову ниже. Собака бежала следом, задирала морду к верхушкам деревьев, коротко взлаивала.

— Это она соболя пужает,— сказал Мохов.— А ему не страшно. Закурим? — в глазах снова запрыгали бесенята.

В полдень нашли ручеек.

— Давай-ка разведем огонь,— предложил Мохов.— Одежду постираем, а то от нас на версту болотом пахнет.

Собрали сушняка на пологий бережок. Мохов стал колдовать над огнем. Зубакин полез в ручей. В ледяной воде вычистил ботинки, разделся, начал полоскать рубаху. Грязь въелась, не отстирывалась. И еще больше тянуло от нее болотной прелью. На голое, мокрое тело рьяно кинулась мошкара. Прибежал к костру, запрыгал.

— Не слопают,— добродушничал Мохов.— Вешай вон на колышки штаны-то. В кармане фуфайки пузырек с репудином, возьми, помажься. Чуть отлипнут.

Наклонился, залез в карман. «Ой, мама родная, пачка печенья непочатая!» Побежали круги перед глазами. Выдержал. Не попросил. Сглотнул слюну. Взял репудин.

Собака подошла неслышно. Сгорбилась. Вздыбив шерсть, рыкнула. Смотрит желтыми глазами, зло щурит, ногами подрагивает — вот прыгнет.

— Рекс — сесть!

Рекс отошел к автомату, улегся.

— Ну и тигра! — похвалил Виктор, вытирая лоб.

— Что ты, умница! Из дому вез. В Кургане за нее «Волгу» предлагали. Шутили, наверно. Я его слепым подобрал в саду совхозном.— Рексуш, подь сюда. Есть хочешь? — потеребил загривок.— Счас вымоемся — пообедаем. Потерпи чуть-чуть. Ну, капельку. Чесслово!

Костерок разгорался. Огонь медленно полз по скудным веточкам, составленным шалашиком.

— Вить,— встал с корточек,— ты вон те, крупные поломай и ставь так же. Здоров же ты! — Завистливо обошел. А спина грязная. Пошли смою.

«Какой он, к черту, преступник. В глазищах все еще ужас,— думал меж тем Мохов.— Натерпелся, бедняга. На всю жизнь хватит».

Шпарили друг друга нижней рубахой Мохова, стоя в крохотном озерке. Проточная вода кружила желтые листья рябины и мелкие извялые иголочки пихтача.

— Ах, шибко! Ах, здорово! Бр-р-р! — почесывал бока Мохов и поплясывал в ледяной воде.— Айда к костру! Жрать охота! Там где-то печенье, сухарики, сахар. А ты давай жми за морошкой. М-м, с сахаром! — И побежал, ушастый, курносый, с чистой, доброй радостью в теле.— Ах, мы-ла Марусе-енька-а белыя но-оги-и, белыя-а ноги-и, лазоре-евы о-очи...— тоненько, закрывая от удовольствия круглые голубые глаза в белесых редких ресничках, пел Мохов.

Виктор пришел с пригоршней морошки у груди, увидел Мохова, голого, подсушивающего кальсоны над костерком и умиротворенно отгоняющего веточкой комаров от бледных жилистых ног, обросших золотистым пушком, успокоился и впервые по-настоящему обрадовался своему спасению. Он вспомнил неотступную мысль: жить! Только жить! Больше там, в болоте, он, кажется, ни о чем не думал.

Мохов еще пел.

От костра, когда они уходили, остался на зеленой травке черный круг с кучкой озолков.

Ночью их вела собака.

Дорогой Мохов говорил и говорил, рассказывал о сво-

ей жене Верушке, как познакомился с ней в Кургане на вокзале. Сидит, ревет, дура,— не поступила в институт. Привез к себе. А дядька, куркуль паршивый, не пустил жить. Чужие пустили. Поженились... Вот теперь мыкается одна с Танькой. Правда, люди в совхозе что надо! Устроили ее в ягодный питомник. Дочку балуют. Уж на что тракторист Петухов, я и не знаком с ним вовсе, а он скатал Таньке валеночки, принес, пишут, примерил, чай пить остался. Нет, что ты ни говори, а жить стоит.

К утру у Зубакина заныла поясница, но он молчал, только все чаще запинался и хватался за бок.

— Болит? — остановился Мохов.

— Вот здесь горит,— показал.

— Это знаешь что, это, брат ты мой, аппендицит или почки. Скорее почки, раз поясница болит. Воспаление. Факт. Тайга не курорт — ванны нет, теплую-то грязь принимать... Потерпи, скоро придем, а там в санчасть ляжешь.

Но когда на рассвете пришли в колонию, начальник караула коротко приказал:

— В карцер!

— Да вы что? Почки у него того...— взъерошился Мохов.

— Может, скомандуешь вертолет вызвать и в больницу отправить? — прищурился недобро начальник караула.— Ну и хитрец, Мохов!

— Какой хитрец? Я — весь на виду. Я хитрость не прячу. А только сейчас не дам я в карцер человека сажать. К начальнику колонии пойду...

— Мохов, к начальнику колонии, быстро! — скомандовал дежурный.

Мохов осмотрел себя — страх! — махнул рукой и побежал в контору. Робко стукнул в дверь, обитую черным дерматином.

— Войдите! — голос усталый, приглушенный.

Вошел, руку к козырьку, каблуки вместе.

— Здравия желаю, товарищ подполковник!

— Здравствуй, Мохов, здравствуй! Садись, рассказывай.

— Разрешите доложить?

— Садись, садись!

Сел на краешек стула, чтоб не испачкать, начал рассказывать. Начальник КВЧ сутулится, недовольно сверлит глазом Мохова. Не верит. Майор, заместитель начальника, волнуется, крутит на пухлом пальчике кольцо золотое.

Мохов смотрит в серые усмешливые глаза подполковника. «Седой-то, господи! Круги под глазищами, нос один торчит. Тоже, работка!»

— Значит, вытащил все-таки?

— Вытащил, Владимир Харитонович, а только жалко мне его, если разобраться... Да и бригадир, говорят, зверь. Вот и убег. Сейчас начальник караула приказал в карцер отвести. А у него почки. После болота. Еле довел. Чесслово, Владимир Харитонович...

— Верю, верю. Разберемся. Ну, иди, отдыхай.— Повернулся к майору: — Двое суток отдыха.

— Есть двое суток отдыха! — поднялся Мохов.

— Ты в баньу, в баньку сперва! — рассмеялся подполковник.— Веничком...

— Есть веничком!

Мохов не знал, что, когда захлопнулась за ним дверь, подполковник холодно сказал:

— Вот так, Платон Иванович, а вы говорите — мы нянчимся. Мы обязаны. А вот он мог и не нянчиться... М-да-а,— устремил смурый взгляд на сейф, карандашиком постукивает.

Начальник культурно-воспитательной части подобрал длинные ноги и еще больше ссутулился.

8

За поворотом дороги Виктор поднял глаза и увидел охранницу. Она сидела, подстелив газету, в кювете под кустами вербы и смотрела вперед, на дорогу, словно ждала кого. На коленях у нее охапка привядших васильков и алой дикой гвоздики, рядом у вытянутых ног валяются красные босоножки и красная клеенчатая сумка.

— Ну и что вы там увидели? — спросил Виктор, остановившись.

Девушка повернула голову, вздрогнула, удивилась, потом, как бы поняв что-то, улыбнулась и быстро встала.

— А вы далеко?

— Только вперед! Пора бы нам познакомиться и перейти на «ты». Кажется, третий раз встречаемся?

— Третий,— робко согласилась она.

— Что вы здесь делали?

— Бродила, цветы собирала... А звать меня Варя.

— Я — Виктор. Ну, набродилась?

— Нет еще.

— Тогда пошли еще побродим? — кивнул в сторону леса.

Она схватила босоножки, завернула их в газету и сунула в сумку.

— Что, босиком?

— Я привыкла. Легче босиком-то. Мне нравится. Можно было б, и в городе ходила — да засмеют. Сейчас вот в купальнике разгуливала, так какой-то на мотоцикле за мной погнал. А я в лес — и ходу.— Она отстала на шаг, поймав его взгляд.

— Варя, чего ж цветы оставила?

— Ну их.

— Чего так?

— У меня в комнате одни букеты, даже есть один в ведре — веник татарников.

— А со мной в лес идти не боишься?

— Чего бояться-то?

Прошли ложбинку с осокой и кочкарями. Продрались сквозь кустарники и наконец вышли в редкий березняк.

— Вон сарана! — закричала Варя. — У нее вкусная луковица! Я сейчас выкопаю!

Потом нашли поляну со щавелем, переросшим и жестким, и крупной зеленой клубникой. Начали ползать, разнимать сочную траву и искать ягоды.

На этой поляне они и остались. На опушке, рядом с колючим татарником, развели костер. У нее в сумке была капроновая фляжка с квасом и батон. Батон поджарили на прутике и съели. Выпили квас.

Зубакин лег у костра. И, глядя на огонь, вспомнил ту девчонку в спортивном костюме.

— Ты спишь? — спросила Варя.

— Нет, — сказал он тихо.

— О чем ты думаешь?

— Послушай, Варя, девочка, мне уже тридцать, а я еще не знаю, о чем можно разговаривать наедине с женщиной.

— А ты не разговаривай. Лежи и думай. Мечтай. Я б всю ночь могла здесь просидеть.

— Вот так, в этом татарнике?

— А что? Это трава. А вот об людей колешься — боль-

но. Ты замерз? Я могу посидеть рядом с тобой. Только ты не хами.

— Я не замерз, Варя. А хамить я еще не научился. Некогда было.

Он снова мельком подумал о девчонке с велосипедом и словно споткнулся об эту мысль, сразу привиделись ее глаза из-под черных прямых голос. Глаза как бы спрашивали: «Ну и что?» — «Ты не волнуйся! — ответил им Виктор.— Я тебя подожду».

— И все же, о чем ты думаешь?

— Варя, я думаю о том, как женюсь, приглашу кореша в гости, как будем мы с ним хлопать друг дружку по спине и вспоминать тайгу. А после он уедет к себе, недалеко тут, за Курганом — уедет холить свой сад. Я останусь здесь строить цеха. Учиться стану. Сына дождусь.

Варька вздохнула.

Всю ночь скрипели коростели в тумане, да иногда всплакивала иволга. Двое сидели у костра, думали каждый о своем.

Утро было пасмурным.

— Ты знаешь, куда прячутся птицы в дождь? — спросила Варька, разглаживая ладошками помятый ситцевый сарафан.

— Нет. Не знаю,— сказал Виктор. — Что будем делать? — Он отряхнул пиджак, подошел к Варьке, снял у нее с волос сухие травинки, накинул пиджак ей на плечи.— Замерзла?

— Ну, что ты! Пойдем искать столовую?

— Можно в столовую,— согласился он, выбираясь из густых росистых кустов ивняка.

— Пойдем вечером в кино? — предложила Варька.

— Можно и в кино.

— Хочешь, приходи ко мне жить,— говорила она, наклоняясь под мокрыми ветками.— У меня, правда, комнатка маленькая. Всего девять метров, но жить можно. Ты не удивляйся, что я говорю так запросто, откровенно. А что? Лучше сразу откровенно, чем потом мучить друг друга. Вот он такой-сякой, ах, она такая-сякая-преэтакая. Зачем? Да? Я вот иду болтаю и вижу, и чувствую, что ты думаешь о чем-то о своем. Позову я тебя завтра — ты пойдешь со мной. Ты добрый. И если будет тебе плохо — ты придешь ко мне, чтоб утешиться. И не больше..,

— Перестань, Варя. Всех нас надо утешать.

— Витя,— она остановилась, повернулась к нему.— Глупенький, ты хоть бы поцеловал меня?

Он, не глядя ей в лицо, обнял ее.

— Пойдем-ка лучше отсюда. Ты извини меня...

— Да уж чего там...

Кустов уже не было. Стояли березы, тихо обвиснув мокрыми ветвями. Они вышли к болотцу, заросшему сплошь тростником да кое-где красноталом. Пошли вдоль него по высокой мокрой осоке. Из-под ног вылетела утка. Остановились и долго смотрели в сумрачный рассвет над болотцем, куда улетела утка. Вышли из березняка на дорогу.

— Смотри,— сказала она, показывая на межу пшеничного поля,— васильки какие некрасивые, закрылись на ночь. И все еще не проснутся. Люди многие тоже в горе закрываются. Знаешь, я родилась в деревне среди болот. На берегу речки у нашего дома росла ива, большая-большая, и мы по ее ветвям забирались и ныряли в реку. А зимой ее ветви вмерзали в воду. Самое загадочное для меня в детстве было — эта ива. Кто ее посадил такую плакучую? Говорили, прапрадед. Он бежал от кого-то в начале восемнадцатого века. А моя мать в первый год после войны умерла под ивой. Возвращалась с покоса. Вить, а вдруг ее кто-нибудь спилил, иву-то? Я иногда брожу вот здесь и рассказываю о себе какому-нибудь колючему татарнику, или кривой березе, или какой-нибудь пичуге, поющей в кустах. Я им говорю, что я была единственная у отца с матерью. Я должна быть счастливой...

— А они?

— Береза кланяется, пичужки закатывают концерты, и только татарник молчит. Мне цыганка сказала, что я счастливая.

— Конечно, ты счастливая,— сказал Виктор. — Я тоже счастливый. Я даже счастливее тебя,— сказал он и невесело рассмеялся.

— Расскажи, Витя, что-нибудь о себе.

— Как-нибудь в другой раз.

Из лохматых лиловеющих туч стал накрапывать дождик.

— Давай бегом,— предложила Варя.

— Давай.

А когда дождь совсем припустил, они уже забежали в столовую стройки. Было еще рано, и в столовой ничего не было. Виктор снял опрокинутые на стол два стула.

— Садись, я принесу чего-нибудь.

Варя села. Ей было приятно, что такой видный парень так внимателен к ней, маленькой, тощенькой, с прильнувшими на лоб мокрыми прядками коротких светлых волос. Она тайком заглянула в зеркальце, подкрасила чуть-чуть губы, пригладила назад волосы и заметила, что нос заострился, под глазами тени. А на подбородке выскочил прыщик. Сдвинула редкие бесцветные брови, удивилась чистой глубокой синеве вокруг расширенных зрачков своих глаз и спрятала зеркальце.

Подошел Виктор.

— Варя, есть зразы и бефстроганов. Что возьмем?

— Конечно, зразы.

— Отлично! И сметаны по стакану, и по два кофе.

— Только сметану с сахаром,— попросила Варя.

Когда он пошел провожать Варю к трамвайной остановке, дождя уже не было. Начало всходить солнце. И потом, когда он возвращался обратно на работу, солнце уже светило ярче.

У ворот больницы на лавочке сидел мужчина. Он бережно держал на коленях узелок и отрешенно смотрел под ноги. Зубакин вначале прошел мимо, но ему показалось что-то знакомое в фигуре сидящего. Оглянулся и узнал Федора Ивановича.

Виктору было неудобно за себя, что даже ни разу не зашел к нему ни домой, ни на работу, хотя от их участка до траншей Федора Ивановича ходьбы-то пять минут.

— Федор Иванович, здравствуйте! Что вы тут сидите?

— А-а, Виктор... На работу идешь? Да вот сижу, жду, когда проснутся... — Федор Иванович посмотрел мимо Виктора в сторону своих траншей.— Жена у меня заболела. Золотая баба. А вот поди ж ты — заболела. Я не замечал ничего, а она все молчала, молчала... Верно, еще оттого, что в прошлом годе сын у нас утоп, разъединственный... Вмиг поседела и замолкла. Только все по комнате — тук, тук, тук деревяшкой. О нем тосковала — институт кончал. Да не вернулся с озера из похода. И что это за глаза, едри их в качалку,— говорил он, вытирая кулаком глаза.— Тихое у нее. Врач говорит. Авось и вылечат? Как, поди, не вылечат? Должны. Ведь не зря же мы с ней до Берлина топали — жить бы надо. А оно вот вишь как обернулось...

Виктор присел рядом.

— На, Федор Иванович, закури. Чего уж ты так расстраиваешься? Сказали вылечат, значит, вылечат.

В двери больничной проходной открылось окошечко.

— А-а, это опять ты, Черемушкин? И чего ты, взрослый человек, мучишь себя? И куда ты ей все носишь и носишь?— Из воротника тулупа топорщились жиденькие, невыразительные усы румянощекого мужика с подозрительно блестящим одутловатым носом.

— Куда ж это я ношу? Да человеку ношу! Жене! Уразумел? На вот куриную ножку и передай, понял? Не то я тебя из окна за усы вытяну... Пойдем брат, Виктор, работать,— сказал Федор Иванович.

У него как-то сразу потухли глаза, отяжелела походка. Виктор шел рядом с ним до будок у траншей. Федор Иванович молчал, и Виктор не мешал ему. У будки Федор Иванович, взявшись за скобы, обернулся и, скривив сухие губы, сказал:

— Ничего, парень, будь здоров! Заходи. Адрес старый.

— Ну, ни пуха вам!— улыбнулся Виктор.— Я зайду. Все хорошо у вас будет! Да и дел вон сколько!

— Дела, они, брат, были до нас и будут после нас...

Виктор зашел по дороге в буфет и купил пять маленьких дынь. Сходил переоделся, пришел на участок и стал ждать ребят. Первым появился Женька.

— Ог-го! Витя, да ты, видно, тут и ночевал?

— Тут, котенок. Ешь дыню. Как поживает твой синяк?

— Самочувствие отличное, передает привет! От Махачкалы до Баку, до Баку волны плавают на боку...— запел Женька. Он отчаянно влюблен в Черное море, в яхты и Таньку. На всех фонарных щитах Женька нарисовал косой парус с номером своей спортивной яхты М-598. Благо начальства наверху не бывает.— От Махачкалы до Баку волны плавают на боку, и качаясь бегут валы от Баку до Махачкалы...— снова запел Женька, разрезая дыню. Эту песню он тянул уже несколько дней, причем только один куплет.— Витя, поедем в субботу с ночевкой на озеро. На яхте покатаю. А, поедем? У-у, ахнешь!

— Постой, постой, Женя. Ты всех своих яхтсменов знаешь?

— Об чем разговор?

— У вас ушли в какое-нибудь плавание от Перьми до Одессы?

— Ушли. Явятся дней через двадцать. А что?

— Да знаю я там одну глазастую.

— Уж не Ирку ли? Ну-у... Это кит в юбке. В третье плавание ушла. Будет десять тысяч километров. Звучит? Парни у нас ее не любят. Она их обгоняет. Но радуются, когда с соревнований она привозит для команды очки. Словом — кит.

— А ты чего не пошел?

— Я ж всего имею стаж рабочий — два мэ восемнадцать ден. Да к тому же не на металлургическом заводе работаю. А так бы я с удовольствием...

Наконец собралась вся бригада. Дыни уничтожили вмиг. Илья получил задание ставить фермы. Взял чертежи, подмигнул Виктору:

— Где Луну соблазнял?

— В лесу.

— Спал?

— Спал. Как там мой щен?

— Тигруша твой соску изгрыз и все углы в квартире оросил. Вова Якупов ползал за ним с тряпочкой. Ничего, освоил. Понятливый парень Вова.

Якупов оскорбился:

— А сам? Он, Вить, учил его плавать в ванной и чуть не утопил.

Появился прораб.

— У всех крепкие пояса? Зарубите на своих гордых носах, что высота не любит шутить. Увижу не привязанного — буду снимать. Слышите. Циркачи-анчихристы?

— Слышим.

Ребята, навьючившись шлангами, бачками, ключами, вышли из будки.

В пролеты залетал ветер, метался там и медленно, неохотно утихал. Над строительной деревней играла музыка. А над главным корпусом блюминга-автомата горело световое табло: до окончания строительства осталось 96 дней.

9

А между тем Тропин не знал, что его уже заметили в городе. Не знал он, что молоденькие милиционеры, которых он видел из окна автобуса, ехали за ним.

Инстинкт подсказал тогда Тропину уйти в сторону. А теперь, что теперь? После пяти суток блуждания по лесу он вновь из-за этой чертовой машины оказался там, откуда бежал, и без денег, без документов.

«Если бы не приметы,— думал он, прячась в кустах у дороги,— да я б сейчас сидел где-нибудь в ресторане и коньяк потягивал. Лишь бы сегодня не нашли портфель в кузове машины. Раз-зява! Выскочил и портфель оставил. Теперь всплывут все грехи старые. А, черт! Ну ничего! Азиат еще держится. Азиат еще покажет себя».

Но времени злорадствовать и размышлять не было. Тропин вышел на дорогу, огляделся.

Было еще пасмурно. Солнце не выходило из клубящихся туч. И вдруг стал накрапывать мелкий, хлесткий дождь. Тропин быстро промок и стал уходить на зады к рабочему поселку. Он смотрел вслед уходящим машинам и старался понять, как он снова здесь, в городе, и что делать дальше-то.

«А может быть, остановить любую машину, убрать шофера и-и... лови ветер. А далеко ли уедешь на ней? Нет. Не то. Что же ты раскис, Тропин? Умирать не хочешь? А ты забыл, как верещал у кинотеатра тот интеллигентик, корчась в снегу от ножевой раны? А кто виноват? Жалко ему было ондатровой шапки. Дерьма такого! Вспомни, Тропин, как таксист держался за баранку и гнал машину, а его убивали. Хотелось ли умирать и ему? А чего это ты, Тропин, впервые задумался о себе, а хочешь ли ты сам умереть? Сейчас ты бежишь от расплаты. Знаешь, что тебя никогда не простят. Крыша будет. Ага, трусишь? Скотина!» — обругал он себя, думая о том, что впереди только эта преступная жизнь, отчаянная, трусливая и горькая, без цели, без семьи, без будущего. А потом — приговор приведен в исполнение...

И раньше на него накатывался страх, и казалось, что он вот-вот решится бросить все, начнет новую жизнь, но представлял, как будет ходить каждый день на работу,— что-то делать для того, чтобы получить пять рублей на день на жизнь себе, слушаться начальства и бежать, когда ему скажут: сделай то, принеси это. И так каждый день вскакивать рано утром, бежать на завод и возвращаться уже вечером. Он не мог уже так жить. В общем-то ему надо было не много: чувствовать себя свободной птицей, иметь деньги, много денег, но не для того, чтобы обарахляться или, скажем, менять машины, а просто к морю. Рай! Хочешь, сиди в ресторане, хочешь, лежи пятками к морю. И не надо задыхаться от жары и пыли на ремонтах мартеновских печей, не надо вскакивать по утрам и не надо ходить в смену. Тропин не может про-

стить людям своего угрюмого детства, он не может забыть, как остался восьми лет один и никто в деревне не взял его. Было голодно после войны, и он пошел бродяжить. И росло в нем зло, росло...

Дождь расходился.

Сырые брюки топорщились, пуловер обвис, галстук давил шею. Тропин снял его, сунул в карман. Надел очки. Модные узконосые ботинки ободрались, намокнув, стали спадать с ног. Он наконец остановился у низенького домика, выбеленного в салатный цвет. Толкнул калитку. Из окна в ограду, взмахивая руками, сунулась желтолицая старуха:

— Сы-сынок, а я тя дня три уж, поди, жду. Заходи, заходи, родненький. Вымок-то как!

Тропин попятился.

— Да ниче, ниче... не разувайся — вымою,— подобострастно засуетилась.— Проходи, проходи...

— Бабушка, я и тут постою.

— Да ведь мне, родненький, не поднять эту бандуру и неудобно — здесь и стола-та нету...

— Какую бандуру?

— Да телявизер-та...

«Ясно. Ждут из телеателье,— обрадовался Тропин. Снял ботинки у порога и вошел в дом. В доме устоявшийся запах смородинового листа, укропа, чеснока.— Картошки бы горячей с грибами».

— Баушка, а грибы-то есть?

— И-и, родненький, ни грибков, ни буковок не показывает, проклятый. Стоит в углу, ажно икона.

«Дура. Ишь ты, мебель полированная, холодильник ЗИЛ, и деньжата, наверное, водятся». Тоскливо оглядел комнату и сел за стол, вытянув ноги.

— Покормила бы, баушка?

— Так я это счас... счас...— а сама кинулась с тряпочкой затирать следы на желтом, блестящем полу от мокрых носков Тропина.

— Я вот одна таперича живу, мои-то на курорт укатили. Ребят забрали. А я вот как сычиха — одна...

«Пожить бы у нее! Соседей много». Снял пуловер, рубашку развесил на спинке стула.

— Ты сам-то откель будешь?

— Как?

— Ну, нашенский аль приезжий?

— Приезжий я, баушка.

— Дальний, значит.— Выскочила в кухоньку.— Вот поешь, картошечка горячая, огурки малосольные. Грибочков счас принесу,— метнулась в сени.

«Есть ли деньги? И где?» — успел подумать.

Старуха вернулась.

— Да вот телявизер, язви его, не стал показывать,— приедут мои — грех будет. Я и не рада, что кнопки крутила. Та провалился бы он. Съедят они меня.

Тропин открыл крышку телевизора, проверил — все исправно. Засмеялся: ну, старая!

Телевизор был включен на шестом канале. Переключил на восьмой. По экрану заметались тени.

Обласканный старухой, Тропин к вечеру засобирался уходить. Он боялся, что кто-нибудь зайдет.

А дождь все не унимался, шебаршил по крыше. Тропину хотелось плюнуть на все, лечь в теплую мягкую постель и уснуть тихо, бездумно-счастливо.

— Баушка, ты б дала какой-нибудь плащишко. Завтра занес бы,— угрюмо топчась у порога, сказал Тропин.

Старуха подозрительно замялась:

— Дак ить зятев?!

«Глаза как-то жадно забегали. У такой и золотишко где-нибудь есть припрятанное. «Огурки продаю...» Ишь ты, может, тюкнуть?»

Старуха попятилась от взгляда Тропина:

— Что ты, батюшка, что ты? Думаешь, я жадую? Да возьми ты энтот плащ. Завтра занесешь, поди? Зять-то небось не приедет завтра...

— Принесу, принесу, баушка,— говорил он, снимая с вешалки болоньевый темно-синий плащ.— Подумаешь, плащ... Жизнь дороже...

— Дак ить верно, родненький...

Он понимал, что старуха не глупа. Уловила что-то в его поведении. Вероятно, опять подвели глаза. Иногда он замечал в себе, что беспричинно улыбается, и те, кто видели эту улыбку — терялись от жесткого, холодного взгляда. Он мог прикинуться добрым, пить, веселиться в компании, но глаза были всегда настороженные, колючие... Тропин достал из кармана чужого плаща синий берет, надел, поднял воротник, запахнул полы плаща и, зябко передернув плечами, вышел за калитку, на узкую тропинку.

Дождь все моросил.

Тропин осторожно ступал на носки в мелкие пузырящиеся лужицы — ботинки не просохли, тяжелели от жирной грязи — и думал о том, куда теперь. В городе узнают. В лесу сыро. В поселке оставаться тоже опасно, если действительно передавали по телевизору его приметы. И тут он весело подумал о ночи: надо уйти в лес, пока светло, сделать грим, поспать до полночи в какой-нибудь копешке, а потом — в город.

Вскоре, между картофельным полем и березняком, на небольшой полянке он увидел свежую копешку сена. Вначале насобирал веток, потом разгреб копешку, положил на ямку ветки и накидал сверху сена, забрался в эту нору и прикрыл вход.

Было сухо, душисто.

Он при свете спички приклеил лейкопластырем серые усики, нацепил очки в позолоченной оправе, с нормальными стеклами и полюбовался на себя — хорош!

Лицо узкое, серое, виски пожелтели и ввалились. Щеки тоже запали. На левой шрам. Не задумываясь, концом ножа царапнул шрам, кровь стер грязной газетой, рану залепил лейкопластырем.

«Ну вот и все».— Стал умащивать постель.— Теперь поспим, друг Тропин, а там — город. Надо попасть к Соловью, что эта десятка, которую выложила старуха за ремонт телевизора. А у Соловья надо взять денег и устроиться, где-то переждать, пока ищут. Чуть погодя люди забудут приметы, можно ходить свободно. Сделаю документы — и фьють. Терять мне нечего. Подвернется случай, махну за границу. А пока соберу ребят. С сопляками больше не свяжусь».

Он вновь вспомнил, как решили сделать налет на кассира, заодно ограбить магазин, но для этого нужна была машина. Не удалось. Те двое кинулись в город. Одного поймали. Его спасли ноги и хитрость. Тогда он долго бежал вдоль дороги от города, было еще светло. В татарской деревушке украл мотоцикл — и был таков. Гнал на бешеной скорости. На Свердловском тракте за ним погнались двое гаишников. Он было подумал: конец. Его догоняли, а встречные машины шли одна за другой. Спасла отчаянная смелость — впереди вырос прицеп с досками, медленно волочащимися по дороге. Тропин добавил газу, прильнул к мотоциклу, метнулся на доски и словно с трамплина прыгнул через кабину. И умчал. Шофер с перепугу свернул в кювет. А Тропин на окраине рай-

онного городка бросил мотоцикл, пересел на автобус и уехал с туристами на озеро.

Там он подговорился к сторожу спортивного лагеря и прожил у него три дня. Он спасал себя со смелостью отчаяния, а круг сужался...

Сейчас надо было в этой копешке уснуть немного. А потом выйти в город и снова грабить.

Во сне к нему, маленькому, на шаткий плотик у озера, где он кидал камни в гусей, сошла с неба, во всем белом, мать. Он заслонился ладошкой от яркого света. И она, плавно взмахивая огромными белыми крыльями, сказала:

— Шура, я пришла за тобой,— взяла его за руку и повела.

Шли по глубокой воде, над облаками, над лесом. И ему было хорошо, счастливо с ней идти над землей, под знойным солнцем. Но вдруг кончилось облако, мать поцеловала его в щеку, вложила ему в руку морковную шанежку и провалилась в темную пропасть.

— Сы-нок!— слышал он далекий, печальный голос и все ощущал ее родное, горячее дыхание у своей щеки.

— Маманька-а! А-а!

Тропин проснулся от своего крика. Щека горела, и что-то мешало открыть левый глаз. У самого лица бегали и тоненько попискивали мыши. Он испугался их, вскочил в полный рост и разрушил свое укрытие.

Небо было низкое, серое. Над полем и в лесу бродил туман. Уже светало.

Тропин почувствовал тяжесть на лице, достал из кармана зеркальце, протер рукавом, глянул и не узнал себя. Опухшая щека лоснилась и багровела.

10

Виктор составил бутылки с кефиром в авоську, накрыл круглым хлебом. Выходя из магазина, увидел ватагу ребятишек из своего двора. Ребятишки изнывали от жары у газировочного автомата, выворачивали карманы в поисках медяков.

— А ну, братва, хотите увидеть настоящего тигра? Пошли отсюда.

Ребята молчали. Один с ободранной коленкой, в залатанных штанишках, насупившись, катал ногой в дыря-

вом кеде шуршащую обертку от эскимо, поднял голову. Потом подошел к Виктору, независимо сунул руки в карманы и, поглядывая на него умными глазами, сказал:

— Пошли, раз тигр есть.

Зубакин положил руку на остренькое плечо мальчишки.

— Как тебя звать?

— Марат.

— Меня Виктор. Знаешь, Марат, у меня здесь нет друга. Давай дружить?

— А что, можно.

Виктор подошел к мороженщице.

— У вас найдется какая-нибудь коробка?

— Найдется.

— Десять эскимо.

— Дядя Витя, мы тебе завтра отдадим деньги за мороженое,— насупившись, сказал Марат.

— Денег не надо. Вырастешь — сочтемся. А ну, орлы, быстро сюда!

— Витька, Катька, Шурка!— позвал Марат.— Пошли!

Ватага во главе с Катькой, белобрысой и тощей, пошла за ними в сквер.

— Ребята, ешьте мороженое. Я сейчас принесу Тигра.

Принес щенка.

— Какой же это тигр? Это же настоящая овчарка!— разочарованно протянула Катька.

— Ко мне! Ко мне!— загалдели ребята.

— Нет, мужики, это, похоже, волк,— сказал один.

— Ага, зверь!— хмыкнул Марат.

— Самая-пресамая дворняга! — авторитетно заявил высокий чистенький мальчик в новых голубых джинсах.

— Ну ты, жердь, много ты смыслишь!— оборвала Катька.

— А сама-то, а сама-то...

— Дядя Витя, а вы солнышко на турнике сможете? — спросил Марат, стараясь увести разговор на другую тему.

— Смогу!

— У нас Марат на турнике лучше всех крутится!— сказала Катька и отобрала у мальчишек щенка.— Хватит мучить-то, он еще маленький, молочный...

С мороженым справились, подошли к турнику.

— Давай подсажу?— предложил Виктор Марату.

— Не. Я сам.

Еще не спала жара. И до вечера было еще далеко, а Виктор уже не знал, куда себя прислонить. Ребята галдели у турника, устроили очередь. Катька судила.

Виктор отошел. Сел на лавочку.

В эту субботу Виктору нечего было делать. Ребята уехали с ночевкой на озеро. А Вова заболел — поднялась температура, и Виктор остался с ним. Бегал в аптеку за таблетками, поил его кипяченым молоком с медом, лепил на спину горчичники. Сейчас Вова спал, а Виктор развлекался в сквере с ребятишками. Иногда поднимался, смотрел, не проснулся ли Вова и не хуже ли ему. За этот месяц Виктор привык к Вове, словно к брату. Вова рассказывал о себе, как мотался по огромной России одинодинешенек, пока не привязался к строителям. И пошли стройки, стройки, большие и маленькие. Только часто рассказывал Вова, что снятся ему синие табуны лошадей, что иногда видит он себя в степи, в ковылях, спит там и просыпается оттого, что какая-то ласковая, очень ласковая женщина гладит его голову, поет тихие песни, а вокруг степь и степь. Где-то вдалеке проносятся быстрые табуны лошадей, лишь остается ветер. Ветер не может догнать табуны лошадей и с тоски плачет, прячется в ковылях. После таких снов Вова долго ходил хмурый и говорил Виктору, что уедет куда-нибудь в Кулунду, заимеет коня, устроится табунщиком. Но потом отходил в спешке строительства и не видел снов о синих табунах, и забывал о желании уехать.

И тут заболел.

Виктор взял щенка, сказал Марату номер квартиры, чтоб заглядывал в гости, и пошел к Вове.

У подъезда на лавочке, в легком платьице из синих и черных полос, в черных узконосых туфельках сидела Варя.

— Не в театр ли?

— К тебе.

— Ну-у, здравствуй! А платье тебе идет!

— Ага,— сказала Варя и кивнула головой, как будто и без него знала, что идет ей это платье.— А я иду, смотрю, что это, думаю, человек возится в сквере с ребятишками. Не в няньки ли, думаю, по совместительству нанялся? А рубаху надо бы постирать.

— Надо,— согласился Виктор.— Может, по совместительству постираешь?

— Возьмусь. Снимай.

— Прямо здесь?
— Можно и здесь, но лучше в комнате.
— У нас Вова болеет.
— А что с ним?
— Температура. Напился холодной газировки. А перед этим все воскресенье из озера не вылазил.
— Я его не знаю.
— Пойдем, познакомлю.
— Это чей волчок?— спросила Варя, склонившись над щенком.
— Мой.
— Я думала, в кино сходим.
— Если Вове лучше — сходим.
На лестничной площадке встретили Соловья. Соловей оглядел Варьку, присвистнул, щелкнул Тигра по черной пуговке носа. Соловей ухмыльнулся вслед.
— Что это за пижон с крестом?— спросила Варька, дождавшись Виктора на следующей площадке.
— Наш сосед. Артистичный парень. А крест золотой. Это модно. Может, мне тоже купить? Как думаешь? Здоровый, далеко видно будет.
— Тогда еще приобрети и кадило. С одним крестом вида не будет.
— Дельный совет.
— Что у тебя с руками?
— Нервы, девочка.
У Виктора от злости мелко дрожали руки. Он не мог попасть ключом в замочную скважину. Однажды Соловей подкараулил Виктора в столовой. Ласковый такой. Стал звать к себе на какое-то прибыльное дело. Виктор отказался. Тогда Соловей сделал намек, что на стройке иногда и плиты летают. Как бы кто ненароком не попал под них. В свою очередь Виктор спросил Соловья:
— А что будет, если я один разик шлепну кого-нибудь? Вот здесь. Не знаешь? И не советую,— расхохотался и отошел. За себя он не боялся. Он боялся за Вову. Как-то вечером орава парней-подростков прижала Вову в темном переулке, сняли часы, пиджак и избили его. Всю ночь Вова курил от волнения, а ребятам сказал, что это проделка Соловья.
Наконец Зубакин открыл дверь. Вова не спал. Он глухо кашлял и метался от жара.
Варька подошла к кровати, пощупала лоб Вовы.
— «Скорую» вызывай! Надо в больницу!

— Что, Вова, плохо?— наклонился Виктор.

Вова бессмысленно посмотрел на них. Узнал Виктора, подмигнул, пошевелил распухшими, потрескавшимися губами.

— Господи, как ему плохо! Чего ты стоишь?

— Бегу, бегу...

Варька сидела у кровати незнакомого парня, смотрела на его смуглое в мелких родинках лицо, на пухлые, резко очерченные губы, на черный свалявшийся чубчик и не могла понять, что с ней происходит. Ей казалось, что она видела, давно знает этого парня, что он похож на кого-то из ее родных, хотя у нее и родных-то никого не было.

Она погладила его голову. И Вова вдруг поймал ее руку, прижался к ладони щекой, утих.

Вову отвезли в больницу.

— Пойдем в кино?— предложил Виктор.

— Уже не хочется. Давай лучше просто походим.

— Хорошо. Пойдем на площадь к кинотеатру?

— Пошли. Кто этот Вова?

— Друг мой.

— Это ясно. А еще? Родные?

— Совсем один. Когда я увидел его, он мне сказал: здравствуй! Я — Вова. Марка сорок второго. Знаешь, ему снятся синие табуны, степь. Мне нет. Мне снится тайга. Морошка. Собаки и проволока... Варя, давай зайдем в гости к одному моему знакомому. У него горе — жена болеет.

— Зайдем,— согласилась Варя.

— Вот и хорошо. Только пошли прежде в магазин. И еще, не будем брать водку. Возьмем лучше торт.

— Смешной, конечно, лучше торт. Я видела в кулинарии большой красивый торт «Березка».

— Пойдем возьмем.

— А завтра пойдем к Вове?

Виктор посмотрел на нее и ничего не сказал. От Федора Ивановича они вышли поздно. Варька начала зябнуть.

— Варя, пойдем к нам? Ребята все на озере с ночевкой. Один Тигр.

— Нет, Витя, проводи меня домой.

— Ну и ну, что это с тобой?

— Влюбилась.

— Если в Вову, то хорошо! Я буду рад за него. А в меня лучше не надо.

— А я и не спрошу разрешения. Смешно. Разве об этом спрашивают? Знаешь, я весь вечер тревожусь, что-то сердце никак не уйму. Я ведь понимаю... Ты не для меня... Я боюсь доброты твоей. А Вову твоего мне жалко. Плохо ему.

— Логично, Варя. Ты умница. Как говорят: человек ищет. Ты, пожалуй, нашла. Его никто никогда не любил.

— А ты?

— Я люблю,— кивнул Виктор.

— Кого ты любишь?

— Я все люблю. Мне нравится, что я вот сейчас иду с тобой, смотрю на небо и на дома. Хорошо! Дышу свободным воздухом. Захочу вот, лягу на траву в газон...

— Спасибо, Витя. Я уже дома.

— Я завтра зайду. Пойдем к Вове в больницу.

— Пойдем,— улыбнулась она.

— Ну, спокойной ночи, Варя,— сказал Виктор.

— Счастливо дойти!— весело крикнула вслед ему Варя.— Привет передавай Тигру.

11

С утра начали устанавливать подкрановые колонны. Клим с Ильей стропили, хлопотали возле многотонной громадины, махали крановщику. А Виктор с Женькой ловили уже вертикально поднятую колонну за основание и вели на болты, торчащие из бетонного фундамента. Там Илья с Климом перехватывали колонну, садили на болты, а Виктор с Женькой подтаскивали пятикилограммовые гайки и закручивали. Тем временем Илья стропил вторую колонну.

— Давай, давай!— покрикивал бригадир на Клима.— Чего уселся как в такси.

Илья всегда скандалил с прорабом, если не было работы и приходилось бригаде убирать мусор.

— Ты дай мне высоту. Чего ты мне швабру суешь?

— Ишь ты, высоты еще не нанюхался? Езжай в Москву. Залезешь на телевышку, высотой подышишь...— ворчал прораб.

До обеда вчетвером поставили шесть колонн. И отправились в столовую. Клим умел накормить в любой заводской столовой всю бригаду без очереди. Он знал всех раздатчиц. И его знали. Он вначале брал обед, потом рассчи-

тывался. В получку ребята отдавали Климу деньги на весь месяц вперед на столовую и питание. Деньги он держал в ящичке тумбочки, кто шел в магазин, брал деньги и приносил туда же сдачу. Ящичек звали кормушкой. А о бригаде в столовых говорили: «Вон семья Куличкова пришла».

— Дураки!— говорил Илья.— Тоже, придумали. Не могут раскинуть мозгой, что это практично. Хоть от получки до аванса, как бывало, не сидим голодными...

Сегодня в столовой на раздаче Виктор держал два подноса. Клим ставил тарелки, Виктор носил на стол. Обычно брали полное первое, по два вторых и третье. Виктор лавировал между столиками с подносом. Кто-то подставил подножку, горячие борщи полетели, кому-то плеснуло за шиворот, кто-то набычился и заорал. Виктор оглянулся, рядом за столиком обедали ребята из бригады Соловья, они старательно смотрели в тарелки и работали вилками.

Виктор собрал с пола осколки посуды, вернулся на раздачу и положил кассиру два рубля за тарелки.

— Не разевай рот,— сказал Клим и снова заказал первое.

Виктор сел за стол и сделал вид, что ничего не случилось. Но руки опять мелко дрожали и ложка побрякивала о тарелку. Илья перестал есть и отложил ложку:

— Клим, ну-ка пошли.

Клим молча встал.

Виктор не смотрел, куда они пошли, но чувствовал спиной, что к Соловью. Женька похлопал глазами, вскочил, пошел следом. Его турнули.

— Они на улице...— сказал Женька, вернувшись.

Через несколько минут появился Илья, за ним Клим.

Илья был спокоен, лишь чуть-чуть натянулась и побледнела на скулах кожа. Стал молча есть. Только на правой руке его из покрасневших козонков сочилась кровь. Потом поднял глаза на Клима:

— Ты что, к нему в бригаду собрался?

— Что, гонишь?

— Зачем гоню. Мне просто странным кажется твое пассивное поведение. Вроде и не друзья вы с ним?

— Нет.

— Так в чем же дело? Если он не знал, то ты-то знаешь, если Витька его стукнет, он не встанет. И зачем так глупо играть, тем более на работе. Может, у тебя с ним

какие-то шуры-муры? Брось, пока не поздно,— посмотрел пытливо.

— Я к нему не пойду,— сказал Клим, намазывая на хлеб горчицу.

— Я тебя не гоню. Я думал, ты сам ищешь повод уйти от нас. Может быть, тебе там удобнее работать?

— Нет,— сказал Клим, глядя в тарелку.

— Ну и точка. Пошли работать. А ты, Витя, держись, царапайся.

— Царапаюсь,— сказал Виктор, допивая компот.

После работы Виктор переоделся и решил пойти в поле. За цехами, на пустыре, кто-то накосил травы. Виктор насобирал охапку и пошел к своим искривленным березкам. Натрусил сенца на землю и лег. Не хотелось думать, не хотелось в эту минуту и вспоминать и вообще ничего не хотелось.

Небо расплавилось за день, вылиняло. Ни птиц, ни облачка, ни ветра...

Виктор вытянулся, закинул руки за голову и закрыл глаза. Там его и нашел Илья.

— Ну ты и даешь! Я шел, шел, смотрю, ты впереди, решил догнать. Догонял, догонял, вижу — исчез. А ты вон где!

— Зря ты идешь за мной, Илья! Я ведь не собираюсь прыгать в ковш со сталью.

— Вижу. Такой райский уголок сделал. Только что-то здесь мусору много?

— Здесь был мой дом. Здесь жила мать.— Виктор поднялся, сел.

— Во-он что!.. А я, знаешь,— теперь Илья снял пиджак, раскинул на траву, улегся,— собственно, и не за тобой шел. Просто душно мне было. Тесно. Понимаешь, тесно...

— Бывает и одному тесно.

— Этого не испытывал.

— Какие твои годы...

Илья расхохотался:

— Вот мудрец! Слушай, а не пойти ли тебе на подготовительные в институт? Ты не подумай, что это агитка. Просто я по-человечески...

— Нет. Не пойду.

— Ты слышал, недавно убили таксиста? Их было трое.

— Я слышал.

— А не замешана ли здесь Соловьиная компания? Как думаешь?

— Кто знает?

— Меня вызывали вчера в одно место. Интересовались кое-кем. Как думаешь, зачем?

— Наверное, есть основания подозревать убийц...

— А ведь подножку тебе подставил мальчишка из его бригады.

— Он ни при чем.

— А Соловей мне знаешь что сказал? Ты, мол, Илья, извини, он просто пошутил — не знал, что борщ несли Куличкову. Вот гад. А собственно, что мы здесь лежим?

— А что делать?

— Пойдем куда-нибудь. В лес, что ли...

— Может, к Вове?

— К Вове пойдут Женька и Клим.

— И еще должна пойти Варя.

— Что за Варя?

— Вова из больницы к нам, наверное, не придет. Он наверное, женится...

— Брось, когда это он успел обзавестись невестой?

— В субботу... Ну, двинем в лес?— сказал Виктор, поднимаясь.

— Пошли.

На тропинке Виктор остановился, с интересом начал разглядывать следы велосипедных шин. И неожиданно обрадовался.

На сухом прутике тальника висела бумажка. Зубакин снял ее. «Ассоль вернулась. Ее телефон: 33-02-10»,— писала та, о которой он устал уже думать и которую ждал.

12

Прутиков собирал чемоданы не спеша, вдумчиво. Снял планки с боковых тайничков, рассовал трехпроцентные облигации, аккредитивы. На самое дно чемодана растелил тонкие пачки пятидесятирублевок, прикрыл их картонным вторым дном и начал укладывать вещи — уезжал в отпуск к Черному морю (это для ребят и чтоб на работе знали), а на самом деле он уже рассчитался, выписался и черную «Волгу» купил, на которой решил навсегда покинуть Урал.

Он все продумал.

Рисовалась ему будущая жизнь у теплого моря, скрытная и спокойная, в собственном домике. Нинку он потом вызовет. Встретит ее и, как ночью, положит ей на грудь свою измученную думами о грабежах непутевую головушку, как сынок народится. И будут они гулять втроем под пальмами степенно-весело. Прутиков закрыл один чемодан, взялся за второй.

В это время из замочной скважины выпал ключ, дверь приоткрылась.

— Тропин? Откуда? — в голосе недовольство.

— Молчи, старик, я — влип. Ругай, можешь врезать, но я — влип... Кранты, старик...

— Не паникуй! Расскажи толком.

Тропин понуро сел на стул и рассказал про свои злоключения. Прутиков между тем думал. Он сидел напротив Тропина, облокотившись на стол и положив в ладонь подбородок, молча смотрел поверх головы своего неудачливого компаньона, смотрел в окно, в темное небо.

Тропин не смел заговаривать, ждал.

Прутиков стал обманывать себя, будто он не боится милиции. И первое время ему казалось, что делает это успешно. А теперь все чаще его мучили сомнения, зачем эти деньги, машина, кутежи с друзьями? Только знать, что тебя кто-то боится, кто-то восхищается удачами, что ты можешь, например, обхитрить кассира или инкассатора? Можешь, можешь!.. А на самом деле ничего не можешь. Каждая минута, каждый час — напряжение нервов, ума, силы воли. И с каждой минутой все ближе к развязке, к концу. А там, что там? Там расплата... Крыша...

Прутиков устал бояться милиции. Устал грабить, хитрить, обманывать. Он поймал себя к тому же и на трусости, чего не должно было бы быть, поймал в те томительные минуты ожидания, когда проносили мимо окна тело таксиста, когда плакала и хохотала труба, а клаксоны машин протяжно ей подвывали, и тот крик женщины...

Теперь он понял слова деда: «Пусть будут глаза болючие. Зато я прожил честно».

И теперь он страшно завидовал Витьке Зубакину, вернувшемуся из заключения. Завидовал его детской радости от ощущения свободы, спокойной походке, изумлению и отчаянному вызову в глазах: мол, плевал я теперь на вас всех, жориков. А такого пренебрежения к себе

Прутиков никому не прощал. Прутиков взглянул на потерянного Тропина, сказал:

— Ну вот что: денег я тебе дам пятьсот рублей. Ксивы достанешь сам. Завтра я уезжаю в отпуск. Только тебе могу сказать — совсем уезжаю. Скучно здесь стало. Приглянется какое дело — дам знать. А пока тебе надо устроиться на работу в тихое местечко, в тихом городке, выждать, пообсмотреться. Там будет видно. Сегодня есть дело. Проучить одного надо. По-моему, стукач. Дразнить станет всякая шулупень. Заведет в темень. Если они не осилят, сдрейфят — сделаешь ты. Но так, чтоб никто тебя не видел.

— Ясно,— кивнул Тропин.

— Щеку покажи завтра же в каком-нибудь здравпункте подальше от города. А сейчас приводи себя в порядок и топай. Усек?

— Усек. Ну что ж, рискнем на прощанье. Может, найдешь стопарик?

— Эт-то всегда найдется...

* * *

Илья с Виктором вернулись домой часов в десять вечера. Парень привез их на самосвале к самому подъезду.

В комнате Женька с Климом и еще двое со стройки в расстегнутых рубахах сидели на полу на одеяле и играли в карты. Тут же валялись сигареты, пустые бутылки. Тут же возле них вертелся Тигр, пытался укусить откуда-то взявшийся детский мяч. Тигр бросился к Виктору, перевалился через гитару — струны вздрогнули, щенок испугался, замер, оглянулся, потом подкрался к гитаре — обнюхал, пошевелил лапой струны — дрожат, наклонив голову, послушал, снова перевалился через нее и смело кинулся к хозяину.

— Витя, тут к тебе пацан со своей дамой сердца приходил. Все со щенком играли, тебя ждали. Деньги какие-то принесли,— сказал Клим.— Рубль. Все медью.

— Я им завтра всыплю за это. Понимаешь, мороженым угостил, а они мне медь собрали.

Виктор наклонился к Тигру, подставил руки. Щенок взобрался в ладони, повизгивая, лизнул, вытянул передние лапы, положил на них голову и, помахивая хвостом, блаженно закрыл глаза. Он подрос. И ему уже мало двух

ладоней. Теперь ему надо было покупать кости, чтоб окрепли зубы.

— Есть хотите? — спросил Клим, повернувшись. — Мы уже. Оставили вам жареной картошки и полбутылки вермута, для аппетита. В холодильнике колбаса, кефир...

— Разберемся, — сказал Илья. — Опять играете на деньги?

— Да ты что? Простой кинг! — сказал Клим.

— Вижу. А спать не пора?

— Счас, — сказал Клим. — Докончим партию и пойдем перед сном прогульнемся. Вам привет от Вовы. Температура тридцать семь. Скоро выпишут.

После ужина Илья вымыл бутылки из-под кефира, составил их в сетку.

— Ребята, что на завтрак взять?

— Я с тобой, — сказал Виктор, надевая пиджак.

Где-то заскулил Тигр.

— Витя, он на балконе, — крикнул Клим. — Вытащи.

Щенок просунул голову в решетку балкона и застрял. Виктор вытащил Тигра и оттрепал за ухо. «Сейчас сходим в магазин, сяду и напишу письмо Мохову, — подумал он. — И еще — я позвоню ей».

— А вы куда? — спросил Женька.

— В магазин, котенок.

— Подождите, мы сейчас.

Все было буднично, и ничего плохого не думалось. Был открыт балкон. Виднелась роща. За ней аэродром на взгорке. Горела вывеска «Светлячок». Под ногами вертелся щенок, жалобно скулил и заглядывал в глаза.

Ребята встали, надев пиджаки, застегнулись. Все черные. Пошли к двери. Щенок сел перед ними, задрал кверху морду и взвыл тонко, пронзительно.

Виктор вздрогнул и остановился.

— Что это с ним? — спросил Илья.

— Ты что, Тигруша, — Виктор присел перед щенком, — не хочешь оставаться один? — Щенок, поскуливая, облизал ему руки, резво отбежал к двери и сел. И снова взвыл.

— Ну, ладно, ладно, я скоро вернусь.

У магазина толпились парни. Кто-то в середине бренчал на гитаре.

— Я схожу в магазин и вернусь домой. Погуляю с Тигром, а после немного позанимаюсь, — сказал Илья, сворачивая к магазину.

— Дядя Витя! — Из сквера выскочил Марат, горячо зашептал: — Иди-ка сюда.

— Ты чего не спишь?

— Успею. Вы куда пошли, дядя Витя?

— В парк.

Марат потянул Виктора за рукав и, тараща глаза, зашептал на ухо:

— Сейчас на лавочке... сидели парни с гитарами. Они кого-то убить собираются. Во-он те!

— Спасибо, Марат. А сейчас кыш спать. Поздно.

— Пойдемте к танцплощадке, — предложил Женька.

— А твой бывший синяк не против? — спросил Виктор.

Сравнявшись с ребятами, Виктор оглянулся: «Все ясно!» Компания разделилась, окружила.

— Кстати, драться-то ты умеешь? — спросил Виктор Женьку.

— Махать руками каждый может! — сказал Женька.

— Иди-ка ты, Женя, домой, — сказал Виктор, и вмиг представилось ему колхозное поле с горохом. Как ползали, обрывали стручки и ели сочный зеленый горошек, смеялись над анекдотами шутника шофера, маленького, верткого. После приехали на строительство к бетонщикам и там перекидывались остротами. А девчата угощали их печеной картошкой. В котловане дотлевал костер.

А сейчас он понял, что за ним охотятся. Когда он оглянулся, мелькнуло лицо Прутикова.

Виктор пошарил в карманах. Кроме спичек и денег, ничего не было. «Надо как-то отправить Женьку домой,— подумал он. — Клим ихний. На него не кинутся. На меня для начала тоже. Слишком открыто. Задираться будут на Женьку».

Он вдруг понял, что удивительно спокоен. И удивился своей холодной рассудочности. «Что это с тобой, Зубакин? — спросил он себя. — Уж не хочешь ли ты подставить спину? Ну, нет, шалишь... Конечно, не хочешь. Ведь еще растут искривленные березки в память о матери, еще лежит в больнице Вова. И на кого-то смотрят из-под черных прямых волос глаза той девчонки с велосипедом. В общежитии скулит щенок, ждет тебя. А на Севере пилит и пилит лес Гришка. Сейчас уже там созрела морошка. И начинает краснеть рябина».

В парке горел свет только на аллеях и на танцевальной площадке. Играли танго. На площадке было тесно,

кто танцевал твист, кто танго, некоторые вовсе топтались на месте.

Вокруг площадки под березами народу раза в два больше танцующих.

— Жень, иди потанцуй, — предложил Виктор.

— Да ну, скоро кончится музыка. И потом, чего я один?

В это время подошли какие-то парни с девчатами, обозвали Женьку морским волком и увели с собой.

— Может, двинем домой? — сказал Клим.

— Айда, — согласился Виктор. — Только пойдем прямиком, а то на аллеях светло и много свидетелей.

Клим стал озираться и шарить в карманах спички.

— На, — предложил Виктор свои.

Из беседки навстречу им поднялись несколько человек.

«Девять, — сосчитал Виктор. — Неплохо. И все сосунки».

Первым шел с гитарой на плече парень с фигурой боксера.

«Это, пожалуй, проще».

— Крика не будет, — сказал, подходя, парень с гитарой. — Что надумал?

— А что будет, если не надумал? Многовато вас, как я погляжу.

— Ничего страшного не будет. Или — или. Отправишься к прабабушкам пить чай.

— Конкретней.

— Что надумал?

— Скажи, пожалуйста, дело с таксистом уже закрыто?

— Закроют. Только без нас.

— Уяснил. Теперь еще вот что: это все твои жорики-чумарики?

— Мои.

— Жидковатые больно.

— Ничего, подрастут.

— Бить-то жалко.

— А это еще кто кого.

Партнеры по картам присоединились к девяти. Клим стоял чуть в стороне, плечом к березе, курил.

— Ну так что? — парень снял с плеча гитару, поставил на землю и оперся на нее рукой. Тускло блеснул перстень.

— А ничего! Стерва ты! — размахнулся и ударил. Что-то мягко хрустнуло под рукой. Парень ойкнул и полетел вместе с гитарой в ноги своей стае. Кто-то подлетел к Виктору сбоку и — не успев дотянуться — лег.

— Витя, держись! Царапайся!

«О черт! Откуда-то принесло Илью», — мелькнула мысль в свалке.

— А ну, кто на Куличкова! Ха! Ха! Забыли, гады, сволочи, Куличкова. Ну, ну! Помахайте ручками. Ах, ты нож? На! Помни!.. Ах, ты еще и вон как? На еще!..

Виктора кто-то укусил за руку. Кто-то замахнулся на него гитарой. Он успел присесть, гриф хрястнулся с березу, отлетел.

— Кранты! — завопил кто-то. — Мильтоны!

— Ходу!

Вдруг умолк Илья.

— Илья, Илья-я! — закричал Виктор. Илья молчал. В голове стало невыносимо жарко. «Все», — подумал он, и, уже ничего не понимая от злости, стал махать кулаками и раскидывать наседавших юнцов.

Сбегался народ. Кто-то кричал:

— Милиция! Где милиция?

Виктор опомнился, когда услышал свисток. Опустил руки, но кулаки разжать не смог. И вдруг он почувствовал чуть сбоку, под сердцем, острую боль. Удивленно прислушался к себе, прижал ладошкой. Рубаха была мокрой. «Подрезали», — безразлично к себе подумал он.

— Илья, Илья! — стал искать Илью.

Кто-то валялся на земле, кто-то убегал.

— Не берите его! Он от десятерых отмахивался! — защищали спотыкающегося Виктора.

Илья лежал ничком. Виктор поднял его. Тот очнулся, открыл потускневшие глаза. Из виска сочилась кровь.

— Голова звенит. Знаешь... Кастетом... Я снова руку вывихнул. Да чего ты меня держишь, как девочку? Пусти... Задержите Соловья-Прутикова и Клима Раннева, — сказал Илья подошедшему милиционеру. — Остальные — мура! — добавил он, покачиваясь.

Подошла еще «скорая» и милицейская машины.

— Соловья, Соловья возьмите! — беспокоился Илья.

— Илья, здесь его не было, — сказал Виктор.

— Это ты нам прически портил? — остановился один возле березы, у которой сидел Виктор.

— Был грех!

— Силе-ен!

— А где Соловей, не скажешь?

— Прекратить разговоры! — пробасил милиционер, совсем еще мальчик. — Отойдите, отойдите, товарищи! Мешаете! — он непрестанно раскидывал руки, будто собирался обнять всех любопытных.

И тут вовсе близко, за березами, началась перестрелка. Тотчас же из темноты кустов выскочил пожилой милиционер с собакой на руках. Собака жалобно повизгивала, стараясь лизнуть рану на боку.

Следом почти вынесли его.

Зубакин, теряя сознание, словно издалека услышал:

— А-а-а! Паразиты! Стукачи! Не возьмете! Нет!

Человек вырывался. Кидался кусаться.

А Виктору за эти последние полчаса жизни привиделся солнечный-солнечный день. Как идут они с Моховым по цветистому прилужью Тобола, как вдруг широко открывается вид на взгорок, на розовую кипень цветущего сада. А навстречу бегут маленькая светловолосая девочка и большая серая собака. У девочки круглые синие глаза. Она бежит по лугу, по белым ромашкам и звонко смеется. Смеется и кидается ей навстречу Мохов.

И Зубакин чувствует себя таким счастливым в этот солнечный день, что падает в цветы. И земля качает его, баюкает и несет куда-то...

Зубакина несли на носилках к «скорой».

Врач торопила.

Белая мель

1

В то утро, с которого все и началось, будильник ни с того ни с сего затрезвонил на пятнадцать минут раньше, быстро выдохся и замер на полу возле ножки тахты. Петунин проснулся.

В комнате было еще сумрачно, а за окном то ли густел туман, то ли моросил дождь.

Петунин опустил руку, нашарил на полу бутылку с кефиром, отхлебнул. Быстро встал. Обстоятельно помахал руками и, взяв электробритву, пошел в ванную. Под холодной водой потоптался на скользком дне ванны. Стало приятней. Зная, что время у него еще есть, блаженно покряхтывал, бил себя ладонями. Но очень скоро его блаженство прервал телефонный звонок. Было без пятнадцати пять.

— Только что, — принялся докладывать начальник смены Буракин, — была травма...

— С кем? С кем, спрашиваю?

— В четыре часа пять минут...

— Дальше? — закричал Петунин и наконец понял, что ничего сразу не добьется от перепуганного Буракина, пока тот не соберется с мыслями. Замолчал и стал ждать, что он ему еще скажет.

— ...Из пакета выскользнул полутораметровый уголок и упал на каменщика Веревкина...

— Дальше...

— Уголок падал стоймя... Задел Веревкина. Доставлен в больницу. Раздроблена рука. Ушиб головы. Сильный, — Буракин вздохнул. — Но... могло быть хуже...

— Пришлите дежурную машину.

— Она у вас под окном.

Петунин опустил трубку и несколько секунд смотрел на проснувшегося щенка, красного сеттера, сделавшего лужу возле тумбочки. Петунин погладил щенка, и ему захотелось спрятаться под одеяло, уснуть и снова проснуться и отмахнуться от этого звонка, будто от плохого сна. Потом он стал думать о каменщике Веревкине, молчаливом крепком мужике с хмурым, внимательным взглядом, с тяжелыми кулаками и о его жене, подручной огнеупорщиков — Фае, всегда идущей вроде и не рядом с мужем, а так, на полшага позади, как на ниточке — с работы и на работу вместе, молча, с почтением во взгляде на мужнину спину.

«Сколько же у них детей?» — подумал Петунин. И еще он подумал о том, что надо срочно ехать и разбираться, чей пакет с уголками, и почему этот пакет не был проверен подкрановым, и кто и кому приказал поднять этот пакет на печь, которая стоит в разливочном пролете, вернее, не стоит, а лежит, почти готовая, очень похожая на огромный поваленный самовар и возле которой вчера Веревкин ссорился с начальником смены Буракиным, потому что надо было взбираться на верхотуру печи и делать кладку свода, а лестницы не было, и транспортер на метр был не дотянут до места — потому бригада каменщиков и куковала возле печи что-то около часа. А сдающая смена вовсе не была виновата — убирала опалубки и сбивала настилы и окалины, выверяли поверхность бетонного фундамента под печь. Этот приказ вчера Петунин сам записал в книгу заданий: за выполнение коллективу смены пятьсот рублей премии. Петунину очень хотелось, чтобы его цех не отстал по графику от других цехов, участвующих в ремонте печи.

В машине он сидел и думал опять о Веревкине и о том, что в десять часов надо будет докладывать начальнику штаба по капремонту, главному сталеплавильщику Дерябину, а в три часа директору завода. Он распалял себя и мысленно уже ругал виновника несчастного случая, и мысленно представлял, что и его тоже будет кто-то ругать, и как ему станет горько, обидно, но еще обиднее ему станет не оттого, что кто-то его поругает и что он сам кого-то поругает, а оттого, что ему придется ехать в больницу к Веревкину и смотреть в глаза Фае, и что-то ей говорить, както утешать. Каждое утро он страшился всяких наплывающих, скопившихся за вечер и за ночь дел и завидовал Смирнову, своему предшественнику, работающему сейчас

в Индии. Недавно Смирнов приехал в отпуск. Вместо отпуска ему, говорят, жена устроила развод. Но по виду Смирнова нельзя было сказать, что он этим опечален. Выглядел молодо и счастливо, разъезжал на новой «Волге». Заглянул в цех, поговорил с людьми. И ходил слушок, что мастер производства Талова, только-только получившая в новом доме квартиру и вдруг подавшая заявление на увольнение с завода, была, говорят, причастна к хорошему настроению Смирнова и этому разводу. Но так это или не так — Петунина не волновало. Кому какое дело до двоих людей, которым, быть может, хорошо вместе?

Петунин вынул из кармана сигарету и закурил. «Газик» бежал по безлюдным улицам, еще сумеречным от утреннего тумана и моросящего дождя. В одном месте улицу перебежал мальчишка с пегой гончей, и у Петунина от зависти затуманилась голова. Закрыв глаза, он вообразил гон на заре по первому снежку, как был бы счастлив в азарте погони за зайцем, как сопереживал бы возбуждению собаки, как приехал бы домой и, выкупавшись в ванне, отогревшись, устало, счастливо повалился на кровать, зная, что и собака его тоже, пав под порогом возле рюкзака, спит уже или подремывает, вздрагивая, будто и во сне все еще гонит зайца. Ему вспомнились свои приезды домой к маме, речушка и банька на задах огородов, сумрачный бор за речушкой, где веснами на всхолмках в этом бору он просиживал холодные ночи возле костра, чтобы на рассвете услышать тетеревиные песни, подкрасться и увидеть их свадебный танец. Как было хорошо ему в том одиночестве, когда мама знает, где он, что девушка, которую он тогда любил и которая станет его женой, тоже знает, что он жив и здоров. Но знала ли мама и та девушка, его будущая жена, а теперь уж и не жена, а так — боль одна, боль, от которой до сих пор щемит сердце, знали ли они обе, что самое счастливое время у него было тогда? А теперь что же? Теперь нет той легкости, нет того беспричинного возбуждения и нет беззаботности, как в те годы, от которых остались воспоминания, как о вечном ожидании чего-то неожиданного, светлого. Сейчас-то он знает, что никогда не будет тех холодных ночей, тех костров и запаха талой воды и земли, чистых звезд, той поляны с сон-травой и медуницами и тетеревиных песен на этой поляне в легкой дымке туманца, когда подглядываешь, как призывно-пре-

красно поет косач и ведет сладкий танец, то топчась, то подпрыгивая по прошлогодним сухим листьям мимо камней и валунов в надежде привлечь внимание и поразить своей красотой тетерку, которая выберет его и уведет за собой в самый укромистый уголок леса. «Может быть,— думал Петунин тогда с тоской и удивлением,— я был давно какой-нибудь птицей?»

Наконец Петунин встряхнулся от дум, открыл глаза и выбросил потухшую сигарету. «Газик» доставил его к мартеновскому цеху. Петунин выскочил из машины и, перепрыгивая через ступеньки, взбежал на третий этаж бытовки, там по длинному коридору мимо плакатов, объявлений и графиков — в цех на рабочую площадку, к печи.

Он не зашел в свой кабинет и не переоделся, так и побежал в своем сером костюме. У встретившейся нормировщицы попросил каску.

Выяснив причину несчастного случая и составив акт, Петунин позвонил в больницу.

— Плохо,— ему сказали.

— Я могу сейчас приехать?

— Нет,— сказали ему.

— Тогда жене... Хотя бы жене!

— Хорошо,— сказали ему.

2

А вечером он сидел за столом, не обращая внимания на звонки, закрыв глаза, чтобы не видеть бумаг и выговора. Ему хотелось отринуться от всего того, что окружало его в этом кабинете, и от того, какую власть он имел в этом кабинете, и от того, что исходило каждодневно из этого кабинета, и не потому, что последнее время на него начали сыпаться неприятности, как косой долгий дождь, а потому, что он вдруг почувствовал в себе зреющую усталость и необоримое желание послать всех и все к черту. Он это понял еще утром, когда вдруг с ужасом почувствовал, что нет сил не только подписывать или читать бумаги, а даже положить их в папку, чему он страшно удивился и принялся гадать: отчего бы это? Но что-то отвлекло его, и вот теперь он вспомнил утреннее состояние, и это как бы усугубило теперешнее его состояние — было на душе скверно. Может быть, доканал его выговор? Вот он, приказ

директора завода. И случай-то был нелепый, а поди вот. Все тогда произошло потому, что тракторист отвел трактор от шлаковиков, заглушил мотор, а стрелу оставил на весу. И надо же было ему не опустить эту стрелу, а долговязому бригадиру каменщиков Кузнецову обязательно надо было сесть покурить на эту стрелу, да еще подобрать под нее ноги этак по-бабски. Стрела опустилась сама по себе... И вот — опять выговор.

Петунин отнял от лица руки и взялся за трубку телефона. Набрал номер и без обиняков сказал другу:

— Знаешь, я, наверное, уйду.

— Есть одно местечко. Начальником снабжения... Что молчишь?

— Соображаю, какие мы будем иметь от этого выгоды.

— То есть?

— Снабжать нас будешь по первому классу?

— Узнаю твои шуточки. Ты всегда преследовал свои цели.

— Ну, знаешь, разговорчики-то разговорчиками, а дурака валять я тебе не позволю... То, что ты бы занялся снабжением — нашему цеху благодать, но ведь все, что ты успел сделать, чего-то добиться, кому ты это оставишь?.. Разве шибко невмоготу, ну тогда что уж...

— Невмоготу,— сознался Петунин.— Я забыл, когда последний раз был на охоте. Это я-то!

— Ты думаешь, мне не тяжело?

— У тебя-то что?

— Ладно, старик, не хандри. Сейчас я приду к тебе — поговорим и пойдем домой.

— Приходи,— сказал Петунин и положил трубку.

Он опять сжал лицо ладонями и уставился в экран телевизора.

Бряканье ведра и шлепки мокрой тряпки о пол в коридоре напоминали о том, что рабочий день давным-давно закончился и за окном вечер. Когда приходила уборщица, он переходил в техкабинет, мерил шагами взад-вперед проход между креслами, курил, вскоре снова возвращался за свой стол. Было свежо. Чувствуя эту свежесть, он испытывал внутреннюю бодрость и забывал о дневной суетливости. Этот освеженный пол, и возле сифона чистые стаканы с капельками воды на гранях хрусталя, и свежая пепельница действовали на него настолько успокаивающе и благотворно, что он полюбил такие минуты, потому что за это вечернее время он успевал сделать намного больше,

чем днем, и успевал совершенно отринуться от дел. Иногда он мог позвонить Юле, сказать, что сегодня он, вероятно, не зайдет— дела, и не было даже мысли сожалеть о чем-либо. Женщина, видимо, это понимала, старалась не докучать. И как-то так получилось, что начала незаметно отходить. Вчера она, например, сказала ему: «У меня только что закончилась трудная операция, а сейчас вот иду на дежурство...» В ее сухом, отрешенном голосе не было ни раздражения, ни намека на упрек, да и он считал, что у нее нет никакой видимой причины серчать на него. Он уходил утром, почти с восходом солнца, и возвращался в свою холостяцкую квартиру затемно, и она это прекрасно знала, так в чем же дело? Раньше бы он выразил неудовольствие, негодование, обиделся бы или бы искусно скрыл обиду, чтобы потом заставить понять женщину, что она все-таки женщина. Но теперь он не мог даже подумать об этом, потому что более, как ему казалось, серьезные обстоятельства побуждают его принимать вот сейчас какое-то решение. Он не считал себя эгоистом. Он замечал в людях малейший настрой души и, не задумываясь и не считаясь со временем, старался хоть чем-то помочь, помочь вдруг растерявшемуся в жизни человеку или искренне порадоваться чьей-нибудь удаче, и только женщину, ему казалось — теперь уже любимую, он не мог понять. Он считал, что она должна была понимать его с полуслова, с полуулыбки, должна была отречься ради него от своего «я», своих убеждений, иначе зачем быть вместе? И вот вчера его вдруг потянуло к ней, к откровенности. Захотелось выговориться, лечь с ней и забыть обо всем, но это его желание тотчас угасло после разговора с ней по телефону.

— Я хочу любить, варить и жарить, стирать, мыть полы,— говорила она ему.— Но не хочу пряtанья. Я не хочу больше разочаровываться. Я хочу верить и идти за человеком, который был бы умнее меня, сильнее меня...

И вот он снова остался в своем кабинете лицом к лицу со своими неприятностями и думами. Теперь его раздражал этот кабинет с полированными шкафами, с зеленой скатертью на длинном столе и с плакатами во всю стену, на которых были графики — показатели работ.

Три года назад он пришел в этот цех. Его предшественники менялись, не успев вникнуть в работу, а тот, которого здесь помнили и уважали, который основал этот цех и

собрал весь коллектив, был послан в Индию на строительство и пуск металлургического завода. Принимая его хозяйство, Петунин не был в восторге — у него был день рождения, а он ходил и знакомился с новыми людьми и весело поглядывал на первые цветочки мать-и-мачехи, вылезшие из тощей, глинистой земли возле фундаментов строений, а заводская художница в огромном полуподвальном помещении зло говорила, увидев новое начальство: «Все меняется, только мой подвал тот же». Петунин приказал перевести ее в светлую комнату рядом с красным уголком и долго был благодарен ей за тот день когда все его встречали вроде бы радушно, показывали фасад, а за этим фасадом были расхристанность и бездельничанье. Ему было жаль усилий и деяний того человека, который был снова где-то в жаркой стране — делал свое дело, которое, видимо, знал хорошо, а здесь все, что он собирал годами по крохам, развалили в какие-то полтора года, и ему, Петунину, пришлось все налаживать и восстанавливать, узнавать людей и биться за экономию ремонтов мартеновских печей, чтобы как-никак, а выполнять план. Есть план — есть у людей настроение. Он вспомнил, как повеселели мастера, начав получать ежемесячные премии, и те, что грозились уходить в другие места, остались.

Сидя в своем кабинете, Петунин, оглянувшись на эти свои последние три года, в общем-то был доволен собой, рабочие его ценили и уважали, а это было главным в такой работе, но сейчас и это не утешало его.

Вошел Спирин.

— Ну, как живешь? Давненько не виделись,— заговорил он с неловкой игривостью. Он устроился в кресло напротив Петунина и, наливая в стакан газировку, изучающе посмотрел на товарища.— Ты думаешь, мне надо ремонтировать мартеновские печи да выполнять твои приказы. А мне, может быть, еще нравится спасать заблудшие души... Ну, рассказывай...

— О чем?

— О том, почему уходишь.

— Вот,— Петунин протянул приказ,— опять. Чуть не каждый месяц... Наверное, надо уметь вовремя вынырнуть из-под девятого вала... Пора...

— Нуте-ка, нуте-ка, поглядим... Я еще не читал...— Прочел, выпустил из рук — лети, мол. Листок плавно скользнул и лег на стол перед Петуниным.— Если причина

только приказ, то это чепуха. Травма? Ну, так и что, такая наша работа...

— Я что-то устал — работа, работа,— сказал Петунин.

— Понимаю — нервная депрессия,— усмехнулся.

— Все-то ты знаешь.

— Я могу предложить тебе для дальнейшего разговора ужин в хорошем месте. Идем,— резво встал.

По заводу шли молча. За проходной, в кленовой аллее, Спирин заговорил:

— Думаешь, я не устал! О-о! Сегодня вот только и делал, что бегал... Может, тебе взять отпуск, поехать на юг— развеяться? Или жениться...— помедлил и принялся поучать на правах старшего: — А что, и женись! По крайней мере, будешь вовремя пить горячий чай... Что молчишь?

А Петунин, когда ходил, любил молчать, ему нравилось просто ходить и ходить по городу вот в такие теплые летние сумерки, смотреть на беспечно гуляющих людей, на витрины и чужие окна.

— Зайдем,— предложил Спирин, кивнув на дверь тесного, грязноватого ресторанчика с сентиментальной вывеской — «Березка». Петунин было замялся, а потом шагнул к двери, подумал, что друг пришел утешать, а утешать друзья приходят не так-то уж часто, и это тоже своего рода событие, мимо которого нельзя проходить мимо. Но мимо этого ресторанчика они все же прошли.

— Я же тебе обещал хорошее место,— сказал Спирин и бросился к проходящему такси.— Едем.— А шоферу сказал:— К гостинице «Турист».

Ехали и молчали. В ресторан вошли тоже молча и сели у раскрытого окна.

— Нуте-ка, нуте-ка, — берясь за меню, повеселел Спирин.— Что будем? Водочку?

— Я шампанское, а ты все остальное на свой вкус — доверяю.

— Во всем бы.

— Далеко заведешь.

— М-да,— вздохнул Спирин,— а сегодня на печи...

— Ты можешь когда-нибудь не говорить про печи? — взорвался Петунин и, хлопнув ладонью по столу, тотчас сник: — Извини.

— Могу, Артем Сергеевич, могу, родной! — согласился Спирин.— Э-эх ты, тамбовский житель! — добавил он с сожалением и отвернулся, стал смотреть на пустующий бар, украшенный чугунными кружевами по темному полированному дереву, и на огромные настенные тарелки, тоже каслинского литья.

— Извини,— еще раз сказал Петунин и закурил. Он видел, как порозовели скулы у друга, но тот был добрым человеком и не хотел, чтобы в его глазах кто-то прочел осуждение.

— Ладно, старик, замнем,— Спирин повернулся и накрыл своей рукой руку Петунина, лежащую на столе, легонько сжал ее и понимающе кивнул.

Официант, юркий парень, принес шампанское, бесшумно открыв его, налил в тонконогие бокалы. Шампанское было холодным. Зал полупустой. Появился оркестр, и зажгли свет. Из окна веяло сумерками и остывающей хвоей.

— Ладно, я выпью за печи! — Петунин виновато улыбнулся. Он не мог сказать другу о том, что у него только что было яростное желание выкинуть его в окно, вместе с его уверенностью в своем бытии, с преуспеваньем в работе — со всем. Это желание он с трудом подавил в себе, но пальцы рук дрожали, и надо было их куда-то деть, стал мять из бумажной салфетки шарики.

— Ты что-то совсем расклеился, — успокаивающе сказал Спирин и, выпив рюмку водки и закусив салатом, стал смотреть на танцующих.— Ничего. Это пройдет. Это бывает.

Играли танго. Парень с русой бородкой пел песню о том, что есть на свете соловьи и простые сизари.

«Есть простые сизари... Есть простые сизари...» — стал шептать Петунин вслед песне.

— Ты думаешь, я черствяк?—вдруг спросил Спирин.— А? Молчи. Вижу, что думаешь. Ты думаешь, что сидит вот Спирин спокойный, уверенный. А может, тебе плохо и мне плохо? А, да что там... Потанцевать не хочешь? — Оживился: — Смотри-ка ты, в стаю белых ворон залетела розовая чайка! Вот тут-то мне и конец! Я пошел.

Спирин сорвался с места и полетел через весь зал вслед за девушкой в розовом брючном костюме. Вскоре они оба появились перед Петуниным. У девушки было милое веснушчатое лицо с голубыми глазами, узкая сухая ладонь.

Петунин глянул на друга и усмехнулся. Он знал уже, что стоит захотеть — и эта девушка будет его, потому что та смотрела на него так, как будто обрела весь белый свет.

Петунин был смугл, узколиц, со впалыми щеками, резко очерченным ртом и большими серыми глазами в темных ресницах. Когда Петунин веселел, глаза его лучились, сияли, звали, обнадеживали и — ничего не сулили.

— Ну-с, Афродита, давайте знакомиться,— предложил Артем.

— Я не Афродита. Я — Люся.

— Очень мило, Люся. Присаживайтесь.— Артем пододвинул стул, а Спирин поспешно схватился за бутылку с шампанским.

— Это вот Спирин. Вы видите его? Ученый человек. Только что...

— Артем Сергеевич,— взмолился Спирин.

— Ну, полно, Николай Захарыч, полно прибедняться... Вы знаете, Люся, этот человек только что выступал с докладом. Он сконструировал новую мартеновскую печь. Блестящий доклад, знаете ли... И вот — мы здесь... И вы с нами...

— Люся, что вам заказать? — торопился Спирин, все больше расцветая.

— Право, не знаю.— Люся вдруг оживилась, осмелела.— Можно? — потянулась за сигаретами.

— Вам, Люсенька, все можно,— сказал Артем.— А для начала давайте поднимем бокалы за Спирина. Знаете, когда-то мы с ним сидели за одной партой в сельской школе. Он был прилежным мальчиком. И вот ведь как все обернулось! Он ученый, я же — водитель такси — развожу чужие судьбы и обманываю свою. Но думаю, что ему вот-вот выделят персональную машину, и тогда...

— Возьму, возьму... Личным шофером.

— Спасибо. Теперь я спокоен,— растроганно сказал Артем.

— Вижу. Спокойней некуда... Ну как?

— Все проходит,— сказал Петунин.— Ты все делаешь правильно.

— То-то. Ты не против, если мы потанцуем?

— Ради бога, танцуйте, дети мои, а я подумаю о судьбе своей. Заодно и о вашей...

Люди танцевали. А он сидел, курил, поглядывая сквозь клубы папиросного дыма на красивых женщин.

3

После танцев Петунину снова стало невесело, потому что снова надо было выныривать из бездумья и легкости — ресторан закрывали. Когда вышли, Петунин предложил взять такси и поездить по ночному городу, но, предлагая это и поглядывая на девушку и веселого Спирина, он уже знал, что оставит их вдвоем, не поедет, а пойдет и пойдет, хоть на всю ночь, и где-нибудь остановится — возле своего ли дома или возле Юлиного. Но после часа ходьбы Артем сел на скамейку в каком-то скверике. Ему нравилось то, что на других скамейках сидели парочки — целовались. Петунин не то чтобы завидовал, не то чтобы страдал лютой завистью — нет, ему было грустно оттого, что он вот сейчас так же мог бы сидеть здесь не один, а с той девушкой в розовом и она бы сидела с ним покорно и преданно. «Тебе мало тех одиноких минут, черт этакий? — с грустью укорил он себя.— Тебе можно только играть до какого-то предела, и ты это знаешь. Ты знаешь, что придет минута, когда не будет пути назад, и ты будешь страдать, потому что ты — такой. Так зачем же нужен тебе еще этот веснушчатый ребенок?.. «Широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель».— Вспомнил: — Счетоводом-то, может, и не возьмут, а бригадиром авось... Господи-и, мама моя родная, что буду я делать сейчас в нашей деревне, что? Какой теперь из меня бригадир, какой счетовод? О чем ты? Нет. Не нужен я там. А здесь кому ты нужен? Какой из тебя начальник цеха? Ну-у, брат Артемий, что-то тут не так, как-то ты заблудился. Вот и шагай, топай в снабженцы...— При этой мысли Петунин расхохотался.— А что? После войны мальчишкой стаканами продавал табак — опыт есть. Вот и трудись в снабжении. Занимайся флягами, краской, рукавицами. А что? Зато без непрерывных звонков по ночам. День рабочий — с восьми до пяти. Что может быть лучше?»

Так думал Петунин, глядя в высокое темное небо сквозь переплетенье ветвей клена. Но тут наступил провал, и когда он открыл глаза, то в скверике уже никого не было. Он сидел один. Его трясло. Тоненько звенело в голове, а ему казалось, что это он, крохотный, один во всем мире сидит и слушает перекличку звезд. Вроде говорят? Что говорят? Вон падает, падает звезда. Она летит прямо на него. Сейчас она столкнется с землей, с ним. Артему стало жутко, и он вскочил, но звезда погасла, канула. Еще не-

которое время Артем стоял и беспомощно смотрел в пространство, ощущая все тот же нереальный звон в голове, пытался понять: кто он и что он? Главное — стоит, зачем стоит? Таращится в высокое это небо — ждет, что ждет? Но тут будто кто-то подошел и взял его за руку, он даже ощутил эту теплую доброжелательную руку, и повел. Ежась и подрагивая, Петунин плелся в темноту.

Улицы были безлюдны. Город спал. Петунин вдруг вспомнил весь день и вечер и остался недоволен собой. Он вовсе не хотел обидеть Спирина своим уходом, но очень уж тот льнул к этой девчонке. Чувствуя как бы сострадание к ним обоим, Петунин оставил их наедине. Он знал все наперед, что было бы и как, если б он остался. А так Спирин увезет ее к себе послушать музыку (жена на курорте) и останется с ней вдвоем. Но и это не опечалило Петунина — у него есть Юля.

...И очи синие, бездонные
Цветут на дальнем берегу...—

принялся он читать стихи Блока. Внезапно почувствовал, что ему хочется увидеть Юлю. Защемило сердце — так остро возникло это желание. Никогда раньше он не чувствовал, не замечал в себе такого. Это поразило его, и стало грустно. Он думал о себе, как бы о ком-то другом, что он ничтожно мало жил — что он значит на этой земле, что он успел сделать, кого осчастливить? И еще он думал о том, что есть люди, которым чужды печаль и страдание. А может быть, они просто бодрятся, а это совсем не одно и то же. И когда наплывали заботы и воспоминания о работе, он отгонял эти думы, старался переключиться на что-то другое, забыть, закинуть в темные кусты, хотя где-то подспудно он понимал это, в нем жило сознание: а без работы-то он совсем маленький, совсем ничто. Отбери сейчас работу — что он будет значить, на что пригодится? А ведь говорят, ничего, толковый.

Когда-то ему прочили великое будущее. Но ни великим, ни очень уже чего-то стоящим он не стал и, наверное, не станет — слишком уж медленно взрослеем, слишком уж в нас мало самостоятельности. Когда назначили его начальником цеха, кое-кто поговаривал: мол, молод — погодить бы. Тридцать лет — молод! Ха-ха! А я бы, моя бы власть — на все руководящие должно-

сти назначал бы людей до тридцати пяти — самое плодотворное время, горячился Петунин.

4

С трудом выбравшись из закоулков на главную улицу, Петунин остановил такси и сказал адрес Юли. Но ее не оказалось дома, и он уселся возле подъезда на скамеечку. К себе идти не хотелось. Петунин сидел на скамье и крутил головой — с какой стороны придет Юля, может, с той, а может, с этой? Посидев с полчаса, он стал нервничать: «Где она? Дежурство заканчивается в двенадцать. Сейчас без четверти два. А собственно, почему она должна сидеть и ждать меня? А я-то хорош. Я-то, какое я имею право требовать, чтобы меня ждали? Ну, нет, а может, осталась у своей Стеллочки? И не исключаешь ли ты возможность, что у нее кто-то есть?— Тут он вздрогнул:— А может, она крепко спит?» Снова поднялся на третий этаж, позвонил. Дверь молчала. Спустился и, выйдя на крыльцо, столкнулся с Юлей и Спириным. Спирин облегченно вздохнул и показал кулак:

— Слава богу — живехонек! Ну, ребята, до завтра — меня ждут...— и исчез.

Юля молча обошла Артема и так же молча поднялась домой.

— Я сидел час,— виновато заговорил Петунин.— Это где же ты ходишь?

— Мы искали тебя три часа. Спирин решил, что ты попал в вытрезвитель...

— Во веки вечные там не бывал,— засмеялся Петунин, идя вслед за ней.

Щелкнул замок. Вошли.

— Звони в цех. Там что-то случилось,— бросила на ходу Юлия и, раздевшись, юркнула с головой под одеяло в разобранную постель.

— Что там еще?

Постояв в нерешительности посреди комнаты, чувствуя подступающий холод, подошел к телефону и стал звонить.

— Кто у телефона?— спросил Петунин.

— Золотухина, Артем Сергеевич.

— Здравствуй, Дуся, кто меня искал?

— Буракин и я.

— Опять Буракин. Что у него?

— Удээровцы скандалят. Не дают убирать свои платформы, а нам некуда ставить свои. Каменщики сидят. Нет кирпича.

— Вот что, Дусенька, найди Буракина. Скажи ему, что я приказал убрать или переставить удээровские платформы и немедленно доставить к печи кирпич. А лучше действуй сама. Завтра я разберусь. Я у телефона тридцать три, два ноля, десять. Поняла?

— Все поняла, Артем Сергеевич. С вашего позволения я из него сейчас котлету сделаю.

— Делай, Дусенька, делай! — Петунин положил трубку и сказал: — Ну, эта сделает. Молодец женщина! — и стал раздеваться.

— Ты это куда? — выглянула из-под одеяла Юлия. — Устраивайся на диване.

— Как это на диване? — изумился Петунин, умащиваясь на краешке кровати. — Я так долго шел пешком. К тебе шел.

— Да уж вижу, — в голосе прощение.

— Опять этот танк.— Петунин встал и переставил будильник с журнального столика у изголовья на пол.— Тут и живи.— Пошел на кухню, налил в литровую банку крепкого чая, опустил туда ком сахару, размешал вилкой и тоже поставил на пол, рядом с будильником.

— Ты пьешь слишком крепкий чай. Это вредно.

— Не от этого умрем.

— У меня завтра плановая операция. И ты знаешь, что мне необходимо выспаться. Ложись и спи.

— Сейчас, Юлюша, где-то сигареты, не найду... Ага, вот...

Только заснули — звонок.

— Артем Сергеевич, все в порядке, — доложила Золотухина.

— Зачем же тогда звонишь?

— А чтоб вы не беспокоились и крепко спали, — посочувствовала Золотухина. А ему показалось, что кто-то там рядом хихикнул.

— Что? — участливо спросила Золотухина.

Теперь там уже явственно хихикнули.

— Ну, Евдокия! Спасибо! — сказал Петунин и бросил трубку. — Ох и язвы же у меня бабы...

— Спи, спи, — сказала Юля, подобрав колени к подбородку. — У тебя прелесть, а не работа.

— Да уж, — пробурчал Петунин, думая о том, что Золотухиной он завтра всыплет, то есть уже и не завтра, а через несколько часов. Хотя за что же он всыплет ей? Она обиженно протянет: «Так я же хотела как лучше...»

— Юля, я, наверное, перейду на другую работу...

— Куда?

— Зам начальника снабжения уходит на пенсию. Попрошусь на его место.

— А что, для этого надо было заканчивать технический вуз?

— Зато спокойно.

— Тебе виднее, — сонно сказала Юлия и отвернулась к стенке.

Через час снова звонок.

— Ч-черт! — вскочил Петунин. — Да, да, — закричал он в трубку. — Юлия, тебя.

— Что-оо! — и слетела с кровати. — Опять умирает? Где Стелла Ефимовна? О ч-черт! Машина вышла? — Трубку бросила на кровать, заметалась по комнате. — Сто чертей! У Стеллы две операции, и моя умирает... Хоррошенькая ночь...

В дверь позвонили. Пришла машина за Юлей. И он слышал, как она говорила в прихожей:

— Да, я готова. Да, секунду. — Забежав в комнату, быстро сказала: — В холодильнике котлеты, кефир. Котлеты разогрей. — И дверь захлопнулась.

5

А назавтра был опять обычный день. И начался он вот так.

Петунин положил трубку на стол, на бумаги, снял пиджак, закатал рукава рубашки.

— ...Давай дальше, — сказал, подняв трубку, другой рукой хватаясь за сигареты.

— Ты что со мной делаешь? Что? — кричал главный инженер коксохимпроизводства. — Когда будет стальная

арматура? Скоро? Когда скоро? Ну, в общем, пишу объяснительную записку в ЦК.

— Что ты меня пугаешь? Пиши...

— Зачем ты мне выделил эту нейлоновую ленту? Что мы с ней делать будем? Ты мне дал двести метров, а у меня вышло из строя шестьсот. Кокс кто за нас будет давать? Кто? — продолжал кричать главный инженер коксохимпроизводства.

— Не кричи. Нервы беречь надо... Сейчас приеду... — бросил на рычаг трубку. Снова расправил рукава рубашки, надел пиджак и стал быстро собирать бумаги. Перед ним сидели люди из разных городов. Один просил два листа нержавейки.

— Нету, милый, нету. Сами побираемся...

Пятьсот тонн листа просили с Уралмаша.

— Ждите меня. Дадите два вагона рельсов Р-50 — дадим лист.

— Дадим! — пообещали ему.

Свои, заводские, наперебой:

— Нам цветной линолеум. Оргстекло.

— Нам стулья...

— Трубы газовые три четверти.

— Рифленое железо...

Берясь за скобу:

— Ребята, все просят цветной линолеум, белую краску, оргстекло. Все хотят сидеть на хороших стульях. А у меня фонд шесть тысяч рублей. Где я вам возьму, где? Лида, найди Загребину, пусть готовится завтра в Ленинград за лентой. А Бычков в Георгиевск за арматурой... Я в цеха. — И чуть не бегом по коридору, по лестнице, на выход, к машине.

— Миша, гони на коксохим, потом завезешь меня обратно в заводоуправление. Сам пообедаешь, после поедем на опытную станцию за пленкой.

— Пленка-то зачем? Парники свое отслужили — скоро осень.

— Ты прав — скоро осень, а за ней зима, наверное. Но вот беда — стекла нет.

Машина влетела на эстакаду, и Петунин увидел весь завод. Ветер был южный, и все дымовые космы стелились на лес и аэродром. Петунин вдруг подумал о себе, что раньше он работал на заводе и не знал завода. Не знал, что самое трудное производство — это коксохимпроизводство, что из-за какой-то чертовой ленты — экий дефи-

цит! — можно сорвать план. А за ней, за этой лентой, надо кого-то посылать в Ленинград, кого-нибудь в Свердловск за рельсами, в Георгиевск за арматурой, болтами, задвижками. Кстати, тут уж совсем беззаконие — в Георгиевск надо везти свой металл, получается товарообмен — ну, а что же делать? Подсказал бы кто-нибудь... Не будет арматуры коксохимикам — не будет сульфата. Сельскому хозяйству подавай удобрение. Не выполнил план по сульфату — пиши объяснительную в ЦК. Вот и думай, крутись...

Но Петунину было как-то приятно за себя — день наполнен. Ну, а что касается объяснительных записок, так ведь не с него спрашивают план, не ему их писать и не ему получать выговоры, если что... Он свое получил. А если и болит душа, так он едет, чтобы самому увидеть, куда нужна эта злополучная лента, и тут уж он ничего с собой поделать не может, такой уж он — обо всем болит душа.

Сейчас он, например, знает, что необходимо тому или другому цеху, для того или иного производства, какие болты и гаечки, а раньше не знал. У него раньше была одна забота — ремонтировать и строить мартеновские печи. И хорошо ли, плохо ли, а план выполняли и премию получали. Люди перестали разбегаться, повеселели. А все почему? Уж не такой он был талантливый руководитель. Не-ет. Просто он однажды смекнул, что подчиненным надо дать свободу. А что? Старший мастер, какой он старший мастер, если он заглядывает в рот начальнику цеха, ждет указаний, или какой же начальник смены, если он сам не может найти выход из того или другого положения и непрестанно звонит вечером ли, ночью ли начальнику цеха. Да и мало ли бывает всяких неожиданностей. Так ведь есть какой-то предел. Зачем же, черт побери, надо спрашивать начальника цеха — перебросить ли ему бригаду такую-то из цеха этого в другой цех? А если без указаний? А если сам — прояви инициативу, будь хозяином, экономистом, психологом. А партбюро зачем? Собираться раз в месяц, дескать, вот, все правильно, мероприятие провели. Не-ет. Он повернул по-своему, приглядывался, приглядывался да и заявил на партсобрании: все, мол, товарищи, начальник-то он начальник, но один ничего не сделает. Давайте думать все вместе. Конечно, отвечает-то за цех он. Свою ответственность никому не повесишь на шею, но зато и бегать не одному, не пыхтеть,

как бегал за всех его предшественник Смирнов. Да-а, раньше он, Петунин, знал одно — свой цех, а теперь вот болей за все — попробуй объясни всем, если коксохимпроизводство просит пятьдесят шесть тысяч метров транспортерной ленты на год, а план шестьдесят одна тысяча метров на весь завод, то что делать?

— Что делать-то, Миша, будем? — спросил он шофера.

— А что надо делать?

— Да вот, понимаешь, ехать надо... Ну, так как ты живешь? Давненько не виделись.

— Да что, Артем Сергеевич, знаю, что обнимут, но не знаю когда, — улыбнулся Миша.

— Вчера вот, — заговорил Петунин, — экспедитор один пришел. Сам-то, говорит, коврик завел, креслица, а у нас, понимаешь ли, потолок обвалился и раздавил всю нашу мебель времен царствования Екатерины Второй. Что же нам теперь, лавки сколачивать? А другим понадобились раковины и два унитаза — раздавили, говорят. Тьфу, черт возьми,— Петунину стало жарко.— Я становлюсь полуидиотом. Ну, унитазы. Ну и что? Тоже надо...

— Надо, — вздохнул Миша и запел:

...А степная трава пахнет горечью,
Молодые хлеба — зелены,
Просыпаемся мы, и грохочет над полночью
То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны...

Впереди ползла водополивочная машина, прибивала водой пыль на дороге. Но вода быстро высыхала, и пыль снова вихрилась из-под колес встречных машин.

— Н-да-а, — перестав петь, задумчиво сказал Миша. — Вот тоже агрегат, ползет как майский жук.

После коксохимпроизводства, где Петунин забрал заявку на транспортерную ленту, потребную производству, да записал еще себе целый перечень всяких дел, отпустил шофера обедать. И тут, как назло, позвонил Котеночкин — встали аварийно сразу две печи — на одной обвалился свод, у другой проело подину, ушла плавка, и свод тоже еле-еле держится...

— Что надо? — спросил Петунин, сам зная, что надо, но все же спросил и, не ожидая ответа, стал записывать в свой блокнот.

— Одна из них должна была, по-моему, становиться на капремонт? — спросил Петунин, проверяя свою память.

— Девятая, — согласился Котеночкин.

— Давай заявку на все материалы по капремонту. Немедленно. В пять я буду у тебя.

И с этой минуты, что ни делал Петунин, он думал о цехе. Он делал все, что делал там прежде, и все ловил себя на мысли, что как-то странно все получается: делал дело — испугался выговоров или еще черт знает чего, чего-то выдуманного. А, да пусть бы они все горели синим пламенем, эти выговоры! А сейчас ушел, и скорбит душа, будто потерял что-то, и уж никогда не обрести прежней уверенности — так всегда: что имеем, то и не ценим. Но к этому Котеночкину, розовенькому среднего росточка человеку с брюшком, он относился сочувствующе, потому что знал, что жареный петух еще ни разу не клевал его. А вот уж когда он, родимый, клюнет, тогда-то и вся спесь схлынет и отойдет в тылы, на задний план — до поры до времени, потому что спесивые и делающие себя важными люди такими рождаются, такими и уходят в мир иной.

6

И в прошлом и в позапрошлом году он стоял здесь вот так же. Так же было светло от березового леска, и так же далеко виднелось белое песчаное дно, и на ровной глади, посреди озера, спали утки, а он стоял на твердом песчаном приплеске и узнавал недалекий камышистый мысок справа, огромный, голый, сырой, источенный какими-то жучками черный пень возле уреза воды и багряно листный куст крушины на бугорке слева.

Изредка, высоко над головой, в прозрачном осеннем небе со свистом проносились тяжелые косяки гоголей, а низко и откуда-то из-за верхушек берез неожиданно падали быстрые чирки, и он не успевал вскинуть ружья, а иногда просто не хотел пугать тишину. Он знал, что часа через два придет сюда, на перелет, и охота будет удачной, а сейчас он вернется к машине. Там на костре Юля варит уток — шилохвость и двух чирков.

Сейчас они сядут и поедят, а после он сделает вот на этом камышистом мыске скрадок, он уже подобрал ящик из толстых реек, в них грузят картошку на поле. Он затащит этот ящик в камыши, чтоб можно было на нем си-

деть, срежет несколько пучков ивовых веток и привяжет к ящику, шалашиком, а потом забредет в воду и, распустив чучела, спрячется в скрадке, будет ждать. В прежние времена, покуда был начальником цеха, ему не так-то часто выпадало побывать на охоте, тем более с Юлей. «Надо бы ей тоже купить ружье, сапоги и теплую куртку, — подумал он. — И надо бы кончать эту канитель, соединить комнаты и жить... Будет ли мне хорошо? Не знаю. А пока — хорошо. Наверное, вместе будет тоже хорошо»,— уверял он себя.

Он повернулся спиной к озеру и пошел наискосок по высокому вишеннику и шиповнику. Вышел на опушку. В лицо тянуло теплым ветерком. Было сухо, кое-где уже чернели пахотой поля. Вокруг, до самого горизонта, сияли желтизной огромные стога соломы. Он пошел к одному из них, где у маленького пресного озерка под багряным кустом крушины стояла его малолитражка и где Юля готовила уток с опятами.

Юля сидела на корточках перед костром и ложкой снимала из котелка пену. А рядом на куртке лежал ворох шампиньонов с чешуйчатыми шляпками, с ярко-розоватой мякотью в надломах.

— Что ты с ними будешь делать? — спросил он.

— Ты представляешь, какое это будет чудо зимой — жареные шампиньоны!

— Представляю.

— То-то. Ты посмотри, сколько их во-он на том бугорке около поля. Круги, круги... Я брала только молодые. Удивительный фрукт! — улыбнулась. — Ну что же, садимся обедать?

— Ты прибери утиный пух — можно выстегать куртку. Очень тепло. Зимой будем ходить на зайцев. А уток я тебе настреляю...

— Ты пришел к выводу, что я могу быть хорошей женой?

— Давно, — улыбнулся он, — только мне все некогда было сказать тебе об этом.

— Верю.

— Вот и прекрасно! Сейчас пообедаем, и я пойду...

— Можно я пойду с тобой?

— Можно, — снова улыбнулся он.

«У нее очень красивые глаза, — подумал он, ставя ружье в куст крушины. — Таких лилово-синих глаз я ни-

когда не встречал. Она постоянно смотрит на меня с болью и укором. За что? Н-да-а... А ведь я два года уходил и возвращался, и она никогда и ничем не выразила своего неудовольствия. Только смотрит, смотрит... Свинья я, черт побери. Неужели мне только что стало ясно, что я не могу, нельзя мне потерять ее? Это последняя моя женщина».

Он подошел к стогу и выдернул охапку соломы, бросив ее возле костра, упал на спину и, закинув руки под голову, стал смотреть в небо. «Я — идиот. Я приехал с ней на охоту, а думаю о Елене. Когда я думаю о Елене, я не могу прикоснуться к этой...»

— Садись за стол, — позвала Юля.

— Батюшки-и! Утки в опятном соусе, коньяк, свежие помидоры. Уф! — развеселился он, садясь за красный складной столик и все поглядывая на нее, сравнивая. «Чепуха какая, я не могу от нее освободиться. И не могу забыть ту... Елена, эта красивее тебя, но я не могу от тебя освободиться... Неужели так будет всегда?..»

— Ты опять думаешь о работе?

— Что ты! Я думаю о том, что люблю тебя и как мы сейчас пойдем на охоту...

— Я очень довольна, что мы выбрались сюда, — сказала Юля, поглаживая щенка. — Рой, лежи. Сейчас ты получишь косточки... Артем, ты забыл хлеб. — Она встала и убрала с костра котелок с чаем. — Ты всегда забываешь есть хлеб.

— Молодец, вкусно! — похвалил он. — Скоро утки откормятся на осенних полях и будут еще вкуснее. — Он посмотрел на Юлю, высокую, стройную, в спортивном синем костюме, и остался доволен. — Сына бы нам.

— Ты уверен, что мы вырастим сына? — садясь перед ним за стол, спросила она.

— И не одного.

— Своего сына я назову так: мой единственный, любимый сын Мелс, — сказала Юля.

— Почему единственный?

— Потому что потом ты уйдешь и у меня никогда и никого не будет, кроме него.— Говоря это, она смотрела на куст крушины.

— Ты что, у нас будет пятеро сыновей. Две собаки и два ружья.

— У меня будет один сын, — сказала она.

— Странно! — удивился он. — Разве ты не хочешь, чтобы у него и у нас было будущее?

— Хочу, но я уеду. Потому что у тебя в глазах всегда твое прошлое. Я не хочу жить рядом с твоим прошлым. Ты болен прошлым. И пятеро сыновей не исцелят тебя от твоего прошлого.

— Юленька, ты ошибаешься. У нас будет все и никакого прошлого. О чем ты? Посмотри на меня. Ну вот, — он встал, подошел к ней и поцеловал в висок. — Спасибо, родная! Я пойду готовить скрадок.

— Выпей чай.

— Спасибо.

Он снова сел и, глядя на нее, стал пить чай. Вспомнил, как два года назад пришли и сказали, что в цех назначен новый врач и нужно осмотреть всех женщин. Он, отправляясь на оперативку в разнорядочную, зашел в здравпункт и увидел ее. Она стояла у окна, подняв и раскинув руки, вся в белом, и за окном косо валились хлопья снега, и он растерянно топтался у порога, а она не оборачивалась. В спине и в изломе рук ее было что-то беспомощно-скорбное. Он кашлянул. И она медленно опустила руки и повернулась.

— Я вас слушаю, — сказала она и посмотрела на него. Глазищи синие-синие.

— Это я вас пришел слушать, — усмехнулся он и представился.

И вот теперь, вспомнив, как после она его слушала и он ее слушал, Артем сказал:

— Юля, я ведь от тебя ничего не таил.

— Да, но ты думаешь и думаешь о ней.

— Ты права. Я не могу понять, почему иногда думаю о ней? Может быть, я прощаюсь?

— Может быть, — вздохнула Юля. В глазах ее копились слезы, которых он не заметил. — Знаешь, я тебе не сказала, что вчера приходил ко мне сосед — приглашал в ресторан. А я даже не знаю, как его звать. Я с трудом выпроводила его и вдруг почувствовала свою ущербность. Ведь когда женщина не хочет иметь семью, в этом видится чуть ли не развращенность. Одна. Почему одна? Кто-то к ней, вероятно, ходит. А почему бы мне не пойти?.. Скажи мне, Артем, почему надо обязательно походить на всех?

— Потому, что человек не может быть свободен от общества,— сказал Артем и начал собираться на охоту.

— А общество от меня может быть свободным?

— Возможно, — он надел патронташ, взял ружье, топорик, мешок с чучелами и попросил: — Щенка придержи. Побежит следом и распугает уток.

— Что так рано?

— Буду делать скрадок.

— Как только я управлюсь с грибами, мы придем к тебе. Тихонько.

— Хорошо, — сказал он и посмотрел на желтеющий березовый лес, за которым было то горько-соленое озеро, где он собирался охотиться вечером.

Пройдя лес, он сел на сухой белый песок возле воды, вынул спички и поджег охапку березового сушняка. Достал письмо, которое до сих пор лежало у него в кармане за обложкой охотничьего билета, и в который раз прочел:

«Знаешь, все чаще болит душа. Что это? Осмысленная тоска по далекой юности? Или боль от прошедшей мимо и не понятой нами любви? Я жалею теперь все прошлое, и не хочется так бездарно жить, как живу сейчас. Господи-и! Эти горькие, бессонные ночи над белым листом бумаги, эти преданные глаза мужа, в сущности доброго человека. Но зачем он мне?.. А ты, какими ты дышишь ветрами? Знаешь, мне здесь все надоело, и я устала, очень устала. Я как-то странно затосковала по тем радостям, которых у меня нет. Нет покоя и прочих благ в этой суматошной и горькой жизни. И от этого очень грустно. У меня осталась одна радость — белая стопка бумаги, на ней я могу осчастливить кого-то или распорядиться чужими чувствами. И еще — ты... Позови меня. Позови...»

Но никто не позвал Елену. Письмо это было написано в Архангельскую область, в какую-то Амдерму, Сергею Каракулину. Письмо вернулось обратно с пометкой: «Адресат выбыл». Елена была тогда в командировке, и Артем вскрыл письмо. Очень уж ему показалось странным: Елена, его жена, и какая-то Амдерма, что-то толкнуло его вскрыть письмо. Может быть, подумал он тогда, что это одно из увлечений прошлого лета — отдыхала у моря, или далекая любовь юности, но он вскрыл это письмо и прочел. Он долго носил его в кармане, а потом оставил в столе на работе, все не решаясь вернуть. Что он за человек и какими дышит ветрами? «Ишь ты, — подумал Артем, — боль души у нее выплыла. Глаза ей мои надое-

ли... Все ей надоело. А когда писала это письмо, на кухне, поди, был ворох грязной посуды? И в комнате клубился дым, курила и кидала где попало окурки...»

В общем-то, сейчас ему это было безразлично, и не было того отчаяния, как после первого прочтения письма. Теперь все улеглось, обдумалось. И тогда, опомнившись, он понял, что не болит у него сердце о ней, как в тот день. Просто осталась забота о человеке, который живет рядом, о его судьбе. Ведь не знал же он, кого просила Елена позвать к себе. И кто знает, как еще могла сложиться судьба ее? Может, ей надо было сразу ехать в эту Амдерму, а не выходить за него замуж? Что он дал ей? Ни детей, ни горячего дела, такого, от которого люди тают, недосыпая.

«Елена, во всем виноват я. Я не хотел немой игры, нам ли играть? Нам ли было не беречь друг друга? У тебя или у меня родились мечты о пышном своем гнезде, с полированными ящиками и хрусталем? Тебе наплевать на все это и наплевать на то, чего я стою и что могу. Растаяли иллюзии, осталось раздражение. И уж никогда тут не взойдет росток любви, нежности, никогда не наступит душевная ясность. Так иногда в лесу попадет хоровод грибов — ведьмин круг. Так в народе зовут. Круг этот с каждым годом все шире и шире, а внутри пусто — не растет трава, если и взойдет что-то, то хилое, немощное. Так и живет круг этот, пока не разомкнет его кто-нибудь».

Артем теперь не мог представить себе, как бы посмотрел в глаза Елене, отдавая письмо, что бы сказал. Стал бы, наверное, опять розоветь, казаться себе дураком. Нет уж. Но где она познакомилась с ним, Сергеем Каракулиным из Амдермы? Что у них общего? Может быть, он толковый журналист, но что-то ни разу не встречалось Артему его имя. Кто он?

Когда-то, да не когда-то, а два года назад, Артем целовал ее, был мужем. Он никак не мог понять, что надо женщине: постоянные уверения в любви, деньги ли, а может, какие вещие слова, заклинания с обязательным заламыванием рук, слезами, или становиться безумным, кидаться под трамвай. Он ничего этого не делал, он даже не замечал у нее вечно спущенных чулок, он просто счастливо молчал возле нее.

В тот последний день было скучное, туманное утро, ветер гнал с севера хмурые тучи с рваными лохмотьями

понизу, Артем стоял на балконе, махал гантелями, а она, запахнув халатик, подошла и, глядя с балкона вниз на верхушки молодых тополей, медленно и жестко сказала:

— Я ухожу от тебя. — Он взглянул на нее изумленно. Она отвела глаза. — Душа болит.

— Ну, поезжай куда-нибудь, проветрись, — пробормотал он.

— Ездила, — усмехнулась она.

— Ну, хорошо. — И это «хорошо» у него получилось хрипло, отчужденно, и он сам понял, что, наверное, надо сказать ей что-то другое, нежное и убедительное — и не мог.

Он долго не мог поверить, что этих глаз, этого родного, привычного наклона ее маленькой черной головы у его плеча никогда не будет и он станет жить один, бродить по комнатам длинными ночами, когда чаще всего, просыпаясь, чувствуешь себя маленьким и затерянным и томишься, ждешь, как великого избавления от темных дум, светлого утра. Это он уже и раньше испытал, когда уезжала куда-нибудь Елена. Больше всего он боялся одиноких ночей.

Артем еще раз глянул на письмо и опустил руку над огнем: «Все, Елена, все. Кто-то теряет, кто-то находит».

Но потушил Петунин загоревшийся угол письма. Свернул листок, спрятал.

И медленно встал и пошел рубить тальник для скрадка.

7

Густой горячий рассол вытекал из котелка и быстро уходил в белый песок. Юлия наклоняла, придерживала крышкой котелок и ждала, когда сольется весь рассол, чтобы отваренные шампиньоны переложить в ведерко, а котелок наполнить снова. Рядом с ней, положив голову на лапы, лежал Рой, шевелил хвостом, морщил нос и косо смотрел — куда уходит такой вкусный запах.

Юлия удивлялась, как много у нее сегодня времени — смотреть на желтые стога соломы, на высокое осеннее небо и — думать.

А по небу быстро и легко плыли облака, медленно тянулись к югу косяки журавлей, и в их курлыканье вмешивался далекий заоблачный гул самолета.

Юлия проводила взглядом журавлей, повесила котелок над огнем, принесла охапку соломы и села у костра, рядом с ней лег и щенок.

«Журавли улетают. Дни улетают. День за днем, день за днем. Миг жизни. Птиц может остановить пуля, а что может остановить день, который хотелось бы продлить до бесконечности? Ничто. День — миг. И жизнь — миг. И вот я. Я сижу между землей и небом на песке, на пучке соломы, я — живая песчинка... И от Стеллы я ничем не отличаюсь. Она привязана к Тишке, я — к Артему. Я же знала, что у него была жена. А может, и есть?»

«Есть только миг между прошлым и будущим, и этот миг называется — жизнь», — говорил два года назад Артем в ресторане, где они неожиданно встретились. Она была с анестезиологом Витей и Стеллой. Справляли день рождения Вити. Но как-то так получилось, что после того как раскланялись, глаза все встречались и встречались, а потом заиграл оркестр, и Артем пригласил ее на танец. Потом они убежали и умчались на такси от анестезиолога Вити и от Стеллы, и от его друзей, и от самих себя. В ту ночь что-то бросило их друг к другу — кто из них от чего бежал: от одиночества ли или от усталости? Тогда она об этом не думала. Так зачем же думать сейчас? Что она знала тогда о нем? Ничего. А сейчас что она знает о нем? Ничего. Совсем ничего. Недавно Киреев пришел к ней домой — искал Артема, сидел, пил чай и пьяно говорил:

— На Петунина зол Сухарев. За что, не знаешь? Ты, конечно, не знаешь. А я — знаю. Сухарев уму завидует. Чужому уму завидует. Он сделал так, что меня не взяли на место Петунина. Мне, видишь ли, дева, сказали, подрасти надо, освоиться, так сказать, надо в мартеновском производстве. Иди, сказали мне, пока старшим мастером... Ты слышь, дева? Я был этим тронут до глубины души. Х-ха... А за Петунина ухватились. Надо думать, сделают его со временем заместителем директора по коммерческой части. А что? И сможет. Петунин все сможет. Если захочет...

Киреев сидел весь вечер, ждал Артема и убеждал Юлию, что, мол, Петунин придет. Сюда, к ней, придет. Куда же ему еще идти? Некуда...

А Юлии уже не хотелось, чтобы Артем приходил, когда он захочет. Она устала ждать, прислушиваться к чужим шагам в коридоре и вздрагивать от звонка в дверь. Ей не хотелось быть зависимой. Ей хотелось, чтобы он приходил всегда. Все больше она чувствовала, что уже в сети, из которой не выпутаться. Но эта сеть ей теперь была необходима. Иногда она пыталась проявлять самостоятельность — убегала в какие-то компании, с кем-то танцевала, вела праздные разговоры и ловила себя на мысли, что рвется назад, к своей двери, будто там стоит большой голодный ребенок. Ее ребенок. Стоит и ждет. И убегала назад. Металась по комнате, опять прислушивалась к чужим шагам. Ждала.

Иногда он приходил.

— Он придет, — говорил ей Киреев. — От таких не уходят. Сухарев — стерва, — продолжал между тем Киреев. — Если бы я ему поклонился, он бы, может, и помог. Но я не хочу ему кланяться. Не хочу. И точка...

— А Петунин ему когда-нибудь кланялся? — поинтересовалась Юлия.

— Нет, наверное... А почему ты об этом спрашиваешь?

— Тогда, на вечере, что-то кричал Сухарев...

— А ты как думаешь, может ли кому-нибудь и когда-нибудь кланяться Петунин?

— Не знаю.

— А я — знаю. Никому. Никогда. — Вздохнул. — Тебе вот разве... Ты люби его, дева, люби. Не ошибешься...

— Киреев, ты знал жену Петунина?

— Знал.

— Расскажи.

Киреев пытливо глянул, помолчал, шлепнул ладонью по халатику, что висел на подлокотнике кресла.

— Знаешь, закончить МГУ, знать несколько языков, объездить Европу — и работать в нашей многотиражке — тоже не ахти какая радость. Она что-то писала. Но то, что я читал, — очерки, зарисовки, — было совсем неплохо. Что-то было в них стремительное, непонятное. Иногда вечерами она нам читала лекции по философии, истории, рассказывала о странах, о том, что видела и что думала. Те вечера мне дали много...

— Она умна?

— Умнее не встречал.

— Судя по тому, как ты о ней говоришь, еще и красива.

— А это кто как понимает красоту... Ты вот — красивей, но ты не в моем вкусе. Больно в тебе много успокоенности, уверенности. А Елена была Еленой...

— Каждому свое.

— А, да что я тебе говорю... не вернется она сюда. Будет изводить свою душу на познании мира. А зачем? Поиски абсолюта?..

— Он любил ее?

— Наверное. По крайней мере, мне так казалось.

— Он любил. Ты любил. Что же она от таких мужиков убежала? — с усмешкой; в голосе спросила Оля.

— Давай закурим!.. А почему любил? Я, может быть, вот-вот ринусь в конец света за ней. Хотя — нет... Куда уж... А убежала. Так кто ж вас поймет, баб, что вам надо?

— В основном, совсем немного — бабского счастья. А без него хоть познавай мир, хоть не познавай, ищи абсолют или не ищи — один черт впереди одиночество.

— Ну, тебе-то это не грозит.

— Грозит не грозит...

— Мы — дураки. Мы стали стесняться друг друга, стали больше замыкаться в себе. Хорошо ли, плохо ли — молчим, а рядом кто-то тоже молчит — обоюдное одиночество. Скоро наступит мировое одиночество. Дожили — слово «люблю» своей единственной не говорим. Мы кричим, строим, покоряем, а становится ли человеку лучше? Мне вот плохо, и вместо того чтобы припасть к твоему колену и разрыдаться, я говорю тебе: извини — я ухожу...

— Спокойной ночи, Киреев.

Киреев ушел, и наступил томительный вечер.

Петунин пришел поздно и попросил есть.

Юлия сидела у костра, помешивала грибы в котелке и то радовалась, то печалилась. Сегодня она поняла, что будет у нее ребенок. Говорить ли Артему и что это изменит? Да и так ли уж важно, чтобы что-то менялось? Есть только миг... Только миг...

Щенок завозился и вдруг метнулся в камыши. От шума взлетели утки. Юлия встала, слила рассол с грибов и снова повесила котелок, добавила дров...

— Для чего ты живешь? — недавно спросил Витя, остановив ее в коридоре операционной.

— Для себя, Витя.

— Эгоистка.

— А если бы я жила для тебя?

— Для меня уже не надо. Все перегорело. Зачем тебе пепелище? Ты все пронесла мимо меня. Кому только?.. Я ведь не жалуюсь и ни о чем не прошу. Живи... Как твой красавчик?

— Весь в производственных заботах.

— Когда он тебе надоест?

— Ну, этак лет через пятьдесят.

— Я рад за тебя.

Юля обошла его:

— Извини, я устала.

Он пошел следом.

— Я тебя за все извиняю. За все. Знаешь, я решил жениться.

— Давно пора.

— Почему ты не спрашиваешь, кто она?

— Зачем?

— Я сейчас говорил с ней, потому и ждал тебя в коридоре. Я хотел тебе сказать, что она мне сказала: давай попробуем.

— Прекрасно. Пробуй.

— Это Стелла.

Юлия удивленно повернулась к нему:

— Серьезно?

— Да, — стал смотреть в пол.

— Я за тебя рада. Очень.

— Юля, и еще я хочу тебе сказать, что у меня никогда не было такой женщины, как ты, и не будет... Ты можешь выполнить мою последнюю просьбу?

— Последнюю могу.

— Подари мне один вечер.

— Ну и что мы будем делать в этот последний вечер?

— Просто посидим и помолчим.

— Очень мило: посидим и помолчим...

— Ты никогда не принимала меня всерьез.

— А зачем всерьез-то, Витя? Есть только миг. Только миг...

Юлия помешала в котелке грибы, встала, нашла сигареты. Закурила. Грибы все сварены, посуда помыта, можно сходить еще за грибами, а можно пойти к Артему, увидеть его и — поговорить.

«А что скажу я ему?

Эгоистка? А ведь это вы нас делаете эгоистками, вы, мужчины. Вы постоянно лжете нам, а мы делаем вид, что верим. Когда Артем говорит мне ночами нежные слова, я не верю ему. Потому что он их говорит не мне. Может быть, он говорит их Елене? Я же чувствую это, по трепету рук, по голосу, но я делаю вид, что говорит он те слова мне, а сердце готово разорваться от жалости к себе, от жалости к своей терпимости, потому что он, только он мне нужен. Прости меня, дорогой. Ты ведь ничего не знаешь обо мне. Ты не знаешь Нестерова, который несколько лет лгал мне, имея прекрасную жену, сына. Я тогда любила его, глупая, до обмороков, бегала на работу, как на праздник, потому что он был там, а остальные дни изнуряла себя ревностью, не могла есть. А он главный хирург клиники, все от него без ума, как же — знаменитость. Мне потребовалось пять лет, чтобы понять, какое это было ничтожество. Я уехала из того города с трехмесячным ребенком в сорокаградусный мороз и без рубля в кармане. Вскоре ребенок умер. Я осталась одна. Я до сих пор не могу никому и ничему верить».

8

Юлия взяла корзинку, нож и пошла вдоль берега. Щенок побежал следом. На небольшом всхолмке около картофельного поля в жалкой, пожухлой травке росли кругами степные шампиньоны. Юлия выбирала только белые шляпки, а те, что начинали желтеть, были уже червивые. Когда-то, когда еще был жив отец, машинист паровоза, они с матерью запасали на зиму грибы, солили, сушили, жарили и закатывали в банки. Отец через каждую неделю или две, поблукав где-то, приходил домой умирать. Мать молча отпаивала его молоком, молча приносила из аптеки валидол и молча совала ему таблетки. Отец стонал, хватался за грудь и клялся завязать и никогда в жизни не брать больше в рот этой проклятущей водки. А когда отходил, становился добрым, покладистым,

возил их на своем паровозе до грибных мест. Приносил он домой ползарплаты, а то и меньше, но Юлия никогда не слышала, чтобы мать попрекала его. Лишь однажды, почти перед отъездом матери, они чуть не поссорились — не хватило денег до зарплаты, а к отцу пришли затрапезные друзья, и надо ему было как-никак, а угостить их.

— Мать, подумай, у кого бы занять, а? — выйдя на кухню, суетливо заговорил отец.

— Мало того что бабы делают аборты, рожают, гнут спины на полях, машут за вас кувалдами, так еще и думать за вас! Занимай сам! — отрезала мать.

— Так я же ни с кем тут из наших соседей не якшаюсь...

— Зато с этими якшаешься, — кивнула она на дверь комнаты, где сидели гости.

— Мам, а у бабушки Тоси, наверное, есть? — глядя на отца с сочувствием, сказала Юлия.

Мать метнула на нее суровый взгляд и поджала губы. Юлия всегда боялась ее, а отца втайне жалела. Поехать с матерью в новые края, к другому отцу Юлия напрочь отказалась. Тогда она училась в медицинском училище, в том, где работала сестрой-хозяйкой мать. Новый отец появился как снег на голову. Он москвич, полковник в отставке, овдовев, разыскал свою боевую подругу в далеком уральском городочке. Юлия навсегда запомнила его сидящим у подъезда на лавочке, в военной форме, с портфелем, седого незнакомого мужчину, запомнила, чтобы никогда больше не увидеть. Никогда больше не видела она и мать, бросившую их с отцом в тот же день.

— Дочь, я, наверное, эгоистка, но я пойду за ним... Когда-нибудь ты все поймешь... И приедешь к нам... А с этим (она так и сказала «с этим») я жила ради тебя и еще — ради него самого. Но теперь-то я могу тебе сказать, что он мне никогда не был нужен...

— А этот, кто этот? Откуда он явился? Этот тебе нужен? — сорвалась на крик Юлия. — Я ненавижу вас обоих!.. Уезжай, развлекайся... А мы, мы-то уж как-нибудь проживем... И без тебя проживем...

— Почему ты не хочешь ехать со мной?

— А ты что же, хочешь, чтобы и я бросила отца? Ты хочешь, чтобы он окончательно спился? Да?.. Ты этого хочешь?..

— Не кричи, дочь, ты мала еще так на меня кричать, — тихо сказала мать и отвернулась.

Юлия думала, что мать сейчас расплачется, кинется и обнимет ее, но мать с укором глянула на нее сухими, потемневшими глазами и ушла.

Больше они не разговаривали. И провожать их Юлия не пошла, и никогда не ездила к ним, ни до, ни после смерти отца.

Тогда, молодой, она не простила мать. А сейчас?.. Что сейчас? Сейчас бы, наверное, смогла и понять и простить. Прошло уже почти десять лет, но почему-то и сейчас не хочется встречаться — пусть спокойно живет, растит другую дочь. Другую дочь — от любимого.

За все это время Юлия лишь раз послала телеграмму: «Он умер». А умер отец утром в паровозе на полпути к дому меж гор и лесов вскоре после отъезда матери. Помощник машиниста остановил тяжелый состав, но помочь ничем не смог. Паровоз трижды прогудел, и эти протяжные гудки широко прокатились над притихшими горами, над стылыми озерами, над осенними, сквозными лесами. Помощник, стройный белобрысый мальчишка, уронил слезу над телом наставника и тихо привел состав, груженный медной рудой, на станцию.

Мать телеграфом выслала пятьсот рублей, но на похороны не явилась. И тогда Юлия пообещала себе, рыдая у могилы, никогда не ездить к ней, никогда, что бы ни случилось...

Юлия удивилась, что давно уже не собирает грибы, а сидит на кочке с ножом в руке, уставившись на хоровод шампиньонов. Щенок лежал перед ней, положив голову на лапы, и косо, но преданно и неотрывно смотрел ей в лицо, чуть помахивая хвостом.

— Бедный мой Рой!

Щенок поднялся, вспрыгнул к ней на колени, лизнул щеку и отбежал, повизгивая и оглядываясь, зовя куда-то.

— Мне двадцать восемь... Что еще ждет меня впереди? Какие печали?.. Мать бросила. Нестеров бросил. А вдруг и Артем так же, как Нестеров, испугается? Ну и что ж, и поделом мне... Зато я не буду метаться от одиночества по квартире в длинные вечера и ночи. Пусть мне будет еще хуже, чем сейчас, пусть... Зато когда-нибудь я буду ходить с ним, своим сыном, по тем горам, где ездил отец, по тем грибным местам, по тем земляничным

полянам, по распадкам, заросшим малинником и папоротником, и вдоль шумливых речушек, где ходила когда-то сама. Уж своего-то ребенка она никогда не бросит...

На миг Юлия представила себя на месте матери — родить ребенка от нелюбимого и из-за этого ребенка жить с ним чуть ли не двадцать лет. Кошмар! Но зачем ей потребовалось выходить за него замуж? Из-за жалости?.. А ты, ты-то ведь тоже могла пожалеть... Наверное... Почему нам, бабам, так свойственно всегда жалеть кого-то, о ком-то заботиться и все прощать? Почему же нас-то они не очень жалеют?.. Я вот гоняюсь за Петуниным, а вдруг да через много лет он помчится сломя голову за своей Еленой? Может быть, все может быть... А это значит, что мы в общем-то квиты... Ну и пусть... Дура ты, Юлька, дура, брось ты его, не рожай, не бери себе в голову надежд на удачу. Ничего у тебя не будет с ним хорошего, изведешь себя, как изводила с Нестеровым, как изводила с отцом из-за убежавшей матери, как изводила себя упреками над могилкой сына. Забудь, выкинь из головы, встань вот сейчас и уйди куда глаза глядят, не оглядываясь... Так ведь не встанешь, не уйдешь и вида не подашь ему о своих сомнениях, потому что никто и никогда еще тебе так нужен не был. Не был и, наверное, не будет... Каждая из нас рано или поздно находит своего единственного, находит... Вот ты и нашла, а нужна ли ты ему так, как он тебе нужен?.. Тьфу, это какой-то рок, какой-то заколдованный круг...

Она устала сидеть, устала думать. Надо бы встать и куда-то пойти, что-то делать, а не киснуть вот так среди поля. Она встала, корзина была почти полна, тяжела. Можно было еще резать грибы, а можно было отнести собранные к машине.

Давно-давно они ходили с матерью по ягоды, то за черникой, то за малиной, но особенно ей запомнились земляничные поляны по вырубкам вдоль железной дороги, где на старых пнях и в траве росли опята. Они срезали их, набивали в рюкзаки столько, сколько были в силах донести до условленного места, чтобы сесть в поезд отца.

Она в черном тренировочном костюме с белой панамкой на голове ходила и наклонялась над травами, а когда садилась рядом с ней, подолгу молчала, к чему-то настороженно прислушиваясь, тогда ей казалось, что это си-

дит рядом какая-то другая, чужая женщина. Тогда Юлия думала, что мать прислушивается к голосам птиц, к голосам травы, а та, скорее всего, думала о своем, далеком. Не зря же она так любила ходить по лесам, так любила часами сидеть у воды, да и дома уединялась, ложилась на диван с книгой в руке, а смотрела в белую стенку.

Когда Юлия вспоминала мать по-хорошему, без упреков и тихой ненависти, она видела ее сосредоточенной, беспомощной и усталой женщиной, у которой в чем-то не задалась жизнь...

И почему-то все чаще и чаще всплывает в памяти образ матери, такой, как в те далекие дни походов за грибами или ягодами. Черты ее лица были тогда добрее, а поведение непонятнее, и эта непонятность ее теперь все больше тревожила Юлию.

9

Юлия недолго задержалась возле машины. Расстелив в багажнике брезентовый чехол, вывалила грибы и снова пошла, теперь вдоль берега, поросшего редким, уже желтеющим камышом и осокой.

На глади озера, посередке, спали утки. Низко над водой молча кружили чайки. В тихом небе высоко летела стая гусей. «Что же мне так плохо? — остановившись вдруг, подумала Юлия. — А ведь Стелле, наверно, еще хуже, чем мне?..» Ее Тиша, вечный оболтус, играющий в непризнанного гения, на одной из вечеринок поведал свое отношение к Стелле: «Знаешь, старушка, ты не думай, что я люблю ее, чушь все, просто она для меня нужная женщина...» И в тот же вечер принялся волочиться за Юлией. «Сгинь!» — разозлилась Юлия и, чтобы не наговорить ему гадостей, вышла в другую комнату. «Вот так — мы для них всего лишь нужные женщины... Ах, Стелла, Стелла»...

Однажды, забежав в ординаторскую после горячего душа, Юлия сдернула халат и залпом выпила два стакана теплого бледного чая, пахнущего распаренным веником, и только тогда заметила Стеллу Ефимовну, сидящую в кресле лицом к белой стене.

Стена эта напоминала бескрайнюю снежную пустыню, перед которой вдруг остановился человек в растерянное-

ти — шагнуть, потеряться в ней крупинкой снега или оборотиться назад на вьюжный ветер и вспомнить, откуда шел, и что там было прожито, и что оставлено, и подумать, что еще можно сделать, как спастись от того и другого.

— Что случилось? — спросила Юлия, заглядывая в прекрасные карие глаза, которые все еще видели пустыню.

— Тиша ушел, — сказала Стелла.

— Надо зареветь, — посоветовала Юлия.

— Не могу.

— Значит, он дерьмо, если по нему нет слез.

— Тебе хорошо, ты мудрая женщина. И для тебя нет ни в чем препятствий. Захотела и обворожила любого мужика. Чем?

— А я их давлю интеллектом и после раздариваю страждущим, — улыбнулась Юлия и принялась за истории болезни, чтоб описать сегодняшнюю операцию. — Не горюй! Когда уходит мужчина — это не горе. Горе — это одиночество. Горе — это вечное кружение от стены до стены... А можно и увлекаться новыми знакомствами, с кем-то встречаться, может статься и так, что с кем-то будут более чем близкие отношения, но — все не то, все мимо... Может быть, рядом с тобой ежеминутно кто-то будет, но и это будет одиночеством... То есть я хотела сказать, что вдруг оглянешься — и никого нет. А тот, который нужен, где-то тоже один. И у него — тоже маета. И вот нас любят не те, и мы не тех любим...По крайней мере, ты и я, — сказала Юлия и вдруг почувствовала наигранность своего бодрого тона и усталость. — Стелла, зачем он тебе нужен, этот юный опустившийся гений?

— Задай мне вопрос полегче.

— Вся его мазня гроша медного не стоит.

— Тиша талантливый художник.

— Ты так думаешь?

— У него... — резко повернулась, беспомощно глядя в угол.

«Все. Снежные холмы забыты, теперь она потащится в прошлое, — подумала с жалостью Юлия. — Станет снова ждать своего Тишу, отказываться от компаний, от кино... Бабы мы, бабы...»

— ...У него взяли одну картину на выставку...

— Твой портрет?

— Нет. Ту, где каменщики на фоне церкви.

— Все, что у него есть путного — это твой портрет: милые веснушки. Глаза газели. Прекрасная шея. Чувственный рот. Видимо, в то время он к тебе был привязан... Но при чем здесь талант?..

— Что у тебя сегодня было? — прервала Стелла Ефимовна.

— Я разве тебе не рассказывала? Нет? О-о! Бабка из первой... Ты знаешь, мой диагноз был верен. Я сто раз всем говорила, твердила, — инородное тело. Вместо подозрения на рак, вместо фибромы, миомы... Кстати, ты на дежурство? Чего такую рань? Ах, да — дома четыре стены...

— Юлия Петровна, вас Зинаида Васильевна просит на консилиум, — распахнув дверь, сказала сестра. — Привезли больную.

— Иду.

А через полчаса женщину уже готовили к операции — Юлия знала, что у больной внематочная. В ожидании анализов она позволяла анестезиологу Вите уже в который раз выяснять отношения.

Витя, уставившись за окно на деревья, долго молчал, будто он один тут, потом заговорил:

— И впереди у нас будет лежать пространный путь. Пустыня. Пески... Я был там, работал. — Жалкий блеск маленьких серых глаз подтверждал его решимость не уйти, не встать с этого кресла, пока она не скажет: «Да». — А на белых твердых гребнях барханов караван верблюдов, кактусы, — продолжал он жалостным голосом, надеясь вызвать сострадание. — Мы едем, едем... Зной. Сумерки. Тишина. И ночь, и спелые звезды...

— А где ты и где я? — спросила она, поежившись.

— Я за рулем, ты — рядом.

— Я, Витя, старая и усталая баба. Я не хочу влюбляться на три дня, не хочу разочаровываться и уходить...

— А тебе и не надо будет разочаровываться и уходить... И знаешь, ты самая молодая из всех...

— Спасибо, Витя, ты очень добр ко мне,— сказала она, устав слушать.— Я тоже хорошо к тебе отношусь.

Он посмотрел на нее жалеючи.

«Я не могу этому Вите запретить караулить, улучать минуту, когда я одна, чтобы подойти, говорить о каких-то песках, барханах... Какие тут барханы, какие тут как-

тусы? И почему я годами должна слушать этот бред, почему я не могу сказать ему, что все это пустое, блажь... Да говорила, говорила ведь!..»

— Витя, пригласи в эту поездку кого-нибудь другого, например, Стеллу.

— У Стеллы есть Тишка,— резко повернулся от окна, лицо оживилось.— Нет. Я хочу ехать только с тобой...

— Это невозможно. Я выхожу замуж.

— Это неправда! Я же знаю его — красавец. Зачем тебе нужен красавец?

— Он мне нравится.

Юлия встала и вышла. Заглянула в процедурную предупредить операционную сестру, что готова, и узнать, пришли ли анализы. Да, анализы все есть.

Возле процедурной на кушеточке сидели больные, вызванные на уколы. Пожилая женщина поучала молодую:

— Доченька, ты никогда никого не зови обратно. Ушел. Ну и не плачь. А придет, так ты вся-то ему не открывайся. Показала коленочко, и хватит... Раньше-то...

— А что — раньше? В баню и то вместе ходили...

— Так то баня... — протянул пожилой голос.

— А сейчас ванная... — не сдавался молодой. — Меня вон мой завернет в простыню да и на руках вынесет... А вы — коленочко.

— Тебя-то можно и на руках: форточку открыть — ветром с кровати сдунет.

Поднялся хохот.

— Больные, женщины! — заметив Юлию, ринулась наводить тишину процедурная сестра, держа в руке шприц, а на кушетке тряслась от смеха красавица с косой, свесившейся до пола.

— Все готово, Юлия Петровна! — позвала операционная сестра.

10

Стоило задеть окутанные тенетником кусты тальника, как бледно-желтые продолговатые листья осыпались с понизовья талин под ноги, на пожухлые, переросшие опята.

Артем выбирал ветки талин для скрадка погуще и позеленей, срубал легким топориком, а после выносил их к берегу и бросал у воды на белый твердый песок.

В одном месте он чуть не наступил на гнездо ежа. Еж устроил дом из палых листьев в зарослях шиповника и залег спать. Артем обошел гнездо стороной, зная, что, если потревожить ежа, он будет искать себе другое место для зимовья. Теперь он стал смотреть под ноги — мало ли кто еще попадет под случайный сапог.

Скрадок он сделал быстро. Но солнце все еще стояло высоко, и делать больше было нечего. На белом песчаном дне порассмотрел красных жучков, шустро плавающих в прозрачной, горько-соленой воде, и вышел на берег, сел на оставшиеся талины.

Что бы он ни делал сегодня, сосущая тревога не оставляла его. То вспомнилась Елена, а сейчас вот стали наплывать заботы о делах, от которых тоже никуда не деться, не спрятаться.

Артем расправил голенища болотных сапог и стал забредать на глубину, чтобы разбросать чучела: пару гоголей, несколько красноголовиков и чирков. Он вынимал чучело из мешка, висящего у пояса, и тщательно смотрел, как резиновая уточка кланялась ветру на мелкой воде. Артему нравилось это занятие, и он был доволен собой.

Услышав ломкий лай, Артем приостановился и обрадовался: «Юля идет. Вот и хорошо. Пусть щенок привыкает». Он свистнул и позвал:

— Рой! Рой! — И по тому, как заколыхалась трава, понял, что щенок безошибочно бежит к нему. Над травой иногда взметывались уши, иногда он был виден весь, то и дело нюхающий след и замирающий в стойке. — Юля, ты посмотри, какое чудо — наш маленький, красный сеттеренок! Ты будешь хорошей собакой, Рой! — сказал он подбежавшему щенку. Щенок преданно ластился. А Юля шла, улыбаясь. И он, взглянув на нее, почувствовал дрожь рук.

Он подошел и обнял ее. И она сразу как-то странно посмотрела на него снизу вверх и вздохнула:

— Будет у нас сын. Я тебе обещаю.

— Юлюшка, Юля, я рад, — он что-то еще шептал и гладил плечи, посматривая за облетелые березы. Поднял на руки и закружил.

— Опусти меня на землю, — попросила она и, смеясь, добавила: — Потому что щенок жует мою ногу.

Он разнял руки. Ему было хорошо и грустно. Что-то томительное подступало к горлу, и было душно. Хоте-

лось закричать, упасть в траву и лежать, смотреть в это синее-синее небо — чувствовать, что живешь... Как-то он, молоденький подручный сталевара, заправлял шихтой печь, и вдруг взрыв, и он летит, летит куда-то в сторону и падает. А кругом яркое зарево — желто-желто и хорошо-хорошо, и никаких мыслей. Так хорошо, как в ту минуту почти смерти, больше никогда не было... И вот теперь синее-синее небо и красно-рыжий щенок под ногами на золотистых листьях, новое ружье на плече, блеск синих-синих глаз женщины, смущение и дрожь рук — господи, как хорошо!

— Я пойду собирать грибы,— сказала Юля.— Когда мы сюда шли, на опушке из-под ног у нас взлетели тетерева — красивые. Рой стоял на трех лапах и как-то тоненько визжал и тянул им вслед носом.

— Сейчас мы их найдем! Рой, за мной!

Он пошел быстро от перелеска к перелеску. Щенок бежал исправно: то впереди челноком, то рядом вподбежку, а то вдруг кидался в сторону за воробьями.

— Ничего, Рой, ничего — расти,— разрешал Артем.— Весной я тебя повезу на перепелов.

Неожиданно щенок бросился в боярышник, визгливо залаял, и оттуда тотчас же с шумом взлетели две темные птицы и потянули через пшеничное поле, к реденькому колку. Косачи! Артем вскинул ружье, повел стволы и увидел, как осел в полете один косач и, мелькая белым подхвостьем, упал в пшеницу. Но второй косач пошел вниз, а потом снова взмыл вверх и потянул к колку. «Промазал!»

— Рой, ищи! — приказал щенку и быстро побежал туда, где упала птица, на ходу перезаряжая ружье. Он бежал и смотрел под ноги, краем глаза видя путь собаки по колыханию пшеницы. И, услышав глухое: «Р-рав! Р-рав!» — кинулся туда.

Косач лежал на боку, шевелил лапой и широко взмахивал крылом, а щенок норовил схватить крыло и осипло рычал.

— Все, брат Рой, тебе эту птичку не поднять! Отдай-ка! — Присел на корточки и медленно взял птицу. Она была тяжелой и теплой. — Вот такие, брат, дела: убили мы с тобой, Рой, такого красивого петуха. Ну и что же теперь? Пойдем, подарим его нашей хозяйке... Не трусь, тебе повезло... — погладил щенка. — И мне — тоже.

Вечером он сидел в скрадке. Перед ним слабо колыхался тростник — стебли его в воде были красными, и на белом песчаном дне Артем видел, как плавали мелкие красные жучки, а больше в этой горько-соленой воде, видимо, никто не жил. Утки пролетали то высоко, то стороной и садились на середину озера. Артем, отмахиваясь от комаров, нервничал и корил себя за то, что забыл взять мазь от комаров и поставил не те чучела — совсем не нужны сейчас гоголи. Гоголи хороши будут поздней осенью, когда воду у берегов схватит тонким звенящим ледком, повалит снег и начнется непогодь. А теперь они проносятся тяжелыми косяками на кормовые озера.

Неожиданно откуда-то сбоку в чучела упал нырок и громко крякнул, и пока Артем надеялся, что на его зов подлетят еще утки, нырок взмыл, но Артем не стал стрелять. Нырков он не убивал, их считали поганками — мясо пахло рыбой. Оттого, что маленькая быстрая уточка обманула его, опытного, ему стало весело. Он посмотрел, как смешно сплываются и расплываются чучела на мелкой, холодно взблескивающей ряби волн, как неуклюже кланяются друг другу. Сидеть ему расхотелось — затекли ноги. И уже стемнело.

Артем положил ружье рядом с собой на ящик, встал и побрел за чучелами. Собрал их. Возвращаясь от озера, он видел близкие очертания темнеющих стогов и огонь от костра. Юля готовила ужин. У ее ног лежала собака.

— Я хотела пойти к тебе, но потом передумала, мы б тебе помешали, а здесь мне было так хорошо и не хотелось вставать, — сказала она, не поворачиваясь и все так же глядя на огонь. — Ты никого не убил? Я знала, что ты никого не убьешь. Не надо больше убивать, ведь на завтра у нас уже есть.

— Я — мужчина. Мужчина должен быть охотником — это зов предков, — сказал он, натирая лицо мазью от комаров.

«Странно, — подумал он, — у нее-то откуда жалость? Ведь ей каждый день приходится делать операции... А может быть, поэтому и не хочется ей видеть убитую дичь, может быть, она устала видеть ежедневно кровь? Может быть, для нее нет ничего лучшего, чем вот так отдохнуть у костра?» Но спрашивать ее он ни о чем не стал, открыл багажник и, вынув фонарь «летучая мышь», зажег его, поставил на стол.

— На ужин салат, консервы «Завтрак туриста» и жареные шампиньоны. — Повернув к нему голову и поправив на плече накинутую телогрейку, она добавила: — И чай с коньяком.

— А спать мы будем в соломе, — вдруг сказал он.

— Как скажешь, Аурелио! В соломе так в соломе! — весело сказала она и встала.

— Аурелио? Что за герой? — спросил он.

— Это у Нагибина рассказ. Девчонка насмотрелась фильмов про любовь и выдумала себе любимого, а так как рядом никого не было, то отдала роль повелителя сопливому мальчишке лет пяти, обжоре и реве. Он капризничал и тиранил ее, а она терпеливо играла в покорность и говорила: «Как скажешь, Аурелио»...

— Значит, я — Аурелио?

— Да, ты тоже Аурелио, — согласилась Юля, — но я тебя не выдумала. Я тебя ждала. — Она подошла, обняла и крепко прижалась, весело поцеловала.— Наверное, мы будем всегда ездить на охоту. Вместе.

— Давай ужинать, — предложил он деловито. И тут вспомнил, что она ему говорила про сына и что он ей говорил, и ему стало стыдно. — Юлюшка, — преобразился он, — родная моя, ты прости!

— За что?

— Хотя бы за то, что тебе пришлось сомневаться во мне.

Он вообразил, как одиноко сидела Юлия у костра, горько думая о себе и об их отношениях, зло винила его в невнимательности, равнодушии, в непонимании, хотя о себе-то она, наверное, уж точно думала, что она-де и понимает, и любит его, и вообще... Он же зверь, а она неоценимая женщина. Но оттого, что он вообразил себе, о чем она тут сидела и думала, ему стало грустно и жаль себя. Потом ему снова стало уютно уже за столиком. Костер горел ярко и ровно. И женщина предлагала выпить за любовь и за счастье.

Потом была ночь. Они лежали в соломе. Был в небе реактивный самолет, запоздалые одинокие выстрелы и пугливые вскрики уток в камышах.

За полночь, где-то за стогом соломы, остановился мотоцикл, и сразу же стали громко ссориться. Он говорил ей:

— Да сейчас, сейчас поставлю палатку, и спи все утро и весь день. Подумаешь — заблудились...

— А не умеешь ездить — не садись. Три раза уронил. Мало, да? И не кричи на меня, как какая-нибудь тетка... Тетка ты!..

Пока ссорились — ничего, но вот включили транзистор. Тут уж вскочил щенок и взвыл. Артем завозился — какой там сон!

11

Щенок побежал лаять на приезжих. Голоса поутихли, но быстрый ритм джаза был настолько неуместен здесь, в этой тишине, в которой хотелось лежать, думать, прислушиваться к голосам птиц и смотреть в небо, что хотелось встать, схватить этот орущий ящик и швырнуть в воду. Хаотичные звуки били по голове, и все мысли мгновенно исчезали, оставив взамен раздражение и тоску по тем местам, куда бы можно было приехать и побыть одному.

Он вначале позвал собаку, прикрикнул на нее, а после отодвинулся от Юлии, заворочался. Заворочался и встал. Надо было подойти к этим приезжим и сказать им, что они не одни здесь и если приехали, так, будьте добры, потише, кто-то ведь приехал раньше, разбил лагерь и перед утренней зорькой отдыхает.

Щенок все потявкивал — не мог угомониться. Кто-то из приезжих рубил тальник — очевидно, на колышки для палатки. Надев телогрейку и сапоги, Артем обошел стог соломы. В полосе света от фары мотоцикла двое ставили палатку.

— Вам помочь?— спросил Артем не очень дружелюбным голосом.

— Спасибо, Артем Сергеевич,— обрадовался и, бросив заниматься палаткой, подошел к Петунину.— Добрый вечер, Артем Сергеевич! Ну, как поохотился?.. То-то я весь вечер рвался сюда, а Люся фырчит и фырчит.— Затараторил:— Надо-о же! На заводе месяцами не увидишься, а тут... Надо же!

— Спирин! Какого ты дьявола включил транзистор? Дома не надоело? Сюда приволок цивилизацию. Уток веселить, что ли?

Люся кинулась выключать транзистор.

— Артем Сергеевич, извините, мы думали, здесь нет никого.

— Э-э, думали,— добродушно выговаривал Петунин.— Не суетись, Люся, я помогу твоему мужчине поставить палатку. Давай топор... А ты, Люсенька, вот стог, принесика-ка под дно палатки соломки — теплее будет... Ну, что там новенького?— повернулся он к Спирину.

— А не знаю... Я ведь ушел из цеха.

— Да ты что?!

— Поцапался с Котеночкиным... Он говорит: «Мне не нужны выдвиженцы Петунина». А я ему сказал, что я не выдвиженец, что я работаю в этом цехе, слава богу, десять лет, а не три месяца, как некоторые... И еще я разозлился и сказал, чтобы он пошел далеко-далеко, за сизую даль...

— Из-за чего? — Петунин расстроился. Он действительно назначил бригадира Спирина мастером и собирался перевести начальником смены — парень закончил вечерний институт, был лучшим рационализатором, организатором, рабочие уважали за прямоту и честность.

— А я отказался брак доделывать. Брагин скосил кладку вертикальных каналов. Смотрю, что-то не то. Замерили — брак. Котеночкину говорю, надо ломать, а он мне — надо выровнять. Я сказал — нет. Ну и понеслось...

— Куда ты ушел?

— В «Уралдомнаремонт». Бойко обрадовался. Я ведь пятерых за собой увел...

Петунин сел на клок соломы.

— Дай сигарету.

— То есть я не увел — сами ушли...— Спирин, почувствовав как бы виноватость, замолчал. Подав сигарету, он опустился на колени, присел рядом с Петуниным и зажег ему спичку.

— Кого?— хрипло спросил Петунин.— Кого увел?

Спирин назвал.

— Да ты что, двух бригадиров, трех лучших каменщиков? А кто же в смене остался?

— Так я-то что... Они сами...

— Знаю я тебя, сами...

— Ей-богу!.. Коля, они мне говорят, обрадуем Котеночкина — уйдем хором... Ну и что же я им должен был говорить: ребята, не уходите, я один уйду?.. Нет, я обра-

довался. Там хоть знаешь, что тебя понимают. А Бойко — голова. Он жалеет, что ты ушел... Заварухин Володька вчера мне говорит: «Вернулся бы Пегов или Петунин, я б тоже вернулся...»

«Ну, Котеночкин, ну и делец,— зло думал Петунин.— А мне ведь и не сказал, что ребята ушли. Голосок тихонький: Артем Сергеевич, Артем Сергеевич, то надо, это надо, как вы думаете, как вы считаете? Тьфу!.. В понедельник пойду к директору, надо их вернуть. Ну, делец! Две печи аварийно встали. Кто же там, в смене, работать будет?.. Ну, а тебе-то что? Ты-то что страдаешь? Пусть. Пусть стоят. Тебе что — жарко? Нет. Но это же надо? Я ему то, я ему это. Сам. А он не изволит даже сказать, что сразу пятеро уходят. От хорошего не уходят... Да Бойко сейчас разобьется, но ни одного не отпустит. Он не дурак. Он кому-нибудь повысит разряд, кому-то пообещает квартиру и даст. Молодец Бойко!..»

— Я принесла солому,— робко сказала Люся.

Он и не заметил, как Люся подошла с охапкой соломы. Петунин встал, взялся за палатку.

— Давай за угол,— сказал Спирину и стал молча вбивать колышки, а потом сухо сказал:— Ну-с, спокойной ночи!

— Вы нас разбудите, пожалуйста, проспим зорьку,— попросил Спирин.

— Что же будить — осталось два часа до рассвета.

Но было еще туманно и сумрачно. На западе, за тем озером, где охотился вечером Петунин, весело стрекотал трактор. На озерке, рядом, в камышах, сквозь сон покрякивали утки. Но сейчас крики этих уток не возбуждали Петунина, как возбуждали вчера. А еще Артем знал, что надо попытаться уснуть, иначе он не сможет, не то у него будет настроение, чтобы пойти утром на охоту.

— Артем Сергеевич,— догнал его Спирин со свертком в руках,— давайте кваску выпьем для крепкого сна. Что-то мне спать расхотелось.

— Что же, давай чуть-чуть... Может, уснем,— согласился Петунин.— Зови Люсю, у меня остались жареные шампиньоны. А то вы, наверное, промялись, пока добрались сюда.

— Точно,— обрадовался Спирин.— Люся, неси термос и сумку с едой.

— Есть у нас еда,— остановил Артем Люсю. Но Люся все-таки принесла термос с горячим кофе.

Петунин усадил гостей за столик, зажег фонарь и поставил сковороду с грибами, бутылку коньяка.

— Юлюш, может, встанешь, присоединишься?— спросил Артем.

— Сидите, сидите, я уж утром встану,— радушно отказалась Юлия.

— Ладно. А мы поговорим,— сказал Петунин и, заметив, что Люся сидит подрагивая и кутаясь в теплую шаль, налил и протянул ей стаканчик:— Выпей, согреешься.

— Это мне нельзя,— отказалась Люся,— крепкое. Я поем грибов, выпью кофе.

— Коля, а где же был парторг, когда ты уводил из цеха пятерых?— спросил Артем.

— В отпуске.

— А предцехкома?

— Гаврил Гаврилыч-то? А в саду, где ж ему еще быть?

— Он знает?

— А как же. Так ведь и ты знаешь, что он против ветра воду лить не будет. Да и аллах с ними. Жалко, конечно, но нам и тут неплохо. Бойко Володьке Заварухину дал седьмой разряд. Веревкина назначил мастером...

— А тебя?

— Пока старшим мастером...

— Почему пока?

— Ну что вы, Артем Сергеевич, он скоро будет иметь такой титул, что совсем перестанет со мной разговаривать...

— Люся,— прикрикнул Спирин,— не мешай мужскому разговору.

— Ну вот, видите? Уже...— нервно рассмеялась Люся.

— Он мне говорит: «Принимай огнеупорный участок». Я сказал, что мне рановато. Он сказал: «Ну, приглядись. Через две недели скажешь».

— А он еще, этот Бойко, пообещал квартиру,— добавила Люся. В ее голосе была неуверенность.

— Люся!— взмолился Спирин.

— Все. Молчу,— сказала Люся, вставая.— Коля, я пойду готовить ночлег. Спокойной ночи, Артем Сергеевич!

— Спокойной ночи, Люся!

Вскоре, накурившись, не сказав друг другу ни слова, они разошлись до утра. Петунин взял ружье, подержал

его, поставил снова в куст крушины. Походил вокруг стога. Походил возле озера, оглядывая небо и белый туман над водой и камышами, прислушался, а потом резко повернулся, нашел плащ, снова взял ружье и тихонько пошел в сторону своего облюбованного озерка, где был сделан скрадок, где надо только забрести в воду, пройти всю мель и на глубине распустить чучела. И он пришел туда и распустил чучела, и устроился на ящике, свесив ноги. В тишине он посидел недолго, сзади зашлепала вода. Он вскинул ружье и чуть не выстрелил в камыши — плыл щенок. Он подплыл к скрадку и молча стал взбираться на ящик, отряхиваясь от воды, лизнул хозяину руку.

Артем забрал щенка к себе на колени, прижал.

— Ну, брат, охота охотой, а как жить-то дальше будем, а? Молчишь?

Содержание

Зоя Егоровна Прокопьева

БЕЛАЯ МЕЛЬ

Повести

Редактор **С. Суша**
Художественный редактор **Н. Егоров**
Технический редактор **Л. Дунаева**
Корректоры **В. Марычева, Л. Антонова, А. Сморчкова**

Сдано в набор 25/III-1976 г. Подписано к печати 28/VII-1976 г. А12732. Формат изд. 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага тип. № 1. Печ. л. 9,5. Усл. печ. л. 15,96. Уч.-изд. л. 16,88. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1149. Цена 75 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Просим отзывы о книге — ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении — направлять по адресу:
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4
Издательство «Современник»

75 к.

Зоя Прокопьева Белая мель